РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ–АВГУСТ

"НАУКА"
МОСКВА – 1994

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Седов (Москва). Восточнославянская этноязыковая общность 3
В. З. Демьянков (Москва). Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода 17
Е. С. Кубрякова (Москва). Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука 34
Т. В. Топорова (Москва). О древнеисландских формулах хаоса и конца мира и их индоевропейских соответствиях 48
Л. Лёнгрен (Упсала). Опыт построения ассоциативного словаря шведского языка 52
Е. И. Шутова (Москва). Проблема выделения слова в китаеведении 61
М. В. Нефедьев (Орехово-Зуево). Семантическая эволюция глагольных приставок на- и об- в истории русского языка XI–XVIII вв. 73

Проблемы русской лексикографии

Памяти С.Г. Бархударова 84
Г. А. Золотова (Москва). О новых возможностях лексикографии 85
Г. И. Кустова, Е. В. Падучева (Москва). Словарь как лексическая база данных 96
Е. В. Рахилина (Москва). О лексических базах данных 107
А. Н. Баранов (Москва). Заметки о *дескать* и *мол* 114

Из истории науки

К девяностолетию со дня рождения Л.Р. Зиндера 125
Л. Р. Зиндер (С.-Петербург). Бодуэн, Щерба и истоки фонологической теории Трубецкого 126

Критика и библиография

Обзоры

О. Н. Трубачев (Москва). О работе XI Международного съезда славистов (Историческое языкознание) 136

Рецензии

Н. С. Бабенко (Москва). *Баранов А.Н., Добровольский Д.О.* Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами) 144
В. Б. Крысько (Москва). *Рождественская Т.В.* Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. 148
М. С. Каменева (Москва). *Веретенников А.А.* Очерки глагольной фразеологии персидского языка 153

Научная жизнь

Хроникальные заметки 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой* (главный редактор), *О.Н. Трубачев* (зам. главного редактора), *А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г–19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".
Тел. 201–74–42.
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1994 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. В.В. СЕДОВ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЭТНОЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ

Первым исследователем, попытавшимся гипотетически восстановить начало восточного славянства, решить вопрос о происхождении и развитии общевосточнославянского языка и его диалектного членения, был А.А. Шахматов [1, 2, 3]. "Первой прародиной" русских, то есть восточных славян, как полагал исследователь, были земли в междуречье нижних течений Прута и Днепра. Примерно в V–VI вв. н.э. здесь из юго-восточной ветви праславянства выделились "прарусы". Это были анты, упоминаемые в исторических источниках VI–VII вв., которые и составили ядро восточных славян. С этого периода и начинается самостоятельное развитие общерусского языка. В VI в., спасаясь от авар, значительная часть антов переселилась на Волынь и в Среднее Поднепровье. Этот регион А.А. Шахматов называл "колыбелью русского племени". Восточные славяне составляли "одно этнографическое целое". Отсюда они в IX–X вв. начали освоение обширного пространства от Черного моря до Ильменя и от Карпат до Дона. Начался новый этап в истории восточного славянства (А.А. Шахматов называл его древнерусским), которое в результате широкого расселения дифференцировалось на три больших наречия – севернорусское, восточнорусское (или среднерусское) и южнорусское. После XIII в. на их основе и в результате их взаимодействия формируются отдельные восточнославянские языки – русский, украинский и белорусский.

Позднее многие исследователи придерживались мнения, согласно которому предками восточного славянства были анты VI–VII вв. Признавая реальность общевосточнославянского языка, одни ученые полагали, что диалекты восточнославянских языков восходят к диалектам племенных образований, зафиксированных Повестью временных лет, другие связывали формирование диалектов с периодом феодальной раздробленности Древней Руси, а также с эпохой Московского и Литовского государств.

В 50-х годах XX в. Б.А. Рыбаков на основе историко-археологических данных изложил гипотезу о среднеднепровском начале восточнославянской народности [4, 5]. Ядром ее будто бы стал племенной союз, образовавшийся здесь (будущие Киевская, Черниговская и Северская земли) в VI–VII вв. под главенством одного из славянских племен – русов. В последней четверти I тыс. н.э. к формированию восточнославянского этноса подключились и другие славянские племена Восточной Европы и часть славянизированных финских племен. Не подтвержденная конкретными археологическими материалами эта мысль не получила дальнейшего развития.

Согласно представлениям П.Н. Третьякова, восточнославянская общность была результатом метисации части праславян – носителей зарубинецкой культуры, расселившихся в первых веках нашей эры по всему Верхнему Поднепровью, с местным балтоязычным населением. Верхнеднепровский регион и был прародиной восточных славян, откуда они расселились в разных направлениях, составив основу населения Древней Руси [6]. Догадку о зарождении восточнославянской языковой общности в зарубинецкой культуре (II в. до н.э. – II в. н.э.) высказывал и Ф.П. Филин [7].

Прародину этой общности где-то на восточнославянской территории ищут исследователи и в настоящее время. Так, Г.П. Пивторак полагает, что восточнославянский этнос формировался постепенно в ходе расселения восточнославянских племен на

Русской равнине. Первоначальным же ядром его была область между Западным Бугом и средним Днепром [8] О.Н. Трубачев видит древний центр общевосточнославянской языковой общности на Дону и Северском Донце [9].

Мысль об образовании восточнославянской этноязыковой общности на основе древних (праславянских) диалектных групп, занимавших восточную часть славянских земель, принадлежит Б.М. Ляпунову [10]. Согласно представлениям Г.А. Хабургаева восточнославянское языковое единство было результатом нивелировки и интеграции диалектов восточнославянских племенных образований [11]. Изучение древненовгородского диалекта на основе берестяных грамот и иных памятников письменности привело А.А. Зализняка к отрицанию концепции правосточнославянского языка как монолитного ответвления от праславянского языка. Древненовгородский диалект образовался ранее восточнославянского языка, непосредственно из праславянского [12].

Обширнейшие материалы, накопленные к настоящему времени славянской археологией, являются одним из наиболее авторитетных источников детального изучения проблемы освоения славянами пространств Русской равнины, где происходил процесс становления и развития восточнославянского этноязыкового единства. В настоящей статье миграционные процессы, имевшие место на Русской равнине, рассматриваются на базе данных археологии на фоне "диалектологической карты русского языка в Европе" (рис. 1), составленной Московской диалектологической комиссией [13]. Она дает представление о дифференциации восточнославянской территории на основные диалектные макрозоны, формирование которых, как показано ниже, обусловлено первоначальным освоением Русской равнины славянским населением.

Расселение славян в обширнейшей лесной зоне Восточноевропейской равнины относится в основном к раннему средневековью. В предшествующий римский период славяне проживали в бассейне верхнего и среднего течения Вислы, в правобережной части бассейна Одера, а на востоке славянский ареал охватывал верховья Днестра, Волынь и Среднее Поднепровье [14, с. 53–100]. Территория расселения славян этого времени, как и многие другие регионы Западной Европы, не была замкнутой, ограниченной естественными рубежами. В ареале пшеворской культуры в Висло-Одерском междуречье наряду со славянами проживали и некоторые германские племена. Полиэтничный характер носила и черняховская культура Северного Причерноморья, в составе населения которой наряду со славянами-антами, основные массы которых концентрировались в Подольско-Днепровском регионе, жили скифо-сарматы, готы и гепиды, а в западной части и дакийские племена. Отдельную ветвь славян образовывали племена киевской культуры, занимавшие левобережную часть Среднего Поднепровья [15]. В III–IV вв. славяне достигли левобережных земель Нижнего Подунавья, о чем свидетельствуют древности типа Этулии.

В римское время славяне были уже далеко не монолитной массой и вступили в эпоху средневековья расчлененными как в культурном, так и в этнографическом отношениях. Великая славянская миграция начала средневековой поры вела к еще большой дифференциации славянского мира на поздней стадии развития праславянского языка Археология неоспоримо свидетельствует, что восточнославянская общность периода Древнерусской государственности не восходит ни к одной из племенных группировок праславянского этапа. Процесс расселения славян в лесной зоне Восточной Европы был весьма сложным и многоактным, освоение новых земель осуществлялось несколькими миграционными потоками, протекавшими неодновременно из разных этнографических областей праславянского ареала.

Одну из крупных этнографических группировок славян V–VII вв. характеризует пражско-корчакская культура, которой свойственны специфическая глиняная посуда, полуземляночное домостроительство и погребения по обряду кремации умерших в грунтовых могильниках. Начиная с VI–VII вв. в среде этой славянской группировки распространяется курганный обряд захоронения. Истоки пражско-корчакской культу-

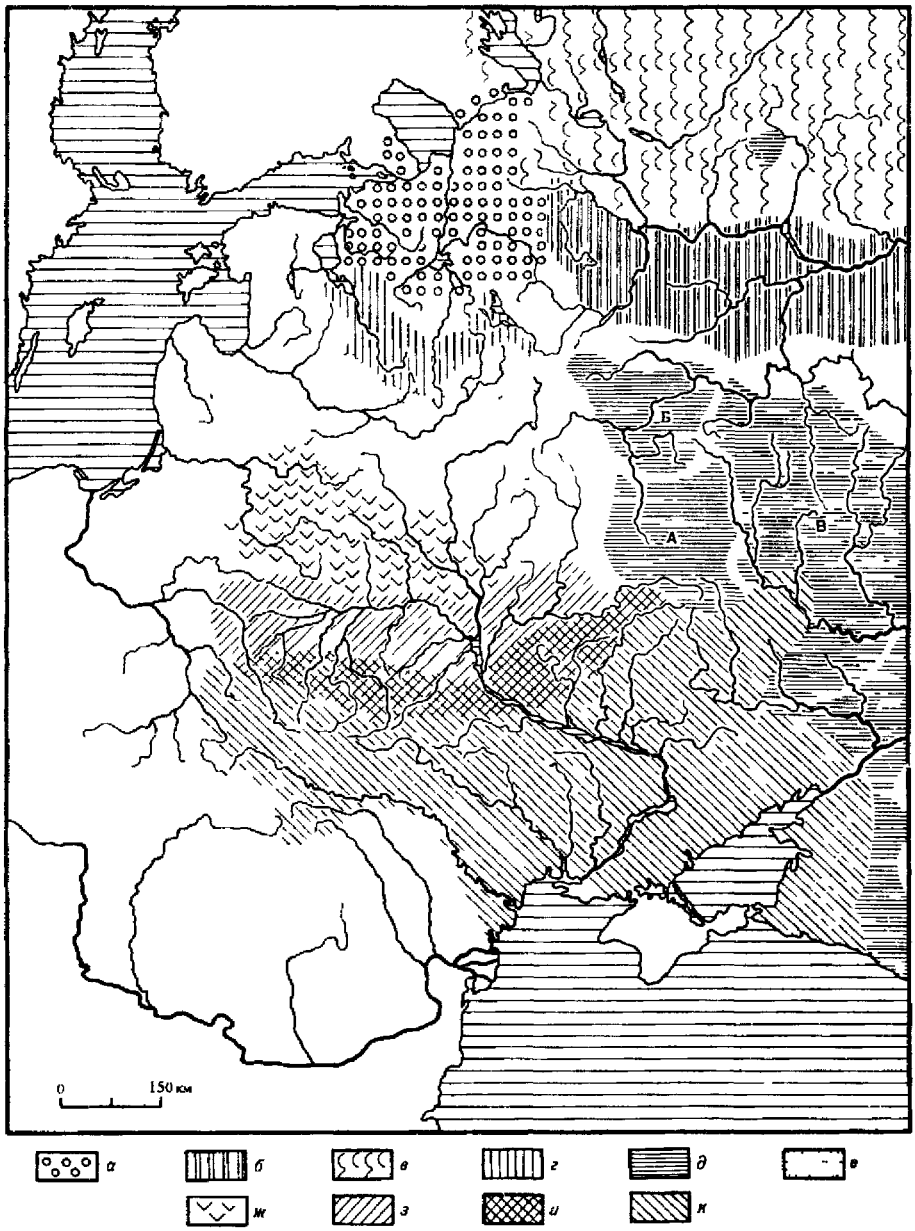


Рис 1 Диалектологическая карта восточнославянских языков

Условные обозначения а–в – северновеликорусские говоры (а – западная группа, б – владимирско-поволжская, в – северная и олонецкая), г – псковская группа; д – южновеликорусские говоры (их группы обозначены буквами А, Б, В); е – севернобелорусские говоры; ж – южнобелорусские говоры, з – полесские (северноукраинские) говоры; и – полесско-украинские говоры; к – украинские говоры Средневеликорусские и говоры переходные к южновеликорусским на белорусской основе не заштрихованы

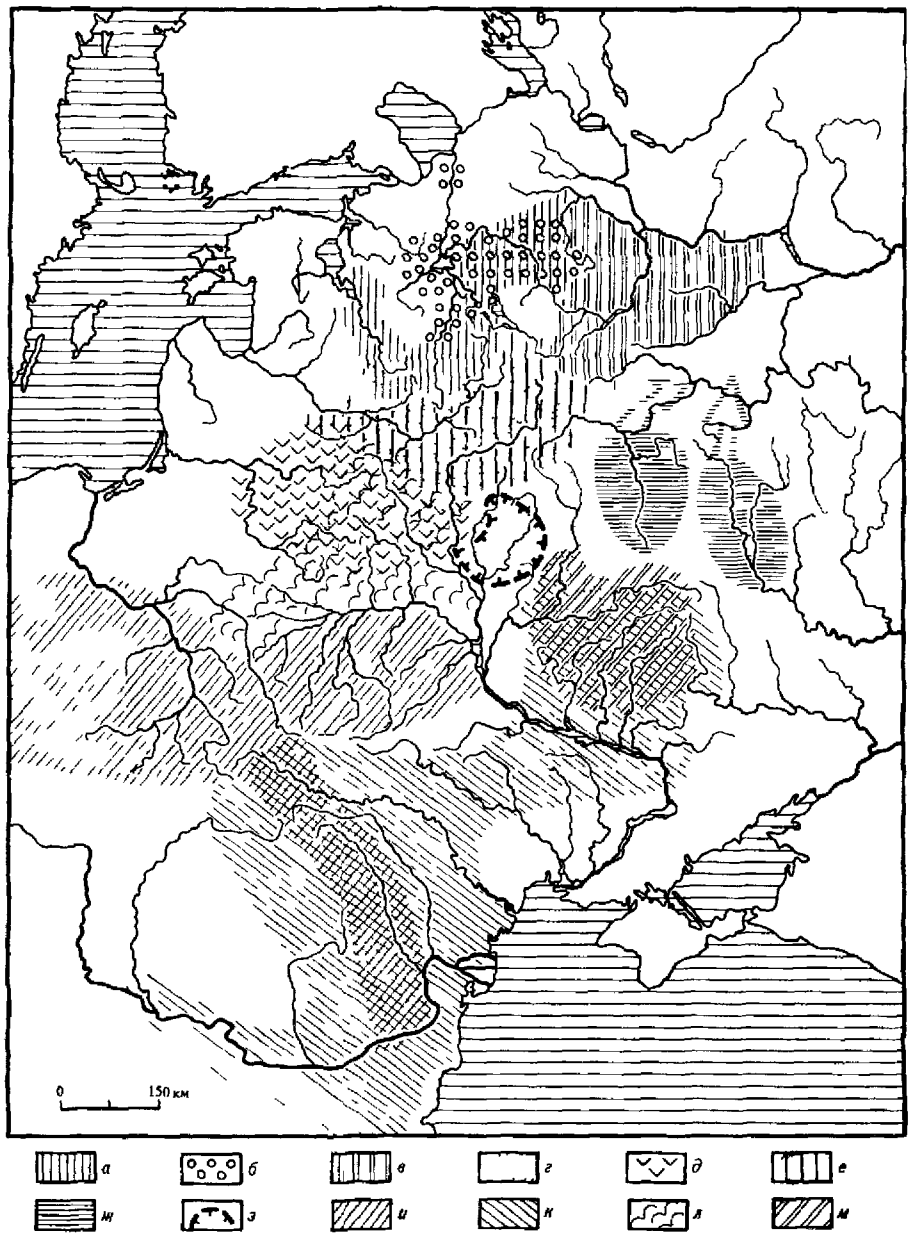


Рис 2. Раннесредневековые группировки славян по археологическим данным
Условные обозначения. а – культура псковских длинных курганов; б – ареал сопок; в – основная область распространения браслетообразных височных колец с сомкнутыми или заходящими концами, г – расселение днепровских балтов в раннем железном веке, д – диалектно-племенная группа срединных балтов в раннем железном веке (культура штрихованной керамики), е – основная область расселения смоленско-полоцких кривичей, ж – донские и верхнеокские славяне в VIII–X вв (стрелками показаны основные направления их расселения); з – ареал радимичей, и – пражско-корчакская культура, к – пеньковская культура. л – область расселения волынян и дреговичей, м – роменская культура

ры выявляются в одном из вариантов пшеворской культуры. В VI–VII вв. ее носители распространились на широкой территории от верхней Эльбы на западе до Киевского правобережья на востоке (рис. 2). Наряду с другими славянскими группировками они приняли участие и в освоении Балканского полуострова. Это с[к]лавены, неоднократно упоминаемые в византийских исторических произведениях и сочинении Иордана "Гетика" [14, с. 104–119]. В их состав входило несколько праславянских племенных образований, одним из которых были дулебы, заселявшие Волынь и правобережную часть Киевского Поднепровья. Пражско-корчакский регион на восточнославянской территории соответствует распространению северноукраинских (полесских) говоров, как они очерчиваются на упомянутой "диалектологической карте". Существенных перемещений населения в этом регионе ни по данным археологии, ни по историческим документам не наблюдается. Поэтому есть все основания полагать, что основы северноукраинских говоров были заложены славянами пражско-корчакской группировки начала средневековой поры.

В результате дифференциации дулебов в IX–X вв. образовались во всех отношениях весьма близкие друг к другу племена, известные по летописям – волыняне, древляне, поляне и дреговичи [16, с. 90–119]. Археологические материалы надежно свидетельствуют, что в X–XII вв. волыняне и дреговичи расширили свои территории в северном направлении, освоив области нижнего течения Березины, левых притоков Припяти и верхнего Немана. Этот регион издревле принадлежал балтам, которые в процессе славянской инфильтрации не покидали мест своего обитания, смешались с переселенцами и постепенно оказались ассимилированными.

Земли, освоенные волынянами и дреговичами, входят в зону южнобелорусского наречия. Ближайшая связь этого наречия с северноукраинским вне всякого сомнения [17]. Поэтому предположение о начальном формировании южнобелорусских говоров на основе говоров волынян и дреговичей, расселившихся севернее Припяти, представляется вполне оправданным.

Иная крупная племенная группировка праславян занимала в V–VII вв. более южные территории Восточной Европы от нижнего Дуная до Северского Донца. Ее древности образуют пеньковскую культуру, которой свойственны другие типы керамики и исключительно грунтовые могильники (курганных захоронений эта группировка славян не знала). В отличие от пражско-корчакской группировки здесь наряду с обрядом трупосожжения зафиксирован и ритуал ингумации. Важным индикатором являются и пальчатые фибулы с маскообразным основанием и их дериваты, не свойственные другим славянским группировкам этого времени. Это были анты, хорошо известные по историческим источникам VI–VII вв. Их сложение восходит к римскому времени, когда в результате расселения славян на скифо-сарматской территории в Северном Причерноморье сформировался славяно-иранский симбиоз [14, с. 119–133; 18]. Из антской среды вышли известные по летописям восточнославянские племена хорватов, заселявших Северо-Восточное Прикарпатье, уличи, локализуемые в лесостепной зоне от Днестра до Днепра, и тиверцы Поднестровья. Их потомки, как показывают материалы антропологии, составляли основу населения этого ареала и в последующие столетия. Таким образом, есть все основания полагать, что анты и их потомки заложили основу собственно украинских говоров.

В V–VII вв. антам – носителям пеньковской культуры – принадлежали и земли левобережной части Среднего Поднепровья. Однако мощная миграционная волна VIII в. полностью поглотила прежнее население региона. Здесь складывается новая культура – роменская, по всем параметрам сопоставимая с правобережной синхронной культурой типа Луки Райковецкой – наследницей пражско-корчакской. Имеются археологические факты, свидетельствующие о переселении части антского населения при этом в Донской регион. Поэтому распространение северноукраинских говоров на левобережье Среднего Поднепровья представляется абсолютно оправданным.

Регион южновеликорусских говоров – бассейны верхнего течения Оки, верхнего и среднего течений Дона осваивались славянами несколькими миграционными волнами

На верхней Оке первые славяне, по-видимому, появились в конце IV в. Это было население, бежавшее из ареала черняховской культуры в условиях гуннского нашествия 376 г. Переселенцы расселились на Оке среди племен мощинской культуры, вызвав заметные трансформации в ней, что проявляется и в керамическом материале и в распространении фибул черняховского облика. Если прежде основная часть верхнеокского населения проживала на небольших укрепленных поселениях – городищах, то теперь получают широкое распространение открытые поселения, свидетельствуя и о значительном притоке новых жителей и об активном развитии земледельческой деятельности.

Анты были и первыми славянскими поселенцами в лесостепной зоне Донского бассейна. Древности пеньковского типа выявлены в бассейне Северского Донца, на Осколе и под Воронежом. Правда, они пока слабо изучены. Весьма вероятно, что захоронения по обряду трупосожжения, встречаемые в могильниках салтовской культуры лесостепной части Среднего Дона, принадлежат потомкам местного пеньковского населения [19]. Дополнительный приток антского населения имел место в VIII в., когда, как отмечалось выше, наблюдается перемещение какой-то части жителей из левобережья Среднего Поднепровья в лесостепное Подонье.

В VIII в. и на верхней Оке и в Донском регионе археология фиксирует весьма значительные приливы славянского населения. Миграция осуществлялась с юго-запада, однако очертить конкретный регион, из которого вышли переселенцы, и наметить детальные пути их передвижения пока не представляется возможным.

Древности VIII–IX вв. верхнеокского бассейна определенно связываются с вятичами. По основным показателям – керамическому материалу, домостроительству и погребальной обрядности – они сопоставимы с синхронными культурами славян южной зоны Восточной Европы. "Повесть временных лет" сообщает, что "радимичи бо и вятичи от ляховъ. Бяста бо 2 брата в лясех – Радим, а другий Вятко, – и пришедше седоста Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи, а Вятъко седе съ родомъ своимъ по Оце, от него же прозвашася вятичи" [20, с. 14]. Не исключено, что предки вятичей до их миграции на Оку жили где-то по соседству с будущими ляшскими племенами. Очевидно, ранними вятичскими поселенцами оставлены на верхней Оке географические названия, соответствующие польским наименованиям, главным образом Мазовии и Хелмской земли [21].

В бассейне верхнего и среднего течения Дона в результате мощного притока нового населения складывается боршевская культура. Ее важнейшие атрибуты – домостроительство, глиняная посуда и обрядность указывают на происхождение переселенцев из юго-западных регионов Восточной Европы. Донские славяне не были ни вятичами, ни северянами, как думали некоторые исследователи. Это была отдельная племенная группировка славян, название которой не зафиксировано русскими летописями. В IX в. в бассейне Дона наблюдается инфильтрация населения из верхнеокского региона, в результате здесь получает распространение курганный обряд погребения, идентичный вятичскому. Таким образом, устанавливается двухвековое этнографическое единство донских и верхнеокских славян, которые были весьма близки друг к другу в культурном отношении. Эта общность, нужно полагать, и заложила основы южновеликорусского наречия.

На рубеже X и XI вв. Донской регион оказался в сфере передвижений и грабительских набегов печенегов. Основные массы славянского населения в конце X – начале XI в. вынуждены были оставить эти земли и переселиться в Рязанское Поочье, где расселение донских славян достаточно хорошо фиксируется археологией [22].

В XI–XII вв. вятичи постепенно расширили свои территории по Оке, освоив бассейн реки Москвы и в Рязанском Поочье смешались с донскими славянами. Мысль о заселении славянами Рязанской земли с двух сторон – с запада по Оке и с юга из Донского бассейна была высказана еще А.А. Шахматовым. В настоящее время она находит археологическое подтверждение.

В XII – начале XIII в лесные и лесостепные земли Донского бассейна были вновь

довольно плотно заселены восточнославянским населением – в результате археологических изысканий здесь открыты сотни поселений этого времени и устанавливается, что далеко не все население покинуло этот регион в условиях активизации кочевников. Повторное широкое расселение славян в Донском регионе шло в основном из Рязанского Поочья. Это было возвращение славянского населения на места жительства их предков, и вполне понятно, что эта территория вошла в состав Рязанской земли. Ее южные пределы определяются и по распространению древнерусских селищ и по половецким каменным "бабам", они включали целиком р. Воронеж и значительные части р. Битюг. На южных окраинах Рязанской земли были основаны города, упоминаемые в "Списке русских городов", составленном в конце XIV в., в перечне рязанских городов. Таким образом, можно констатировать, что внутри южновеликорусского диалектологического ареала перемещения населения были, но они исходили из среды потомков ранее расселившихся здесь славян, притока нового славянского населения после VIII в. здесь не наблюдается.

Очевидно, в IX в. в бассейне Сожа расселяются радимичи, ареал которых отчетливо очерчивается по курганным материалам X–XII вв. Радимичская культура Посожья сложилась в результате взаимодействия славян-переселенцев с местным балтоязычным населением, при этом в радимичской курганной культуре балтские элементы выявляются в бóльшей степени, чем в других местах балтского ареала [23]. Племенной диалект радимичей или его следы выявить не удается. Радимичская территория целиком вошла в области формирования белорусского языка, а участие в этногенезе белорусов значительного массива днепровских балтов с археологической точки зрения представляется неоспоримым. Регион, из которого вышли предки радимичей, археологически пока очертить не удается.

Освоение славянами северных лесных земель Русской равнины происходило независимо от миграций южной зоны Восточной Европы. Здесь также обнаруживается не один миграционный поток и несколько племенных группировок праславян.

Довольно отчетливо видна культурно-племенная группировка славян, расселившаяся в V–VII вв. в бассейнах рек, связанных с Псковским озером, и в Южном Приильменье. Она представлена культурой псковских длинных курганов [24]. Обычай сооружать курганы зародился уже в новых местах расселения, курганным захоронениям предшествовали грунтовые могильники с погребениями по обряду кремации умерших, которые выявлены и исследованы археологами. Полуземляночные жилища, столь характерные для южных регионов раннесредневекового славянского мира, в культуре псковских длинных курганов не известны. Здесь господствовали наземные срубные дома с глинобитными печами или каменками. Поскольку славяне рассматриваемой племенной группировки расселились в землях прибалтийско-финского населения, то естественно в их культуре проступают отдельные элементы, сопоставимые с особенностями западнофинских культур.

Говоры славянского населения, оставившего ранние длинные курганы, составили древненовгородский диалект, достаточно подробно описанный на основе анализа берестяных грамот из раскопок Новгорода [25, 26]. Как уже отмечалось, этот диалект принадлежит в своей основе к праславянским.

Культура псковских длинных курганов по всем основным элементам отлична от пражско-корчакской и пеньковской и генетически не связана с ними. Поиски истоков этой культуры приводят археологов к Средневисленскому региону, пока, правда, весьма гипотетически.

В III–IV вв. среднеевропейские земли в климатическом отношении были весьма благоприятны для земледельческой деятельности. В бассейне средней Вислы археологами зафиксированы сотни поселений римского времени, принадлежащих земледельческому населению, плотно сосредоточенных на наиболее плодородных землях. Можно говорить о некотором переизбытке населения на некоторых участках Среднего Повисленья. В конце IV в. в Европе, в частности в Балтийском бассейне, произошло резкое изменение климата в сторону похолодания и переувлажненности.

Подъем грунтовых вод и повышение уровней вод в озерах и реках привели к затоплению многих участков, ранее занятых пашнями и поселениями земледельцев, значительно расширились площади, занятые болотами. Почти все поселения римского времени Среднего Повисленья, как надежно свидетельствует археология, были оставлены населением. Картография В-образных рифленых пряжек среднеевропейского происхождения, встреченных в ряде памятников культуры ранних длинных курганов, показывает, что какая-то часть населения из Повисленья через Мазурско-Неманские области расселяется в это время в Псковско-Ильменском регионе. Миграция протекала по холмисто-озерной гряде от Балтийской до Валдайской возвышенности, образовавшейся после последнего (валдайского) оледенения. И оседали славяне, образовавшие культуру ранних длинных курганов, преимущественно на возвышенных местах – все памятники этой культуры находятся на высоте 120–200 м над уровнем моря.

О таком же направлении миграции славян независимо от археологии пишет немецкий лингвист Ю. Удольф. Восстанавливая на основании географического распределения отражений лексем **vьsь/*derevnja, *potok/*ručej, *korčь/*garь/*dorъ* пути славянского расселения на Русской равнине, исследователь показывает, что движение славян из Висленского бассейна шло в обход Беловежской пущи в Среднее Понеманье, а оттуда в направлении Псковского озера и Ильменского региона [27].

Ряд морфологических и синтаксических особенностей, свойственных древненовгородскому диалекту, его характер и отсутствие второй палатализации дали основание А.А. Зализняку полагать, что славянская группировка, расселившаяся в Новгородско-Псковской земле в языковом отношении некоторое время развивалась обособленно от основного ядра славянского мира. Археологические данные свидетельствуют об этом же.

Вторую волну славянского освоения Северо-Запада отражает культура сопок VIII–X вв., памятники которой сконцентрированы преимущественно в Ильменском бассейне [28]. Славяне этой группировки расселились в восточной части территории, уже освоенной племенами культуры ранних длинных курганов. Последние влились в состав вновь пришедшего населения с более прогрессивными методами хозяйствования. VIII–IX столетия было временем заметного улучшения климатических условий (потепление, умеренная увлажненность, опускание уровней вод в реках и озерах, усыхание болот). Славяне второй волны миграции заселяли участки, наиболее подходящие для пашенного земледелия, в том числе плодородные пойменные земли.

Население, оставившее культуру сопок, с полным правом можно отождествлять с ильменскими словенами, о которых летописи сообщают: "седоша около езера Илмеря, и прозвашася своимъ имянемъ и сделаша градъ и нарекоша и Новъгородъ" [20, с. 11]. Археология пока не располагает фактами для освещения путей и деталей расселения этой славянской группировки. Очевидно только, что эти славяне не принадлежали к южным племенным группировкам, представленным пражско-корчакской и пеньковской культурами. Ряд данных (особенности домостроительства, керамический материал, крепостное строительство и др.) склоняют к мысли о западном происхождении словен ильменских. По всей вероятности, они, как и балтийские славяне Северной Польши и междуречья нижней Эльбы и Одера, вышли из одной древней группировки праславян, локализуемой проблематично в северной части пшеворского ареала [16, с. 58–66].

В результате расселения ильменских словен древненовгородский диалект дифференцировался на две части. В западной и юго-западной частях ареала псковских длинных курганов, не затронутых этой миграцией, получают развитие псковские говоры, а в области расселения словен ильменских – западное наречие северновеликорусских говоров.

Очевидно, второй волной миграции славян на Северо-Западе обусловлено переселение в самом начале VIII в. части населения культуры псковских длинных курганов в южном направлении. В результате в Полоцком Подвинье и Смоленском Поднепровье получает распространение культура смоленско-полоцких длинных курганов. Заметное

отличие последней от культуры псковских (или ранних) длинных курганов обусловлено тем, что смоленско-полоцкие древности VIII–IX вв. формировались при взаимодействии пришлого из Новгородско-Псковской земли населения с местным, среди которого немалая доля принадлежала днепровским балтам, и в условиях инфильтрации в верхнеднепровско-двинские земли славянских переселенцев из Дунайского региона.

Культуру смоленско-полоцких длинных курганов, как и последующие курганные древности, характеризуемые браслетообразными завязанными височными кольцами, следует считать кривичскими. Это были те кривичи, которых летопись локализует в верховьях трех крупнейших рек Русской равнины – Днепра, Западной Двины и Волги. К кривичам, есть все основания относить и псковскую группировку славян. Кривичские говоры ("псковский диалект" и "смоленский диалект") стали в последнее время объектом обстоятельного изучения С.Л. Николаева [29, 30].

Ареал смоленско-полоцких кривичей согласно рассматриваемой здесь диалектологической карте восточнославянских языков составляет основную часть зоны распространения севернобелорусских говоров. Конечно, можно говорить, что смоленский и полоцкий диалекты кривичей легли в основу севернобелорусского наречия, но формирование последнего отражает и более ранние процессы исторического развития этих территорий. На левобережье Днепра ареал севернобелорусских говоров охватывает и земли радимичей. Говорить на основании археологических данных о близкой родственности кривичей и радимичей невозможно. Очевидно, нужно полагать, что на формирование севернобелорусских говоров заметное воздействие оказало субстратное население. Ареал этих говоров в значительной степени соответствует не племенному членению восточного славянства, а области расселения отдельной ветви этноязыкового массива балтов, именуемой исследователями днепровской, формирование которой уходит в весьма отдаленную древность [31, 32].

На севернорусской территории выявляется еще третья крупная племенная группировка раннесредневекового славянства. Ее культуре не свойственны такие погребальные памятники как сопки или длинные курганы, поэтому ранние древности этих славян обнаруживаются с трудом. Характернейшим элементом культуры их являются браслетообразные височные кольца с сомкнутыми или заходящими концами, бытовавшие в течение восьми–девяти столетий. В третьей четверти I тыс. н.э. такие украшения неожиданно распространяются на широкой территории, включающей Белорусское Подвинье, Смоленское Поднепровье и Волго-Клязьменское междуречье [33]. В VIII–IX вв. основное ядро носителей браслетообразных височных колец с сомкнутыми или заходящими концами сосредотачивается в междуречье Волги и Клязьмы. Население здесь было довольно многочисленным. Отсюда отдельные группы славянских переселенцев направляются в регионы расселения поволжско-финских племен. Славяне появляются в земле муромы, на востоке достигают р. Унжи и окраин ареала мари (марийцев), на севере расселяются среди веси вплоть до Белоозера.

Славяне рассматриваемой племенной группировки составили ядро населения Ростово-Суздальской земли. Финноязычное племя меря было сравнительно малочисленным, часть его растворилась в славянской среде, другие части были вытеснены, как можно судить по древностям Костромского Поволжья, на окраины славянского расселения. В середине XX в. Б.М. Ляпунов и Ф.П. Филин, работая над вопросами диалектного членения славянского населения Восточной Европы, высказали предположение, что в древности Ростово-Суздальская земля была заселена особым восточнославянским племенем, название которого до нас не дошло, и владимиро-суздальские говоры ведут свое начало от диалекта этого племени [34, 35]. Это положение не только не утратило силу к настоящему времени, но и находит надежное подтверждение в ряде материалов.

Новейшее изучение проблемы акцентологических диалектизмов в славянских языках отчетливо свидетельствует, что территория древней Ростово-Суздальской земли принадлежит к отдельной четвертой группе, восходящей к первичному диалект-

ному членению праславянского языка Причем ее акцентологические особенности говорят о ранней изоляции этой славянской группировки, в связи с чем, надо полагать, что носители этого диалекта представляют собой наиболее ранний колонизационный поток славян [36].

Диалект четвертой акцентологической группы территориально соответствует области расселения рассматриваемой славянской племенной группировки [37]. Ее ранний отрыв от основной массы праславянства по археологическим данным вполне очевиден. Имеются все основания утверждать, что именно диалект этой племенной группировки славян и положил начало развитию владимирско-поволжской группе северно-великорусских говоров.

В X–XI вв. в Волго-Клязьменском междуречье наблюдаются дополнительные миграционные притоки славянского населения. Погребальными памятниками первых славян в этом регионе являются грунтовые могильники. Новое население принесло сюда курганный обряд погребения. Анализ курганных материалов выявляет два направления движения славянского населения. Один миграционный поток шел из ареала ильменских славян, другой – из областей смоленско-полоцких кривичей. Прилив нового населения нашел отражение в некоторых особенностях владимирско-поволжских говоров, но не изменил их сущности, заложенной первыми славянскими жителями этого края.

Вопрос о происхождении славянской группировки, представленной браслетообразными сомкнутыми и заходящими височными кольцами на археологических материалах пока не поддается разрешению. Топонимические данные, собранные и проанализированные Ю. Удольфом, о которых говорилось выше, свидетельствуют, что заселение ранними славянами Волго-Окского междуречья было результатом того же большого миграционного потока из Повисленья через Среднее Понеманье и Псковско-Ильменские земли.

Таким образом, в основе восточнославянской этноязыковой общности лежит несколько различных диалектно-племенных образований праславян. Ситуация в какой-то мере осложнялась еще и тем, что славянское население, осваивавшее пространство Восточноевропейской равнины, застало в лесной зоне различные финноязычные и балтские племена и постепенно славянизировало аборигенов. В таких условиях формирование восточнославянского этноса было возможным только в результате интеграционных процессов.

Эти процессы начались не ранее IX–X вв и обусловлены целым комплексом исторических обстоятельств. Начальный период интеграции славянских племен, осевших на Русской равнине, характеризуется активной торговой деятельностью и развитием речного судоходства. Балтийско-Волжский и Ильменско-Днепровский магистральные торговые пути с их многочисленными разветвлениями пересекли почти все славянские земли Восточной Европы, связав их в общие узы. Ильменско-Днепровский путь, известный в летописи как маршрут "из варяг в греки", стал не только торговой, но и военно-политической магистралью, служившей целью единой государственности.

Сформировавшееся в IX–X вв дружинное сословие сосредоточилось в основном на Ильменско-Днепровском пути и его ответвлениях. Исследованные раскопками дружинные курганные кладбища Гнездова под Смоленском, Шестовиц под Черниговым и других мест отчетливо свидетельствуют о том, что дружина и войско Руси состояли из разнородного населения – представителей различных славянских племен Восточной Европы, скандинавских варягов и выходцев из окраинных финноязычных регионов. Анализ погребальной обрядности и вещевых инвентарей дружинных курганов ярко демонстрирует нивелировку племенных особенностей Древнерусская дружина стала первым надплеменным сословием, сформировавшимся из разноплеменного населения. Это был первый шаг к этноязыковому объединению неоднородного славянского населения Восточной Европы.

Еще в VIII в. в различных местностях славянского расселения зарождаются ранние

торгово-ремесленные поселения – протогорода. Они стали центрами кристаллизации военно-дружинного и торгового сословий и ремесленного люда. Протогорода охотно принимали в состав своего населения иноплеменников и были пестрыми в этническом отношении. Так, Ладога с момента своего возникновения была поселением полиэтничным, среди ее населения были и словене ильменские, и кривичи, и местная чудь, и балты, и варяги [38]. Разноплеменность населения была одной из характерных черт подобных неаграрных поселений [39].

Такими же неоднородными по племенной структуре стали и древнерусские города. Археологические исследования Новгорода, Киева, Суздаля, Пскова, Чернигова, Изборска и других городов показали, что городское население Руси формировалось из ее разных областей, из разных племенных регионов. Это фиксируют и летописи – когда в конце X в. по велению киевского князя Владимира Святославича в левобережной части Среднего Поднепровья, чтобы защитить границы Руси от набегов печенегов, строились новые города и для их заселения были привлечены люди из земель словен ильменских, кривичей, вятичей и чуди [20, с. 83]. В строительстве и функционировании этих городов участвовало и местное население – северяне и поляне.

Следовательно, городское население Древней Руси было новообразованием, формировавшимся из представителей разных племен и регионов, внутри которого постепенно нивелировались прежние племенные и диалектные различия.

Скандинавские источники именуют Древнюю Русь "страной городов". Действительно, территория домонгольской Руси выделялась множеством городских поселений По подсчетам М.Н. Тихомирова, уже в X в. на Руси было не менее 25 городов, в XII в. их число достигает 224, а ко времени татаро-монгольского нашествия существовало около 300 городов [40]. По всей вероятности, их было больше, так как не все города упомянуты в летописях (рис. 3).

С ростом числа городов, их развитием вырастает новая общественная сила – горожане. Вместе с военно-дружинным сословием городское население стало мощной движущей силой в создании единой материальной и духовной культуры на всей территории Руси, в нивелировании региональных различий, в формировании восточнославянской этноязыковой общности.

Целостность культуры восточного славянства в значительной степени была обусловлена активным развитием городской жизни и высоким уровнем городского ремесла. О единстве городской культуры Руси говорят и изделия железообрабатывающего ремесла, общность кузнечных приемов, и одинаковость вооружения и продукции костерезного ремесла, и особенно ярко бронзолитейное и ювелирное дело. Городская культура с первых шагов своего развития разрывает рамки племенной замкнутости. Металлическое убранство костюма горожанок характеризуется единством во всем восточнославянском ареале. Излюбленным украшением городских женщин стали стеклянные браслеты; постоянно и в большом количестве встречаемые при археологических раскопках любого древнерусского города. Торговые узы тесно связывали все города Руси. Горговля приобрела широкий размах. В многочисленные малые города из более крупных поставлялись стеклянные бусы, браслеты и перстни, костяные и самшитовые гребни, разнообразные ювелирные изделия, бронзовые крестики-тельники и энколпионы, коробейники по всей стране разносили шиферные пряслица и иные предметы.

Города были не только носителями и распространителями единой материальной культуры, но и оказывали существенное воздействие на духовную жизнь всего восточного славянства. Они стали центрами просвещения и грамотности. В крупных городах велось летописание, составлялись грамоты и уставы, велась деловая переписка. Грамоты на бересте, ныне обнаруженные уже при раскопках восьми городов, а также бронзовые, железные или костяные писала-стили, встреченные в десятках городских поселений, говорят о широком распространении грамотности на Руси. Все несомненно способствовало культурному и языковому сближению восточнославянского населения.

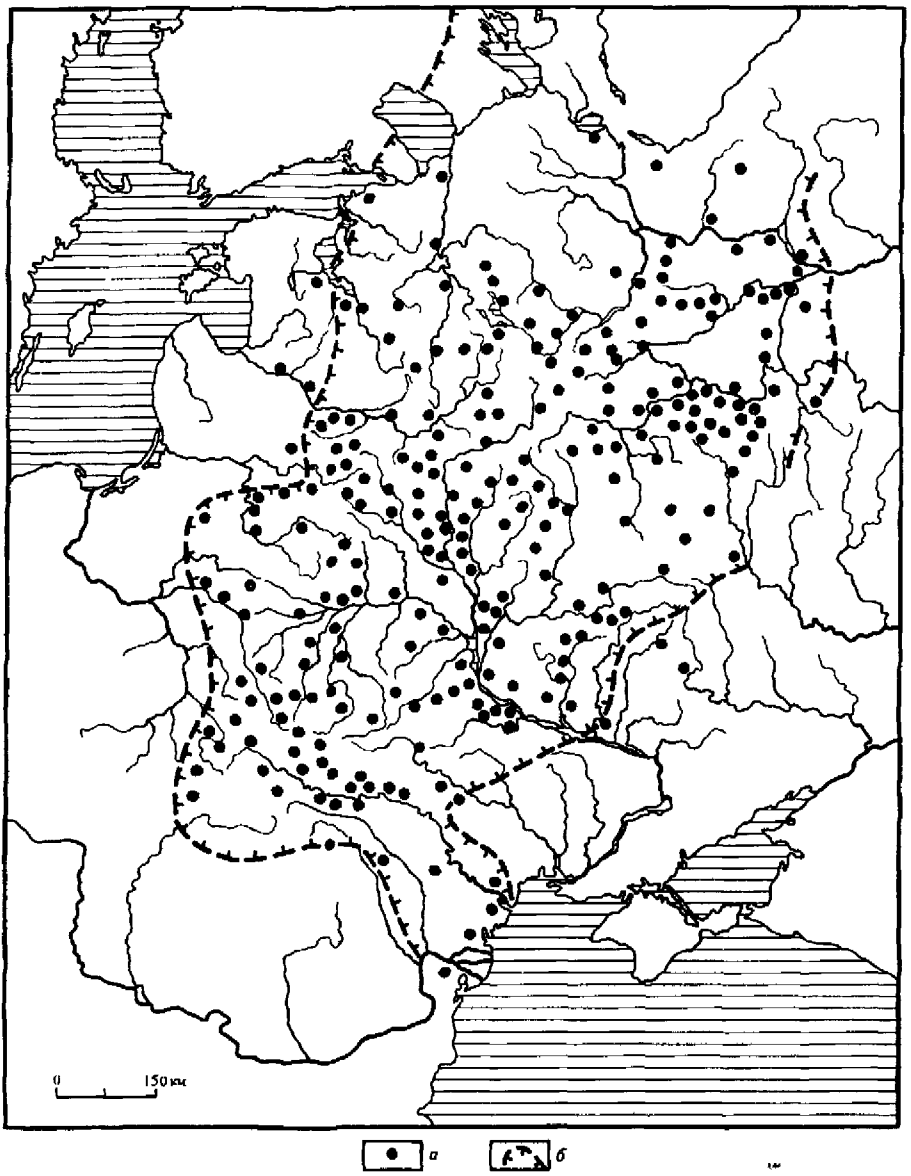


Рис. 3. Карта городов домонгольской Руси
Условные обозначения: а – города; б – приблизительная граница Древнерусского государства

В формировании восточнославянской общности существенная роль принадлежит христианской религии. Церковь способствовала укреплению русской государственности и сыграла положительную роль в развитии просвещения, создании важнейших литературных ценностей и произведений искусства и архитектуры. Несомненна и роль церкви и в приобщении Руси к культурным богатствам Византии. Христианская идеология, искусство и просветительная деятельность стали мощным импульсом интеграции племенной раздробленности славянского населения восточноевропейской равнины и формирования восточнославянской общности.

Наконец, самое существенное – образование единого Древнерусского государства, политически объединившего все земли славян, расселившихся на широких простран-

ствах Восточной Европы. Государственная власть, осуществлявшая административные и судебные функции на всей территории Руси, организующая походы войска, собираемого из различных земель, строившая города и крепости на пограничье и внутри подвластного ареала, несомненно консолидировала население в единое целое.

Начало формирования восточнославянского культурного единства по археологическим данным следует датировать X в., а его окончательное оформление относится к XI–XII вв. Арабские источники употребляют этнонимы "славяне" и "русы". Разграничение этих терминов для периода IX в. – начала X в. непонятно, но со второй половины X в. "русами" восточные авторы последовательно именуют восточных славян, входивших в состав Древнерусского государства, а "славянами" – весь раннесредневековый славянский мир [41]. Очевидно, восточные славяне – русы (на первых порах – военно-дружинное сословие и жители городов) начали осознавать свое единство уже в начальной стадии формирования восточнославянской народности.

Татаро-монгольское нашествие и последовавшее за ним включение западнорусских земель в состав Литовского государства полностью нарушили интеграционные процессы восточного славянства. Основой восточнославянской этноязыковой общности было городское население, в сельских местностях диалектные особенности прочно сохранялись. В середине XIII в. целый ряд древнерусских городов прекратил свое существование, многие города были сожжены и разгромлены, население их или погибло или разбежалось – городская жизнь была серьезно нарушена. В результате восточнославянская общность прекратила свое развитие. В этноязыковом развитии восточного славянства возобладали дифференциационные процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шахматов А.А.* К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // ЖМНП. 1899. IV.
2. *Шахматов А.А.* Введение в курс истории русского языка. Ч. 1: Исторический процесс образования русских племен и русских народностей. Пг., 1916.
3. *Шахматов А.А.* Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919.
4. *Рыбаков Б.А.* Проблема образования древнерусской народности // ВИ. 1952. № 9.
5. *Рыбаков Б.А.* Древние русы // СА. 1953. Т. XVIII.
6. *Третьяков П.Н.* У истоков древнерусской народности. Л., 1970.
7. *Филин Ф.П.* О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков // ВЯ. 1980. № 4.
8. *Півторак Г.П.* Формування і діалктна диференціація давньоруської мови (Історико-фонетичный нарис). Київ, 1988.
9. *Трубачев О.Н.* В поисках единства. М., 1992. С. 96–98.
10. *Ляпунов Б.М.* Древнейшие взаимные связи русского и украинского языков и некоторые выводы о времени их возникновения как отдельных лингвистических групп // Русская историческая лексикология. М., 1968.
11. *Хабургаев Г.А.* Становление русского языка (пособие по исторической грамматике). М., 1980. С. 70–115.
12. *Зализняк А.А.* Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского // Советское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 175–176.
13. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе, с приложением очерка русской диалектологии / Сост. Н.Н. Дурново, М.Н. Соколов и Д.Н. Ушаков. М., 1915.
14. *Седов В.В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
15. *Терпиловский Р.В., Абашина Н.С.* Памятники киевской культуры. Киев, 1992.
16. *Седов В.В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
17. *Дурново Н.Н.* Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 183.
18. *Седов В.В.* Славяне и иранцы в древности // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978.
19. *Афанасьев Г.Е.* Население лесостепной зоны бассейна среднего Дона в VIII–X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры) // Археологические открытия на новостройках. М., 1987. Вып. 2. С. 153.
20. Повесть временных лет. М.; Л., 1950.
21. *Трубачев О.М.* Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971. № 6.
22. *Монгайт А.Л.* Рязанская земля. М., 1961. С. 121–128.

23. *Седов В.В.* Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. С. 134–170.
24. *Седов В.В.* Длинные курганы кривичей. Свод археологических источников. Вып. EI–8. М., 1974.
25. *Зализняк А.А.* Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период. М., 1984.
26. *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986. С. 111–119, 217, 218.
27. *Udolph J.* Die Landnahme der Ostslaven im Lichte der Namenforschung // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1981. Bd. 29.
28. *Седов В.В.* Новгородские сопки. М., 1970.
29. *Николаев С.Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
30. *Николаев С.Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание) // Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989.
31. *Седов В.В.* Днепровские балты // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1985.
32. *Sedovs V.* Balti senatne. Riga. 1992. С. 58–70.
33. *Седов В.В.* Из этнической истории населения средней полосы Восточной Европы в I тыс. н.э. // Российская археология. 1994. № 2.
34. *Филин Ф.П.* Очерк истории русского языка до XIV столетия (Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена. Т. XXVII). Л., 1940. С. 86.
35. *Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М., 1972. С. 58–60.
36. *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990. С. 109–159.
37. *Булатова Р.В., Дыбо В.А , Николаев С.Л.* Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
38. *Давидан О.И.* Этнокультурные контакты Старой Ладоги VIII–IX веков // Археологический сборник Гос. Эрмитажа. Л., 1986. Вып. 27.
39. *Седов В.В.* Начало городов на Руси // Труды V Международного конгресса славянской археологии. М., 1987. Т. I. Вып. 1.
40. *Тихомиров М.Н.* Древнерусские города. М., 1956. С. 9–43.
41. *Новосельцев А.П* "Худуд-ал-алам" как источник о странах и народах Восточной Европы // История СССР. 1986. № 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. В.З. ДЕМЬЯНКОВ

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕГО ПОДХОДА*

1. КОГНИТИВИЗМ КАК ОБЩЕНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1.1. Общая характеристика когнитивизма. Когнитивизм – взгляд, согласно которому человек должен изучаться как система переработки информации, а поведение человека должно описываться и объясняться в терминах внутренних состояний человека. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы и интерпретируются как получение, переработка, хранение, а затем и мобилизация информации для рационального решения разумно формулируемых задач. Поскольку решение этих задач непосредственно связано с использованием языка, вполне естественно, что язык оказался в центре внимания когнитивистов. А теоретики языка, причисляющие себя к когнитивистам, стремятся применить общий подход для описания и объяснения "языковой когниции".

В науке нередок тот случай, когда в новой концепции слышны отголоски когда-то звучавших положений или проблем. Затронуло это déjà vu и когнитивизм. Приняв термин "когниция" в качестве ключевого, направление это обрекло себя на обвинения в перепевах в новых терминах того, что давно известно. Ведь когниция, познание, разум, intelligentia были предметом рассуждений с незапамятных времен. Наше столетие прошло под знаком когниции. Внешне же когнитивисты отличаются от предшественников очень широким использованием информационно-поисковых метафор и образов. Когниция для когнитивистов – процедуры, связанные с приобретением, использованием, хранением, передачей и выработкой знаний [1, с. 11].

Затруднительно оценить когнитивизм и потому, что этим именем одновременно называются [2, с. 181]:

– программа исследований человеческого "мыслительного механизма" [3, с. 9];

– стиль наблюдений над явлениями ментальной природы человека (в этом когнитивизм близок феноменологии);

– исходная гипотеза о том, что субъект – источник, инициатор своих действий;

– демаркация области исследования, когда когниции – восприятие, языковая деятельность, память, представления – противопоставляются аффектам, не входящим, тем самым, в число первичных объектов исследования.

Разрабатывая модели "внутренней переработки" (inner processing), когнитивисты характеризуют ментальные события в менталистских терминах [4, с. XIII]. Поиски причин того, что вызывает в нас те или иные конкретные мысли, не исключительно когнитивистское занятие. Есть еще как минимум два других подхода: бихевиоризм и нейропсихология. Бихевиоризм стремился характеризовать поведение в терминах навыков, стимулов и реакций. Нейропсихология же видит объяснение на уровне нейронных процессов [4, с. 3–4]. В отличие от этих подходов, когнитивисты стремятся формулировать свои гипотезы в терминах самих ментальных процессов, не сводимых

* Настоящая работа выполнена в рамках исследовательского проекта 'Язык и знания. Когнитивные исследования' (руководитель акад. Ю.С. Степанов), финансируемого Институтом языкознания РАН и Российским фондом фундаментальных исследований.

ни к стимулам и реакциям, ни к взаимодействию клеток. Это – попытка функционально идентифицировать ментальные состояния, в терминах их взаимодействия между собой, в абстракции от материальной реализации в мозгу.

Например, в "когнитивной теории личности" сосредоточиваются не на фазе собственно восприятия, а на том, что происходит затем – условно эту другую фазу и называют "переработкой информации". Такую "переработку" характеризуют или в терминах "схем", "фреймов", "скриптов" и т.п. – или (как в концепции "параллельной распределенной обработки" – parallel distributed processing, сокращенно PDP) более мелких, "микроуровневых" понятий – "микропризнаков", фигурирующих в рамках взаимодействующих систем [5, с. 7]. Когнитивность теории – в стремлении учесть степень близости конкретного исследуемого феномена к сознанию [6, с. 16]. Отсюда и общая когнитивистская установка на проявления когниции во внешнем поведении [7, с. 1].

Что же нового приносит когнитивизм? Что дают новые метафоры и образы процедур, выполняемых ментальностью человека? Какому содержанию соответствует эта "компьютерная стилистика" теории? Ответить на этот вопрос помогает следующая аналогия с алгеброй. Алгебра как искусство решения конкретных квадратных уравнений идейно существовала до создания нынешнего формального аппарата. Но рождение ее связывают с возникновением системы, позволяющей генерировать методы решения крупных типов задач. Когнитивизм делает заявку на метод серийного, если угодно, "промышленного", решения задач о человеческой мысли, а заодно порождает целую серию новых проблем.

1.2. "Когнитивная наука". "Когнитивная наука" – исследование разума (intelligence) и разумных систем, при котором разумное поведение рассматривается как что-то вроде вычисления [8, с. 1]. От предшествующих подходов к когниции ее отличает степень проникновения идей и техник "вычисления". Последний термин берется не в чисто арифметическом смысле, а как аналог операций, осуществляемых ЭВМ [9, с. 51].

Ясно, что такая дисциплина должна быть комплексной. Например, ее можно представить как "федерацию" наук, не связанных строгими уставными отношениями. В эту "федерацию" входят: искусственный интеллект (или "прикладная философия"), языкознание, психология и неврология [10, с. 28] (другой вариант административного деления: физиология, психолингвистика и математика [11, с. 28]). Искусственный интеллект нацелен на имитацию человеческого интеллекта с помощью ЭВМ в решении задач вообще. "Когнитивная лингвистика" – филиал когнитивной психологии, использующей арсенал переработки языковой информации для построения моделей, имитирующих внешние проявления человеческого поведения при решении интеллектуальных задач. Наконец, неврология, или теория мозга, должна сводить поведение человека и животных к схемам взаимодействия элементов нервной системы.

Общий знаменатель такой комплексной когнитивной науки – построение моделей познания и интеллекта, с перспективой воплощения их на ЭВМ. Итак, предметом исследования являются: человеческая когниция (т.е. взаимодействие систем восприятия, репрезентирования и продуцирования информации) и ее "технологическое представление" [11, с. 30].

Когнитивная психология 1960-х гг. – и в этом ее заслуга перед остальными когнитивистскими дисциплинами – продемонстрировала возможности информационно-поискового подхода к человеческой ментальности, возможности нового научного метаязыка. Понятие обработки информации, заимствованное из теории информации, где оно применялось к физическим системам передачи сообщений, было приложено к человеку. Общая идея трансформировалась в следующее положение: организмы используют внутренние представления (репрезентации) и осуществляют "вычислительные" операции над этими представлениями. Когниция теперь – объект регулируемого (по правилам) манипулирования репрезентациями, в полной аналогии с современными ЭВМ.

Этот теоретический эксперимент, выявивший гибкость нового научного метаязыка

в описании психических процессов, создал предпосылки для когнитивистского подхода к объекту и результатам исследований в смежных дисциплинах. И конечно же, в лингвистике, поскольку во всем комплексе наук о человеке сталкиваются, в первую очередь, с отношениями между языком и другими человеческими видами деятельности и процессами. Язык даже в большей степени, чем культура и общество, дает когнитивистам ключ к человеческому поведению [12, с. 273].

1.3. "Когнитивная революция". Так мы подходим к феномену, получившему название "когнитивная революция". Не будем, впрочем, слишком серьезно воспринимать термин "революция" в данной связи: никаких разрушений и ниспровержений предыдущего уклада теоретической жизни в науках о человеке когнитивизм, к счастью, не принес. В 1950–60-е годы, богатые политическими и социальными потрясениями, это слово стало избитым комплиментом, раздаваемым направо и налево, ср.: "генеративная революция", "революция в биологии", "экономическое чудо" (в Японии и ФРГ), "революция в психиатрии" [13, с. 8] и т.д. Что же происходило с когнитивизмом?

До когнитивистов стремились открыть общие логические законы, действительные для всех биологических видов, материалов, веков и стадий знания, в отвлечении от содержания [14, с. 306]. Теперь же главные принципы привязываются к человеческой когниции. "Революционерами" 1956–72 гг. были Дж. Брунер, Дж. Миллер, У. Найссер, Ж. Пиаже, А. Ньюэлл, Г. Саймон и др. [15]. По степени теоретической и личностной солидарности когнитивизм вполне сопоставим с бихевиоризмом в психологии 1940-х – ранних 1950-х гг. Именно междисциплинарность названного периода предопределила аксиомы когнитивизма [14, с. 117]:

1. Исследуются не просто наблюдаемые действия (т.е. продукты), а их ментальные репрезентации, символы, стратегии и другие ненаблюдаемые процессы и способности человека (которые и порождают действия).

2. На протекании этих процессов сказывается конкретное содержание действий и процессов, а не всеядный "навык" бихевиористов.

3. Культура формирует человека: индивид всегда находится под влиянием своей культуры.

Чего-либо революционного в этих установках мы, конечно же, не находим, – кроме, может быть, выраженного антибихевиоризма. Собственно говоря, поводом для именования нового направления "революцией" и явилось это "*анти-*": революционеры, что ни говори, должны же против чего-нибудь выступать. "Революционеры"-когнитивисты стремились вернуть мысль (mind) в науки о человеке – после "долгой холодной зимы объективизма" [16, с. 1]. Они стремились не реформировать бихевиоризм, а вытеснить его как методологию научного исследования [16, с. 3–4].

К середине 1950-х годов появилась заманчивая перспектива объяснить мыслительные процессы через "правила преобразования мысленных представлений", аналогичные трансформационным правилам в первых версиях генеративной грамматики. Эти правила вырисовывались из наблюдений над усвоением языка детьми [17, с. 1]: складывалось впечатление, что дети каким-то единообразным способом приходят к овладению своим родным языком и что этот универсальный "алгоритм" овладения языком состоит во введении новых правил во внутреннюю грамматику ребенка. Обобщая эти наблюдения, пришли к выводу о том, что эти правила очень похожи на все, что управляет и неречевыми видами деятельности, придает им продуктивность, и выглядит иногда как непроизвольное, неконтролируемое поведение, отражаясь на структуре восприятия, памяти и даже на эмоциях [18, с. 6–7].

Основанная на подобных соображениях когнитивистская методика близка по духу деятельности лингвиста, когда тот, интерпретируя текст, анализирует причины правильности и осмысленности предложений (на основе опроса информантов и/или интроспективно), прибегает к гипотетико-дедуктивным построениям [19, с. 539; см. также 20, с. 371]. Исследование того, как человек оперирует символами, осмысляя и

мир, и себя в мире, объединяет лингвистику с другими дисциплинами, интерпретативным путем изучающими человека и общество.

Наш основной тезис в этой связи таков. "Когнитивная революция" была одним из проявлений общей тенденции к интерпретативному подходу в различных дисциплинах. Это стремление выявить механизмы интерпретации человеком мира и себя в мире, особенно ярко выраженное в лингвистическом "интерпретационизме" ("интерпретирующая семантика"), в философской и юридической герменевтике, в литературоведческих теориях читателя (reader criticism). Однако когнитивизм меньше по объему этого интерпретационизма, не исчерпывает его.

1.4. Направления критики когнитивизма. Когнитивная наука как проект исследования человеческой когниции актуальна и практически важна. Однако она связана с неизбежными огрублениями. Вот почему часто можно слышать следующие "типовые" замечания в ее адрес:

1. Уход от проблем "значения" к "информации", от "создания" значения – к обработке информации – дань моде, технократизму, т.е. огрубление, используемое для облегчения технической реализации модели. На деле же значение и информация – совершенно разные вещи. Ведь значение присуще даже неинформативным сообщениям. Для системы обработки информации безразлично, обрабатывается ли сонет Шекспира или матрица чисел. Важно лишь, чтобы сообщение было информативным, т.е., контрастировало на фоне альтернативного выбора знаков, укладывалось в составленный заранее код. При информативном взгляде предполагается кодекс предопределенных возможностей выбора, за пределами которых нельзя вообще говорить об обработке информации в терминах элементарных операций (входящих в предопределенный же набор отношений), производимых над фиксированными и произвольными по своей природе единицами. Информационной системе – в отличие от системы значений – внеположены такие понятия, как неопределенность, полисемия, метафора и коннотации [16, с. 4].

2. Замысел когнитивной науки интересен, но реализации уводят далеко в сторону к чему-то слишком технократичному, менее человеческому. Вряд ли когниция в классическом смысле слова может быть приравнена к зеркальному отражению, которое-то и моделируется в терминах информационно-поисковой парадигмы. Более правдоподобен тот взгляд, что человеческое познание (как и язык, миф и искусство), – не зеркало, всего лишь отражающее внешнюю и/или внутреннюю сущность предметов, которые обладают своей структурой еще до акта нашего познания; его скорее можно сравнить с источником света, создающим предпосылки для человеческого восприятия. Чем лучше освещение, чем сильнее источник, тем четче мы видим предмет [21, с. 26] (ср. противоположный подход: "Идея, будто познание может "создавать" всеобщие формы, заменять первичный хаос порядком и т.п., есть идея идеалистической философии. Мир есть закономерное движение материи, и наше познание, будучи высшим продуктом природы, в состоянии только отражать эту закономерность" [22, с. 165]). По Кассиреру, всякое познание покоится прежде всего на поиске единого принципа, объединяющего в одно целое разнородные наблюдения. Единичное не должно оставаться единичным, оно должно быть подведено под какую-то категорию, в которой представлено как элемент либо логической, либо телеологической причинно-следственной структуры [21, с. 8].

3. Нельзя сводить человеческое к чистой информации, поскольку важнейшей чертой человеческого интеллекта является воля. Интеллект – это когниция плюс воля (плюс еще что-то). Ограничиваясь манипулированием символами, когнитивная наука оставляет интенциональность за бортом [23, с. 11]. Итак: или в когницию следует включить интенцию, волю, – но тогда это не когниция в классическом понимании слова, – либо же признать, что когнитивизму недоступно моделирование интеллекта. В обоих случаях затруднение возникает из-за трактовки термина "когниция" в информационно-поисковом смысле.

4. Синтактика символов, которой когнитивисты чаще всего ограничиваются, не

может адекватно отразить ментальность человека: люди мыслят семантическими сущностями [24, с. 43–55].

Из-за сомнительной революционности, недостаточности метафоры информационного поиска и отсутствия организационного единства когнитивизм постигла судьба других "измов" (как в свое время бихевиоризм и структурализм): этот термин "служит знаменем для крестовых походов, предпринимаемых различными научными школами, когда войска стремятся к сотрудничеству для того лишь, чтобы разгромить общего врага" [2, с. 181]. Имеется не одна, а много когнитивистских "унифицированных" теорий [25, с. 503], образующих "содружества" и стремящихся к синтезу, взаимной адаптации, а не вытеснению друг друга. И в этом стиле взаимодействия мы видим характер интерпретациониста, по-человечески, терпимо относящегося ко всему, что попадает в сферу его внимания.

2. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

2.1. Общие задачи. "Когнитивная лингвистика" – направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм.

В сферу жизненных интересов когнитивной лингвистики входят "ментальные" основы понимания и продуцирования речи с точки зрения того, как структуры языкового знания представляются ("репрезентируются") и участвуют в переработке информации. На научном жаргоне последних лет эта задача ставится так: каковы "репрезентации" знаний и процедуры их обработки? Обычно полагают, что репрезентации и соответствующие процедуры организованы модульно, а потому подчинены разным принципам организации [26, с. 223].

В отличие от остальных дисциплин когнитивного цикла, в когнитивной лингвистике рассматриваются те и только те когнитивные структуры и процессы, которые свойственны человеку как homo loquens. А именно, на первом плане находятся: системное описание и объяснение механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов. При этом возникают следующие вопросы [27, с. 1–2]:

1. **Репрезентация ментальных механизмов освоения языка и принципов их структурирования:** достаточно ли ограничиться единой репрезентацией – или же следует представлять эти механизмы в рамках различных репрезентаций? Как взаимодействуют эти механизмы? Каково их внутреннее устройство?

2. **Продуцирование.** Главный вопрос: основаны ли продуцирование и восприятие на одних и тех же единицах системы или у них разные механизмы? Кроме того: протекают ли во времени процессы, составляющие продуцирование речи, параллельно или последовательно? Скажем, строим ли мы сначала общий каркас предложения, только затем заполняя его лексическим материалом, или же обе процедуры выполняются одновременно, и тогда как это происходит? Какие подструктуры (например, синтаксические, семантические, концептуальные и т.д.) фигурируют в продуцировании речи и как они устроены?

3. **Восприятие** в когнитивистском ключе исследуется несколько более активно, чем продуцирование речи, – в этом еще одно проявление интерпретационизма. В связи с этим спрашивается: Какова природа процедур, регулирующих и структурирующих языковое восприятие? Какое знание активизируется посредством этих процедур? Какова организация семантической памяти? Какова роль этой памяти в восприятии и в понимании речи?

В когнитивной лингвистике принимается, что ментальные процессы не только базируются на репрезентациях, но и соответствуют определенным процедурам – "когнитивным вычислениям" [28, с. 37–38]. Для остальных "когнитивных дисциплин" (особенно для когнитивной психологии) выводы когнитивной лингвистики ценны в той мере, в какой позволяют уяснить механизмы этих самых когнитивных вычислений в целом [29, с. 141].

На таком информационно-поисковом жаргоне центральная задача когнитивной лингвистики формулируется как описание и объяснение внутренней когнитивной структуры и динамики говорящего-слушающего [30, с. 5]. Говорящий-слушающий рассматривается как система переработки информации, состоящая из конечного числа самостоятельных компонентов (модулей) и соотносящая языковую информацию на различных уровнях. Цель когнитивной лингвистики, соответственно, – в исследовании такой системы и установлении важнейших принципов ее, а не только в систематическом отражении явлений языка. Для когнитивиста важно понять, какой должна быть ментальная репрезентация языкового знания и как это знание "когнитивно" перерабатывается, т.е., какова "когнитивная действительность". Адекватность и релевантность высказываний лингвистов оцениваются именно под этим углом зрения, интерпретируясь [30, с. 6] как то, что отражает:

1. Усваиваемость. Предлагаемый исследователем вид ментальной репрезентации должен быть доступен для усвоения. (Вопрос только в том, что считать доступным для усвоения, а что – недоступным.)

2. Перерабатываемость. Репрезентация–кандидат может перерабатываться с помощью программы некоторого достаточно правдоподобного анализатора (на ЭВМ). Этим объясняется тяга к проверке грамматической модели методами компьютерной лингвистики.

2.2. Язык как объект когнитивной лингвистики. Некоторые лингвисты (например, генеративисты) считают, что языковая система образует отдельный модуль, внеположенный общим когнитивным механизмам [29, с. 141]. Однако чаще языковая деятельность рассматривается как один из модусов "когниции", составляющий вершину айсберга, в основании которого лежат когнитивные способности, не являющиеся чисто лингвистическими, но дающие предпосылки для последних. К таким способностям относятся: построение образов и логический вывод на их основе, получение новых знаний исходя из имеющихся сведений, составление и реализация планов [2, с. 27].

Примером когнитивистского стиля в теоретизировании является "когнитивная фонология" (cognitively-based phonology) [31, с. 155–156], в которой описание происходит в терминах правил построения структуры, "работающих" в тесном взаимодействии с "когнитивными схемами". Эти схемы составляют внеязыковую систему "ментальной компетенции". Упор делается на функциональность, а не на формальную простоту, – почему и допустимы телеологические объяснения.

Другой пример когнитивистского подхода связан с использованием принципа "когнитивного соответствия", формулируемого так [32, с. 79]: выдвигая представление (репрезентацию) для конкретной единицы, следует обратить внимание на то, как эта единица узнается (cognized). Из нескольких конкурирующих исследовательских гипотез о структуре предложения, предиката, текста и т.п. выбирается тот, который в наибольшей степени соответствует, по мнению исследователя, когнитивной реальности. Формально правдоподобная репрезентация, противоречащая этому принципу, должна браковаться.

Это положение противоположно принципу прямого соответствия, согласно которому элементы репрезентации прямо соответствуют сущностям в мире и отражают истинностные условия (truth conditions), или условия удовлетворения (conditions of satisfaction). Например, словосочетание "Бруклинский мост" имеет референцию к конкретному предмету в действительности, если существует объект этой действительности ("референт"), удовлетворяющий требованиям данной дескрипции такой предмет выглядит как мост, и его принято именовать "Бруклинским" (возможно, и расположен он в Бруклине). Иначе говоря, он удовлетворяет всем требованиям, задаваемым дескрипцией. По принципу же когнитивного соответствия, "Бруклинский мост" соотнесен не с конкретным предметом в реальном мире (вне "когниции" человека), а с некоторой сущностью в когнитивном представлении этого мира, в "проекции" мира на когницию человека [33]. В силу принци-

па когнитивного соответствия, когнитивная структура заложена в значениях языковых выражений.

Лапидарно когнитивистскую точку зрения на значение и референцию можно сформулировать в виде максимы: "Избегай говорить о чем-либо в обход когниции человека". Отсюда – один шаг до признания избыточности термина "референция": если ты когнитивист, то имеешь право говорить только о денотации языковых выражений.

Однако, без понятия "референции", без опоры на аксиомы "внешнего мира" как установить несамопротиворечивость суждения в языковой форме? Эту проблему ставит когнитивная лингвистика перед философией языка. Когнитивисты надеются получить ответ на этот вопрос в рамках следующих теоретических проектов:

1. Построение теории интерпретации текстов (которые, как известно, иногда содержат взаимоисключающие суждения), объясняющей логический вывод на естественном языке – "речевое размышление". Такая теория должна давать характеристику процессам когниции и отношениям между предложениями и внутри них. Сама человеческая когниция, повторим, моделируется как "когнитивное вычисление" [34, с. 1].

2. Разработка науки о "работе мысли" человека, включающей теорию вычислимости смысла текста, т.е. установления связности его (логической несамопротиворечивости [35, с. 26]), при том, что (вслед за феноменологами) связность суждений о мире считается коррелятом истинного существования мира [36, с. 223].

Так, стартуя с лингвистической площадки, мы заходим на территорию смежных дисциплин. Когнитивисты обречены на междисциплинарность, это предопределено самой их историей. Только общими усилиями психологии, лингвистики, антропологии, философии, компьютерологии (computer science) можно ответить на вопросы о природе разума, об осмыслении опыта, об организации концептуальных систем [29, с. XI].

3. КОГНИЦИЯ

3.1. Определение и виды когниции. Прообраз рабочего определения когниции в терминах информационно-поисковой парадигмы можно найти у Дж. Беркли, писавшего в 1710 г.: "Для всякого, кто обозревает объекты человеческого познания, очевидно, что они представляют из себя либо идеи (ideas), действительно воспринимаемые чувствами, либо такие, которые мы получаем, наблюдая эмоции и действия ума, либо, наконец, идеи, образуемые при помощи памяти и воображения, наконец идеи, возникающие через соединение, разделение или просто представление того, что было первоначально воспринято одним из вышеупомянутых способов" [37, с. 171].

Однако термин *cognitio* и всевозможные связанные с ним дистинкции фигурировали еще раньше, когда выделяли такие виды познания, как абстрактное (abstractiva), наглядное (intuitiva), обыденное (practica), познание определенности вещи (quidditativa), обращенное на самое себя (reflexiva supra se), теоретическое (speculativa), отчетливое (distincte), смутное (confusum) и т.д. [38–40; 41, с. 98–99]. Стремление "Я" понять себя самого было источником и идеализма, и трансцендентальной философии [42, с. 13].

Понятие когниции включает не только утонченные занятия человеческого духа (такие как знание, сознание, разум, мышление, представление, творчество, разработка планов и стратегий, размышление, символизация, логический вывод, решение проблем, делание наглядным, классифицирование, соотнесение, фантазирование и мечты [43, с. 2]), но и процессы более земные, такие как организация моторики, восприятие, мысленные образы, воспоминание, внимание и узнавание [44, с. 14–15]. К необходимым условиям когниции относится мимезис [45, с. 262].

3.2. Границы когниции, знание и эмоции В отличие от когниции, знание одновременно представляет собой [3, с. 26]:

– оправданное мнение или вообще адекватную и оправданную репрезентацию,

– процедуру получения такой репрезентации.

Когниция же внеположена истинностному значению и оперирует как (истинным) знанием, так и заблуждениями. Ее характеризуют процедуры обращения с знаниями и мнениями (некоторые из которых могут быть ошибочными и неадекватными) вместе с их связями. Знаниям и мнениям приписываются репрезентации, которые когниция как процедура порождает и использует.

Будучи внеположенной фактору истинности, когниция-узнавание, как считал в свое время А. Майнонг [46, с. 18], – акт суждения (Urteilen), к которому рано или поздно присоединяется момент обоснования, собственно событию суждения не обязательно присущий: недаром бывают ложные суждения. Итак, когниции свойственна связь с внутренним обоснованием, а не с установлением истины.

Чтобы ответить на вопрос, почему ошибочные суждения не мешают когниции, Августин различал имплицитное осознание (nosse), связанное в первую очередь с памятью, и эксплицитное (cogitare) [47, с. 21–29]. Душа знает себя имплицитно, однако человеку хочется получить объяснение (экстериоризацию) внутреннего этого знания. Видимо, потому нас так часто и преследует мысль, что мы никак не можем в речи выразить что-то осознаваемое глубиной души.

Фома Аквинский, считавший душу формой тела и его первым субстанциональным актом [47, с. 77], называл это предрефлексивное сознание, простое сознание себя, актуализацией *cognitio habitualis*, отличая его от остальных форм самоосознания [47, с. 113].

Взаимодействие имплицитной и эксплицитной, обыденной и экстериоризованной когниций вряд ли можно представить как простое выражение, перевод с "языка" внутреннего представления на "язык" внешнего выражения: внешнее выражение, более богатое, чем внутреннее, обладает дополнительными моментами, обусловленными, например, условностями жанра. Так, фабула незатейливой сказки и романа может быть одной и той же, – но экстериоризация в двух этих случаях очень различна по насыщенности чувствами и мыслями. Экстериоризация происходит по культурообусловленным канонам развертывания когниции. Различны ли эти каноны в научной и обыденной когнициях?

Часто считают, что "ученое" осознание глубже обыденного и, может быть, вообще не зависит от него. Но ведь несомненно, что во всех культурах "обыденная" когниция незримо присутствует при чувственном восприятии, в правильных и неправильных интуитивных суждениях, в индуктивном рассуждении, в силлогизмах и паралогизмах, в казалось бы необоснованных предрассудках и в личных мнениях [48, с. 10]. "Ученые" суждения зависят от обыденных значительно чаще, чем обыденные – от ученых мнений. Поскольку человек включен в окружающую обстановку, он зависит от богатства и состояния наличных когнитивных средств. Недостатком этих средств и объясняют иногда заблуждения [49, с. 1].

Отличается когниция и от эмоции, поскольку [50, с. 172], оперируя дискретными, в высшей степени специализированными, различными и систематизированными единицами и структурами, когниция в высшей степени структуирована, а когнитивные структуры ориентированы на отражение структуры внешнего мира в связи с потребностями социальной деятельности – включая сюда сообщение мыслей. Хотя когнитивные структуры привязаны к вербальным (символьным) структурам, а языки мира очень разнообразны, основные механизмы когниции универсальны, что и проявляется в семантике языка. Универсальные языковые структуры (patterns), универсальные грамматические категории, а также организация категорий вокруг прототипов свидетельствуют о том, что человек не просто "осваивает" действительность, но активно и целенаправленно организует ее определенным образом для конкретных целей [51, с. 273].

На этих положениях основана, между прочим, психотерапевтическая практика [13, с. 8], когда когниция берется как дискретный фрагмент знания, элемент понимания (включая знание, интерпретацию, понимание, мысли, возникающие у индивида о нем

самом в конкретном окружении), а аффект и поведение человека трактуются как результат когниций, с помощью которых человек структурирует мир. Когниции человека (речевые или зрительные "события" в потоке его сознания) базируются на установках или предположениях (схемах), выработанных в результате предшествующего опыта. Когниции могут быть автоматическими, неосмысленными и дисфункциональными, внешне правдоподобными, но ошибочными, непроизвольными и т.д. В частности, дисфункциональные когниции относятся к самосознанию индивида, к миру или к будущему (т.н. "когнитивная триада") и являются результатом главных видов своеобразного (свойственного именно данной личности) ошибочного способа переработки информации, когда происходят: неправильный логический вывод (логические ошибки), выборочное абстрагирование (вследствие сосредоточенности на несущественных деталях), необоснованное обобщение, преувеличение негативных и преуменьшение позитивных переживаний и т.д. Психотерапия состоит в том, что:

– устанавливается, каков набор привычных когниций и схем,

– по ходу беседы с пациентом эти когниции высвечиваются, так чтобы больной осознал их абсурдность,

– стремятся вытеснить одни когниции другими, более здравыми [13, с. 10].

3.3. Когниция – формируемая и миропреобразующая сила. Перерабатываемое знание структурировано и упорядочено линейно в соответствии с очередностью его освоения данным человеком. Мир меняется, а потому меняются и наши когниции мира, и модусы самопонимания [52, с. 67]. Вот почему мы пользуемся не заранее расфасованными данными, а какой-то пока еще не вполне ясной их организацией, позволяющей применять знание в новых контекстах и генерировать новое знание.

В то же время, человеческая когниция – не только формируемая, но и формирующая сила. Миры образов, в которых мы живем, не только отражают эмпирическую данность, но и продуцируют ее в меру нашей способности создавать символы [53, с. XIII].

"Всякая мысль метафорична", – так говорил Ф. Ницше. Э. Кассирер показал, что пространство, время и число формируются именно с помощью образного мышления (порождениями которого К. Леви-Стросс считал язык, миф и культуру). Однако человеческие образы должны каким-то образом соотноситься с явью, с феноменом или тем, что кажется явью. Поэтому представление всегда связано с чем-то, посредующим между вещами и знанием о них. Чтобы выяснить, как выглядит этот посредующий уровень, следует проанализировать структуру в терминах знаков и их значимости. У каждого знака оказывается свое историческое измерение, составляющее суть знака. Но образы – фигуры мышления – проявляют свое истинное значение, только когда интерпретируются и анализируются в своей совокупности [53, с. XIII].

Отсюда ясно, что мир (вопреки расхожему представлению о когнитивизме) – не индифферентный поток информации, только подвергаемый обработке. Когниция организует в человеке смыслообразование и использование значений в рамках культуры, – делая значение общим достоянием людей, принадлежащих к этой культуре. Речевое общение направлено на установление договоренностей о нормах в употреблении значений, интерпретаций и понятий. Успех таких "переговоров" зависит от того, как мы их ведем [16, с. 12–13]. Способ представления (репрезентации) знаний согласуется с социокультурным опытом человека – носителя знания.

Итак, когниция вдвойне "интерактивна" [54, с. 12]: связана и с воспринимаемым миром, и с волей человека.

В искусственном интеллекте обычно полагают, что компьютеры и мозг человека обладают по меньшей мере следующими тремя различными уровнями организации, ср. [19, с. 57]:

– семантическим, задаваемым в терминах знаний и целей и позволяющим установить степень осмысленности и даже целесообразности связей между когнициями,

– символьным, куда входят символы, их структура и правила оперирования символами,

– физическим (или биологическим), определяемым структурой и принципами функционирования физического объекта.

Отдаленно эта "архитектура мысли" (структура и взаимоотношения механизмов, лежащих в основе когнитивного поведения и порождающих это когнитивное поведение [55, с. 93]) напоминает трехчленное деление в семиотике (семантика, синтактика и прагматика). Каковы же механизмы гибкого взаимодействия процессов и модулей, относимых к этим различным уровням? И каковы процедуры оптимизации принятия решений в реальном времени?

Одно из решений дает Х. Саймон [56, с. XII]:

1. Есть система обработки информации, основанная на сравнительно небольшой оперативной (кратковременной) памяти и фактически неограниченной долговременной памяти.

2. Долговременная память ассоциативна по организации и "заиндексирована" сетью противопоставлений, гарантирующей быстрое распознавание знакомых стимулов и быстрый доступ к хранимой информации, с этими стимулами связанной.

3. Работа когниции протекает так.

– механизмы, в общих чертах совпадающие с процедурами понимания, генерируют репрезентацию проблемы,

– осуществляется выборочный поиск в рамках проблемной области, задаваемой такой репрезентацией.

4. Знание задается в памяти в терминах как схем, так и результатов работы этих схем (своеобразный архив).

5. Система способна к самопополнению, т.е., к добавлению новых схем памяти, новых результатов работы схем, а также к расширению системы сетей противопоставлений.

Меняется ли когниция со сменой поколений? Результаты некоторых исследований дают основания для положительного ответа на этот вопрос. Так, филологическое исследование показало [57, с. IX], что у Шекспира (в меньшей степени – у Марлоу), в отличие от предшественников, пьесы структурированы так, чтобы еще до основного действия сделать понятными зрителю намерения героев. Иначе говоря, Шекспир помогает своему адресату выработать ожидания. Этого не было у авторов до Шекспира. Выработка ожиданий – не какая-то независимая психологическая способность, а попутный продукт интерпретации речевых событий, когда выявляются причинные и временные отношения между событиями. Напрашивается вывод, что шекспировская эпоха была временем своеобразной "когнитивной революции", когда изменились механизмы когниции у целого поколения. Видимо, где-то между двенадцатым и серединой семнадцатого веков английская ментальность вступила на новый путь мышления: мышления в терминах времени, причинности и вероятности. Аналогичный переход повторяется в онтогенезе – по мере взросления человека двадцатого века. Мы предполагаем также, что об изменении когниции от поколения к поколению свидетельствуют и изменение видо-временных систем европейских языков, системы определенности-неопределенности (например, появление и исчезновение артиклей) и подобные синтактико-семантические изменения языка.

3.4. Когнитивный стиль личности. Человек – активный носитель когниции, выступающий в двойной роли: как рассматривающая, познающая сторона – и как центр перспективы. П. Тейяр де Шарден в этой связи писал: "Объект и субъект переплетаются и взаимопреобразуются в акте познания. Волей-неволей человек опять приходит к самому себе и во всем, что он видит, рассматривает самого себя. Вот кабала, которая, однако, тут же компенсируется некоторым и единственным в своем роде величием. То, что наблюдатель, куда бы он ни шел, переносит с собой центр проходимой им местности, – это довольно банальное и, можно сказать, независимое от него явление. Но что происходит с прогуливающимся человеком, если он случайно

попадает в естественно выгодную точку (пересечение дорог или долин), откуда не только взгляды, но и сами вещи расходятся в разные стороны? Тогда субъективная точка зрения совпадает с объективным расположением вещей, и восприятие обретает всю свою полноту. Местность расшифровывается и озаряется. Человек видит. ...Центр перспективы – человек – одновременно центр конструирования универсума. ...С самого начала своего существования человек представляет зрелище для самого себя. Фактически он уже десятки веков смотрит лишь на себя. Однако он едва лишь начинает обретать научный взгляд на свое значение в физике мира" [58, с. 37–38].

Каждому человеку свойствен свой когнитивный стиль. Последнее понятие пришло в когнитивизм из психоаналитической традиции, где пытаются объяснить, как импульсивное и эмоциональное "Оно" (Id) контролируется более интеллектуально и реалистично ориентированным Эго. В широком смысле, когнитивный стиль [59, с. 31] можно определить как предпочитаемый подход к решению проблем, характеризующий поведение индивида относительно целого ряда ситуаций и содержательных областей, но вне зависимости от интеллектуального уровня индивида, его "компетенции". Для выделения стиля существенно не то, достигается ли в результате цель, а то, как она достигается. Когнитивные стили связаны со структурными отношениями между мыслью и ощущением [60, с. 5]:

1. Вербальные, визуальные и активирующие модусы мысли могут использовать различные виды когнитивных структур.

2. Если эти структуры обладают двойной ролью – когнитивной и эффективной, – приписываемой им в традиции когнитивного стиля, – тогда различные когнитивные структуры могут быть связаны с конкретными видами аффектов и чувств. Это значит, что в вербальном, визуальном и активирующем представлениях есть систематические и структурные отношения между мыслью и чувством.

3. Есть стили репрезентирования, связанные с типами личности. Тот или иной когнитивный стиль ассоциирован с определенным характером. Когнитивный стиль – относительно стабильное сочетание "личностных инвариантов" у конкретной личности [61, с. 7]. Имеются три вида таких личностных инвариантов [61, с. 7]:

– инварианты-модальности и инварианты-процессы в обращении с информацией: речь идет о большей или меньшей степени интеллектуальной эффективности, склонности (в конкретных обстоятельствах) выбирать последовательность тех, а не иных операций;

– инварианты-репрезентации, соотнесенные по содержанию и по своей структуре;

– мотивационные когнитивные инварианты, связанные с представлениями о цели действия и с необходимостью стимуляции.

Когнитивное развитие человека можно рассматривать как установление когнитивного стиля [62, с. 1], не считая (в отличие от Пиаже) индивидуальные вариации второстепенными особенностями скорости развития, т.е., не относя индивидуальные различия к случайным вариациям в реализации одного идеального направления развития.

Все это следует учитывать, рассматривая понятие "индивидуального" стиля речи.

3.3 Вывод: когниция и интерпретация рядоположены. Итак, вырисовывается такая характеристика понятия "когниция", которая в теориях человека (в последние годы) представлена понятием "интерпретация". В филологии интерпретация речи человеком – это вид когниции, непосредственным объектом которой является продукт речевой деятельности, а результаты и инструменты обладают разветвленной типологией и насквозь пропитаны личностными характеристиками [63]. Когнитивисты заставляют поставить вопрос о том, как и когда индивид отбирает из богатства языка именно данные его средства. Вот эти-то средства и получают общее название "языковая когниция".

4. ЯЗЫКОВАЯ КОГНИЦИЯ

4.1. Мир и языковая когниция. В свое время Б. Уорф много сделал для популяризации идеи, что когнитивные процессы, образуя "естественную логику", зависят от конкретного языка, используемого в качестве родного [64]: язык формирует картину мира и мысли, а не просто выражает их [65, с. 47] Эта постановка вопроса, породившая целую тематическую область "логика языка" (рассматриваемую Ю.С. Степановым), дает фундамент для исследования в области "языковой когниции".

В то же время, когнитивисты не столь категоричны, как Уорф, и полагают, что и универсальные (не зависящие от конкретного языка), и неуниверсальные когнитивные процессы используются людьми при интерпретации текста и при восприятии действительности [66, с. 350]. Конкретно говоря, имеются:

– "переменные когниции", варьирующиеся от языка к языку; например, сведения о морфемах, о синтаксических конструкциях, о фонологических противопоставлениях, даже о категориях, прототипах и семантемах (семантических противопоставлениях и возможностях этих противопоставлений сочетаться в рамках одной языковой единицы);

– универсальные стратегии использования этих "знаний" (а точнее, "когниций") при продуцировании и интерпретации сообщений на конкретном языке.

Такая идея созвучна положению, принятому в информационно-поисковой парадигме, о хранении данных отдельно от алгоритмов использования данных. Сменный набор данных (причем не только языковых, но и внеязыковых) отделен от самих когнитивных процессов. Все шире внедряется это же положение и в генеративную лингвистику [67, с. 161–169].

4.2. Механика языковой когниции. Хранилище конкретных знаний "пристегивается" к универсальному и конечному (в любой конкретный момент, но потенциально не ограниченному) набору когнитивных стратегий, обладающих скорее контролирующей (распознающей, или интерпретирующей), чем продуцирующей функцией [67, с. 14]. По мере взросления, "созревания" когниции человека, пополняется (корректируется) и хранилище конкретных знаний, и набор стратегий. Среди новых стратегий есть и оптимизирующие стратегии, которые, в отличие от исходных универсальных когнитивных стратегий, доступны далеко не каждому типу личности, хотя некоторые, возможно, также не зависят от конкретного языка. Расширенные когнитивные системы – результат взаимодействия опыта человека со все время расширяющимся запасом оптимизирующих стратегий (это – переформулировка положения Н. Хомского [68, с. XXVX]), а не только абсолютного прироста конкретных знаний, представимых в виде атомарных пропозиций.

Неясным до сих пор, впрочем, остается вопрос относительно сущности правила грамматики:

– соответствует ли оно структуре данных (или вычислительной процедуре, реализуемой мозгом) или

– хранится в виде "человекочитаемого" спрессованного резюме данных о языковом суждении, будучи эпифеноменом "нейровычислительных" процессов совершенно иного вида [69, с 230]?

Ответ на этот вопрос когнитивисты ищут то в разработке теории врожденности когнитивного устройства, то в исследовании причин развития языка в детстве.

Итак, активность человеческой когниции не следует рассматривать ни как функционирование единого и неизменного универсального механизма, ни даже как исключительно "совокупность приобретенных навыков" [70, с 23] Эта деятельность опирается на механизмы обоих видов Например, оптимизирующие стратегии позволяют квалифицированно и быстро извлекать нужные сведения при интерпретации текста.

Приобретение оптимизирующих стратегий – не простое пополнение, например, уже сложившегося набора стратегий, а случай, когда уже модифицированный набор

используется для своего дальнейшего усовершенствования. При таком усовершенствовании [71, с. 23] происходят: выдвижение гипотез, верификация их, индукция, дедукция, используются новые сведения и оценивается надежность такого использования, устанавливается место для новых сведений среди старых и методы доступа к ним. Важное место занимает в этом комплексе "ведение системы когниций", когда, например, возникает конфликт между старыми и новыми единицами хранения, между уже используемыми оптимизирующими стратегиями и новыми кандидатами Исход таких конфликтов не всегда однозначно предопределен собственно когнициями. аффекты тоже играют роль. Крайней когнитивной депрессией можно назвать тот исход, когда интерпретатор отказывается вообще от попыток что-либо извлечь из текста и пребывает в интерпретативной прострации.

Главным же поводом для изменения языковых когниций является конкретный эпизод удачного или неудачного использования языка, в частности, при понимании другого человека. Каковы же мотивы для модификации когниций при понимании речи [72, с. 495]?

Один из возможных ответов таков. Сталкиваясь с нарушением некоторого предписания об употреблении языка, мы либо бракуем само конкретное выражение (так поступают многие, очень многие, следуя в этом школьным учителям), либо начинаем подозревать себя в неполной компетентности Этот ответ приводит к следующему положению: главное различие между языками состоит не в том, чтó они могут выразить, а в том, чтó они должны выражать: "Естественно, внимание говорящих и слушающих на родном языке будет постоянно сосредоточено на таких именно единицах, которые обладают статусом принудительности в их речевом коде В своей когнитивной функции язык в минимальной степени зависит от грамматической структуры, потому что определение нашего опыта находится в дополнительном отношении к металингвистическим операциям· когнитивный уровень языка не только допускает, но и прямо требует интерпретации-перекодировки, т.е. перевода (translation). Но в шутке, в сновидениях. в магии, словом, в том, что можно назвать обыденной речевой мифологией, а также прежде всего в поэзии, грамматические категории обладают большим семантическим весом" [73, с. 433].

Элементы хранилища знаний, соответствующие обязательным категориям данного языка, ассоциированы с инвариантными схемами (в когнитивистском смысле термина "схема"), а сигналами для модификации хранилища являются:

– осознание отсутствия нужной схемы – непонятность слова, словосочетания, странность конструкции предложения и т.п ,

– нехватка нужных слов для выражения требуемых отношений между схемами (случай обратный первому),

– ощущение, будто вы воспринимаете и продуцируете речь, лишь как в тумане отдавая себе отчет о ее смысле.

Но одного сигнала еще мало Необходимы еще: намерение понять речь и готовность к самоусовершенствованию. Это намерение тем сильнее, чем больше аффективная окраска, аффективный аккомпанемент интерпретации речи. Может быть, за этим намерением лежит еще что-то, аналогичное влечению, аппетиту и т.п ? Об этом читаем у Николая Кузанского (в работе 1440 г.): "Натурфилософы говорят. что влечению к пище предшествует некоторое болезненное чувство в преддверии желудка, побуждающее природу, которая стремится к самосохранению, подкреплять себя. По-моему, точно так же и сильное удивление, начало философии, предшествует жажде познания, благодаря которой интеллект, чье бытие есть понимание, укрепляет себя исследованием истины. А задевает нас обычно редкостное, даже если оно ужасно" [41, с. 49]

4.3. Усвоение языковых и внеязыковых когниций. Между "языковым модулем" и остальными видами когниции нет пограничного столба: язык влияет на пути образования и развития понятий [75, с. IX], а остальные типы когниции – на усвоение языка [75, с 155]. Как бы оптимистично мы ни смотрели на

возможности человека, его когниция ограничена в принципе: чтобы преодолеть когнитивные границы, человеку придется эволюционировать дальше, а между его будущей когницией и когнитивными способностями сегодняшего цивилизованного человека будет примерна та же разница, что между интеллектом homo sapiens и неандертальца. Вследствие этого, далеко не любая знаковая система может стать языком для homo sapiens. Есть границы у "языка, доступного когниции" (cognitively construable language) человека [76, с. 177], не все возможности которого еще, впрочем, исчерпаны: не любой "язык, доступный для когниции" годится в качестве средства общения между людьми. Выбирая из всех возможностей при усвоении языка, дитя человеческое действует сообразно со своими когнитивными природными задатками.

И при эволюции видов, и в развитии индивидов когнитивные структуры, интерпретирующие воспринимаемые предложения и инициирующие продуцируемые предложения, устанавливаются в период предъязыкового развития, в результате усвоения адаптивного поведения [77, с. 329]. Как современному ребенку, так и гуманоидам, еще не имевшим языка, необходимо:

– осознать значимость состояний и событий вокруг себя,

– научиться соответственно действовать.

Чем больше предложение внешне соответствует структурам, выработанным в предъязыковом опыте, тем быстрее оно будет освоено детьми и тем легче будет "переработано" при понимании и выражении взрослыми. Более того [77, с. 330], эта "глубинная" когнитивная система присуща одновременно и неязыковому (перцептивному), и языковому каналам обработки информации.

Особенно поучительны в этой связи исследования того, как усваивают свой родной язык дети, лишенные одного из каналов когниции. Оказывается, они иначе, чем в обычном случае, конструируют гипотезы о значении слова и символов вообще. В частности, к особенностям слепых детей относится следующее [75, с. 155]:

– в лексиконе есть только продуктивно образуемые производные единицы, а слова, усвоенные в самом начале, редко выходят из употребления;

– усваиваемые слова всегда связаны с действиями самого ребенка (как бы в вакууме), – в то время как зрячие дети активно пользуются обозначениями деятельности при общении с другими людьми и с предметами;

– функциональные термины и термины отношений (типа: да, больше, снова) не используются для отражения динамического состояния сущностей; зрячие же дети четко указывают на различные изменения состояний;

– отсутствие зрительной информации на использовании иллокутивного потенциала речи сказывается меньше, чем на использовании внекоммуникационных единиц [75, с. 159];

– относительная частота императивов по сравнению с утверждениями четко коррелирует с отсутствием зрения и наоборот, относительная частота утверждений связана с доступом к зрительной информации [75, с. 160]. Для зряних существенны стратегии предлагания чего-либо и указания, для незрячих же – стратегии привлечения внимания.

5. ВЫВОД: ЯЗЫКОВАЯ КОГНИЦИЯ – АКТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Итак, понятие языковой когниции совпадает с тем, что в последние годы, в рамках интерпретационизма, называют интерпретацией в широком смысле, охватывающей фактически все действия над языком, когда для этих действий появляется повод – речь. Если эту речь нужно продуцировать, внутренний мир интерпретируется в виде речи. Когда же речь задана как объект восприятия – интерпретируется она.

Вырисовывается следующая картина. В общечеловеческой когниции заложены универсальные когнитивные стратегии. Человеческий опыт их использования приводит к накоплению "объектных" знаний и "оптимизирующих стратегий". Модифицируя гипотезу, сформулированную Ф. Либерманом [78, с. VII], можно предположить, что уни-

версальные стратегии встроены в человеческий мозг, заданы самой его биологической структурой и аналогичны электронным схемам в составе ЭВМ. Объектные же знания и оптимизирующие стратегии представляют собой нечто вроде самонакапливающегося программного обеспечения (случай пока еще необычный для современных ЭВМ, но вполне возможный). Особенность эволюции человеческой когниции состоит в том, что с течением времени это программное обеспечение приводит к перестройке "электронных схем", причем осуществляемой без вмешательства извне (в случае ЭВМ вмешался бы человек). Эта перестройка – результат взаимодействия между когнициями людей, отчего каждое следующее поколение индивидов реализует в виде "электронной схемы" то, что раньше входило частично в программное обеспечение. Но на любом этапе эволюции, для любой индивидуальной когниции различение "запаянных" и "вырабатываемых" элементов (возможно, в новом составе) остается.

В пользу этого говорит следующее соображение [79, с. 13]. Если бы не было универсальных стратегий (т.е., "когнитивно непроницаемых процессов", в смысле [80]), то иллюзии восприятия не были бы однотипными у разных людей. С другой стороны, если бы когнитивная система была полностью непроницаемой, т.е. неспособной к усвоению новых когниций (в частности, новых стратегий интерпретирования), то не смогла бы адаптироваться к окружению, что привело бы – а возможно, уже когда-то привело или еще приведет – к эволюционному краху. В то же время не только эволюция человека, но и само восприятие естественного языка, интерпретация текстов сопряжены с процессами обоих видов – это прекрасно продемонстрировал Дж. Фодор [81].

В каждом элементарном акте речи и когниции есть элементы статики (синхронии) и динамики – диахронии, подвижности системы, ее изменения, приспособления к перерабатываемому объекту в конкретном окружении. С абсолютизацией статики мы сталкиваемся, когда пытаемся интерпретировать старые тексты, в опоре лишь на логику сегодняшнего дня [82, с. 8], что исключает реконструирующую интерпретацию. Абсолютизация же динамики граничит с некритичным восприятием, с внушением чужих мыслей, без поправок на сиюминутность и неповторимость момента восприятия: это обезличенность интерпретатора. Нормальное интерпретирование находится где-то посередине между двумя этими крайностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Hautamäki A.* Jondanto // Kognitiotiede. Helsinki, 1988.
2. *Richelle M.* Les cognitivismes: Progrès, regression ou suicide de la psychologie? // Comportement, cognition, conscience: La psychologie à la recherche de son objet: Symposium de l'Association de psychologie scientifique de langue française (Lisbonne, 1985). P., 1987.
3. *Le Ny J.-F.* Science cognitive et compréhension du langage. P., 1989.
4. *Bechtel W.* Philosophy of mind: An overview for cognitive science. Hillsdale, 1988.
5. *Rumelhart D.E., Smolensky P., McClelland J.L., Hinton G.E.* Schemata and sequential thought processes in PDP models // Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 2. Psychological and biological models. Cambridge (Mass.); London, 1986.
6. *Thomae H.* Das Individuum und seine Welt. – 2-te, völlig neu bearb. Aufl. Göttingen, 1988.
7. *Lycan W.B.* Introduction // Mind and cognition: A reader. Oxford, 1990.
8. *Simon H.A., Kaplan C.A.* Foundations of cognitive science // Foundations of cognitive science. Cambridge (Mass.); London, 1989.
9. *Pylyshyn Z.W.* Computing in cognitive science // Foundations of cognitive science. Cambridge (Mass.); London, 1989.
10. *Arbib M.A.* In search of the person: Philosophical explorations in cognitive science. Amherst, 1985.
11. *Kegel G.* Zur Operationalisierung des Menschen: Die psycholinguistische Sicht der kognitiven Wissenschaften // Sprachwissenschaft und Psycholinguistik: Beiträge aus Forschung und Praxis. Opladen, 1986.
12. *Croft W.* Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organization of information. Chicago; London, 1991.
13. *Albersnagel F.A.* Cognition, emotion and depressive behavior: From learned helplessness theory to accessibility of cognitions theory. Groningen, 1987.

14. *Gardner H., Wolf D.P.* The symbolic products of early childhood // Curiosity, imagination, and play: On the development of spontaneous cognitive and motivational processes. Hillsdale; London, 1987.
15. *Miller G.A.* A very personal history. Cambridge (Mass.), 1979.
16. *Bruner J.S.* Acts of meaning. Cambridge (Mass.); London, 1990.
17. *Pinker S.* Language learnability and language development. Cambridge (Mass.); London, 1984.
18. *Fodor J.A., Bever Th.G., Garrett M.G.* The psychology of language: An introduction to psycholinguistics and generative grammar. New York etc.: McGraw-Hill, 1974.
19. *Goldman A.I.* Cognitive science and metaphysics // Journal of philosophy, 1987. V. 84. N 10.
20. *Devitt M.* A narrow representational theory of the mind // Mind and cognition: A reader. Oxford, 1990.
21. *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen: Erster Teil: Die Sprache. Berlin, 1923.
22. *Ленин В.И.* Материализм и эмпириокритицизм: Критические заметки об одной реакционной философии. М., 1969.
23 *Lieb H.-H.* Sprache und Intentionalität: Der Zusammenbruch des Kognitivismus // Sprachtheorie: Der Sprachbegriff in Wissenschaft und Alltag. Düsseldorf, 1987.
24. *Searle J.R.* Minds, brains and science. Cambridge (Mass.), 1984.
25. *Newell A.* Unified theories of cognition. Cambridge (Mass.); London, 1990.
26. *Wunderlich D., Kaufmann I.* Lokale Verben und Präpositionen – semantische und konzeptuelle Aspekte // Sprache und Wissen: Studien zur Kognitiven Linguistik. Opladen, 1990.
27. *Felix S.W., Kanngiesser S., Rickheit G.* Vorwort // Sprache und Wissen: Studien zur Kognitiven Linguistik. Opladen, 1990.
28. *Eschenbach C., Habel Ch., Herweg M., Rehkamper K.* Restriktionen für plurale Diskursanaphern // Sprache und Wissen: Studien zur Kognitiven Linguistik. Opladen, 1990.
29. *Lakoff G.* Categories: An essay in cognitive linguistics // Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL–1981. Seoul, 1982.
30. *Felix S.W., Kanngiesser S., Rickheit G.* Perspektiven der Kognitiven Linguistik // Sprache und Wissen: Studien zur Kognitiven Linguistik. Opladen, 1990.
31. *Eliasson S.* An outline of a cognitively–based model of phonology // Languages in contact and contrast. Berlin; New York, 1991.
32. *Willensky R.* Meaning and knowledge representation // Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists: Berlin (GDR), August 10 – August 15 1987. Berlin, 1990.
33. *Jakhendoff R.S.* Semantics and cognition. Cambridge (Mass.), 1983.
34. *Myers T., Brown K., McGonigle B.* Introduction: Representation and inference in reasoning and discourse // Reasoning and discourse processes. London etc., 1986.
35. *Johnson-Laird Ph.N.* The computer and the mind: An introduction to cognitive science. Cambridge (Mass.), 1988.
36. *McKenna W.R.* Husserl's "Introduction to phenomenology": Interpretation and critique. The Hague etc., 1982.
37. *Беркли Дж.* Трактат о принципах человеческого знания, в котором исследованы главные причины заблуждений в науках, а также основания скептицизма, атеизма и безверия // Беркли Дж. Сочинения. М., 1978.
38. *Джохадзе Д.В., Стяжкин Н.И.* Введение в историю западно-европейской средневековой философии. Тбилиси, 1981.
39. *Raeymaeker L.de.* Introductio generalis ad philosophiam Thomisticam. Louvain, 1931.
40. *Schmidl W.* Homo discens: Studien zur Pädagogischen Anthropologie bei Thomas von Aquin. Wien, 1987.
41. *Кузанский Н.* Об ученом незнании // Кузанский Н. Соч. в двух томах. М., 1979. Т. 1.
42. *Bonhoeffer D.* Akt und Sein: Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie. Gütersloh, 1931.
43. *Flavell J.H.* Cognitive development. Englewood-Cliffs, 1977.
44. *Bühler A.* Die Logik kognitiver Sätze: Über logische Grundlagen der Argumentation in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Berlin, 1983.
45. *Früchtl J.* Mimesis: Konstellation eines Zentralbegriffs bei Adorno. Würzburg, 1986.
46. *Meinong A.* Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit: Beiträge zur Gegenstandstheorie und Erkenntnistheorie // Meinong A. Gesamtausgabe. Bd. 6.: Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Graz, 1972.
47. *Putallaz F.-X.* Le sens de la réflexion chez Thomas d'Aquin. P., 1991.
48. *Morin E.* La méthode. T. 4: Les idées: Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organisation. P., 1991.
49. *Ros A.* Begründung und Begriff: Wandlungen des Verständnisses begrifflicher Argumentation. Bd. 2: Neuzeit. Hamburg, 1990.
50. *Daneš F.* Cognition and emotion in discourse interaction: A preliminary survey of the field // Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists: Berlin (GDR), August 10 – 15, 1987. Berlin, 1990.
51. *Croft W* Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organization of information. Chicago; London, 1991.
52. *Mohanty J.N* Transcendental philosophy, time, history and interpretation theory: Some thoughts on an anti-

foundationalistic argument // Perspektiven transzendentaler Reflexion: Festschrift Gerhard Funke zum 75. Geburtstag. Bonn, 1989.
53. *Shapiro M., Shapiro M.* Figuration in verbal art. Princeton (N.J.), 1988.
54. *Gill K.S.* The knowledge-based machine: Issues of knowledge transfer // Artificial intelligence for society. Chichester etc., 1986.
55. *Newell A., Rosenbloom P.S., Laird J.E.* Symbolic architectures for cognition // Foundations of cognitive science. Cambridge (Mass.); London, 1989.
56. *Simon H.A.* Models of thought: Vol. 2. – New Haven; London, 1989.
57. *LePan D.* The cognitivie revolution in Western culture: Vol. 1. The birth of expectation. – Houndmills; London, 1989.
58. *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека /Пер. с франц. – М., 1987.
59. *Waber D.* The biological boundaries of cognitive styles: A neuropsychological analysis // Cognitive style and cognitive development. Norwood (N.J.), 1989.
60. *Aylwin S.* Structure in thought and feeling. London; New York, 1985.
61. *Huteau M.* Style cognitif et personnalité: La dépendence – indépendence à l'égard du champ. Lille, 1987.
62. *Globerson T., Zelniker T.* Introduction // Cognitive style and cognitive development. Norwood, 1989.
63. *Демьянков В.З.* Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989.
64. *Whorf B.L.* Collected papers on metalinguistics. Washington, 1952.
65. *Fearing F.* An examination of the conceptions of Benjamin Whorf in the light of theories of perception and cognition // Language in culture: Conference on the interrelations of language and other aspects of culture. Chicago; London, 1954.
66. *Durbin M.* Identifying semantic foci in lexical items // Papers from the seventh regional meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago, 1971.
67. *Chomsky N.* Language and mind. New York etc., 1972.
68. *Chomsky N.* Barriers. Cambridge (Mass.); London, 1986.
69. *Pinker S., Prince A.* Regular and irregular morphology and the psychological status of rules of grammar // Proceedings of the Seventeenth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society: General session and parasession on the grammar of event structure. Berkeley (California), 1991.
70. *Найссер У.* Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии / Пер. с англ. М., Прогресс, 1981.
71. *Rubin J.* Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology // Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs etc., 1987.
72. *McCabe V.* The direct perception of universals: A theory of language acquisition // Synthese, 1982. V. 52. N 3.
73. *Jakobson R.* Language in literature / Ed. by Pomorska K., Rudy S. Cambridge (Mass.); London, 1987.
74. *Кузанский Н.* Об ученом незнании // Кузанский Н. Соч. в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1979.
75. *Dunlea A.* Vision and the emergence of meaning: Blind and sighted children's early language. Cambridge etc., 1989.
76. *Finer D.L., Roeper Th.* From cognition to thematic roles: The projection principle as an acquisiton mechanism // Learnability and linguistic theory. Dordrecht etc., 1989.
77. *Osgood Ch.E.* Things and words // The relationship of verbal and nonverbal communication. – The Hague etc., 1980.
78. *Lieberman Ph.* The biology and evolution of language. Cambridge (Mass.); London, 1984.
79. *Carroll J.M.* On fallen horses racing past barns // Papers from the parasession on language and behavior. Chicago, 1981.
80. *Pylyshyn Z.W.* Computation and cognition: Issues in the foundation of cognitive science // Behavioral and brain sciences, 1980. V. 3.
81. *Fodor J.A.* The modularity of mind. Cambridge (Mass.), 1983.
82. *Paultre R.* Marcel Proust et la théorie du modèle. P., 1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. Е.С. КУБРЯКОВА

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОГНИТИВИЗМА: ЛИНГВИСТИКА – ПСИХОЛОГИЯ – КОГНИТИВНАЯ НАУКА*

Термин "когнитивная наука" (англ. cognitive science) был введен несколько десятилетий тому назад, чтобы назвать так определенный круг научных дисциплин, объединившихся для совместного изучения процессов, связанных с получением и обработкой, хранением и использованием, организацией и накоплением структур знания, а также с формированием этих структур в мозгу человека. Когнитивная наука (далее – КН) – это наука о знании и познании, о результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей, накопленных в виде осмысленных и приведенных в определенную систему данных, которые каким-то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу ментальных, или когнитивных процессов. Большинством принимается определение КН, согласно которому она представляет собой науку о системах репрезентации знаний и обработке информации, приходящей к человеку по разным каналам. Но, как подчеркивает Р. Шепард, такое определение недостаточно: КН – это скорее наука об общих принципах, управляющих ментальными процессами в человеческом мозгу, а такие принципы сложились и действуют потому, что и устройство мира подчиняется неким общим законам; не исключено, что законы мышления – это тоже в конечном счете законы, аналогичные законам механики [1, с. 45].

"Существует искушение, указывает Г. Харман, – определить КН как представляющую собой научное изучение когниции, но это чересчур узкое ее понимание: с одной стороны, в центре интересов КН находится язык, с другой стороны, взгляды на то, до какой степени изучение языка входит составной частью в изучение когниции, расходятся. Поэтому лучше говорить о том, что КН включает как исследование языка, так и исследование когниции, причем у этих исследований часто появляются как философские, так и чисто инженерные аспекты" [2, с. 259].

В специальной литературе говорят нередко не только о когнитивной науке, но и о когнитивных науках, включая сюда психологию, антропологию, моделирование искусственного интеллекта, философию и нейронауки [см., например, 3, с. 7]. Но имеют при этом в виду опять-таки те науки, которые напрямую связаны с постановкой и решением эпистемологических проблем: природой знания и познания, источниками знаний, их систематизацией, прогрессом и развитием знаний. Симптоматичными для всей КН считают пять следующих характеристик:

1 – убеждение в том, что описывая когнитивные способности человека, предполагают существование особого уровня ментальных репрезентаций, который надлежит изучать в известном отвлечении от его биологических и нейрологических особенностей, с одной стороны, и от социальных и культурологических, с другой;

2 – признание центральной роли электронных компьютеров для понимания устройства человеческого разума; компьютеры считаются при этом не только

* Настоящая работа выполнена в рамках исследовательского проекта "Язык и знания. Когнитивные исследования" (руководитель акад. Ю.С. Степанов), финансируемого Институтом языкознания РАН и Российским фондом фундаментальных исследований

незаменимым средством проведения целого ряда специальных исследований, но и служащими моделью функционирующего мозга;

3 – стратегически и методологически (в американской КН) считается возможным намеренно отвлекаться от некоторых факторов, которые, несомненно, воздействуют на когнитивные процессы, но включение которых в программу исследования повлекло бы за собой ее чрезвычайное усложнение (в первую очередь это эмоциональные, исторические и культурологические факторы);

4 – вера в междисциплинарный характер программы КН и возможность в отдаленном будущем выработать концепцию такой единой науки, внутри которой границы между прежними дисциплинами будут стертыми;

5 – признание того, что за вопросами, встающими сегодня перед КН, существует огромная традиция, начало которой положено в античности.

Очевидно, не все когнитологи согласились бы с перечисленными здесь положениями [там же, с. 6–7], но над каждым из них имеет смысл подумать, и для определения своей собственной позиции и своих задач выразить свое отношение к каждому из пунктов представляется важным.

Учитывая, что в КН ученых объединяет исследовательский интерес к разным сторонам языка и когниции и что когниция включает, помимо языка, умозаключения, восприятие, память и обучение, для того чтобы очертить проблематику этой науки, представляется необходимым дать некоторые разъяснения как по поводу используемой здесь терминологии, так и по поводу тех дисциплин и сфер деятельности, которые пытается объединить КН под своей эгидой. Ведь КН – это не столько наука с точным представлением об объектах, которые она пытается анализировать, сколько "зонтиковый" термин, покрывающий собранные под "зонтиком" дисциплины для реализации ими особой междисциплинарной программы: изучения процессов, так или иначе связанных со знанием и информацией. Такие процессы и называют "когнитивными", или же "когницией". Вообще говоря, в переводе с английского *cognition* означает прежде всего "познание", а *cognitive* – "относящийся к познанию", но глагол *to cognize* имеет и более широкое значение – "постигать", "познавать", "узнавать" и "понимать". Соответственно, и русские эквиваленты терминов приобретают эти более широкие спектры значения. Трудности заключаются, однако, не только в том, что "когнитивный" может означать и "интеллектуальный" и "ментальный" и "рассудочный" в противовес эмоциональному, а также, конечно, "относящийся к постижению мира умом человека", но и в том, что *cognition* может, как любое отглагольное имя, называть как процесс достижения знаний – познание, – так и его результат – само знание. Не случайно поэтому, что наряду с этими привычными русскими терминами при характеристике КН приходится использовать и кальку, термин "когниция" [4].

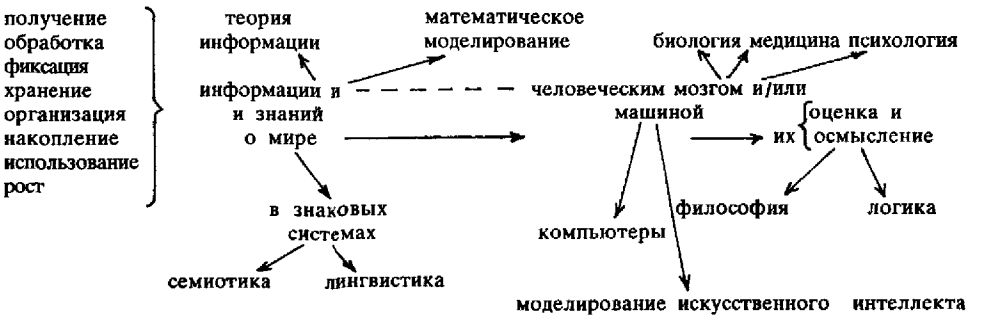
Интересно, что глаголу *to cognize* Н. Хомский посвящает в своей книге о ментальных репрезентациях языка [5] несколько специальных страниц, подчеркивая его отличие от термина *to know*; этот последний глагол предполагает, по его мнению, сознательное владение сведениями о чем-то (знать, уметь), тогда как *to cognize* – подсознательное, имплицитное, зачастую даже не осознаваемое или не осознанное [5, с. 69 и сл., 128].

В термине "когнитивная наука" имплицируется также связь с латинскими *scire* "знать что-либо", *gnoscere* "познавать, изучать", *cognoscere* "узнавать, постигать" и *cognitio* "ознакомление", "познавание" и даже "представление". Отвечая на вопрос о том, что же именно хотят узнать о когниции в рамках КН, М. Газзанига пишет: по всей видимости, специалисты по когниции хотят получить знание о том, что они знают о знании [6, с. 232–233].

Аналогичные затруднения возникают и в переводе английского термина *mind*, который может означать и "ум" и "рассудок" и "интеллект" и "мозг", и в переводе прилагательного *mental* и даже термина *thought*, который тоже значит то "готовая, сформированная мысль", то "процесс ее формирования, мышление". Во всяком случае,

Ф. Кликс называет мышлением совокупность когнитивных процессов [7, с. 10], что связывает воедино когницию и мышление, а "пробуждающееся мышление" – с языком, заставляя признавать, что и язык может быть определен как особый когнитивный процесс.

Место лингвистики в КН не может быть правильно понято без понимания других ее связей, а потому, предваряя освещение вопроса о том, как вписываются в КН чисто лингвистические проблемы, представим некоторой упрощенной схемой сложную связь КН с другими отраслями наук. Схема фиксирует главные задачи КН и ее составляющие, призванные внести свой вклад в осуществление той интегрирующей программы, которая мыслится сегодня как основание КН.



Думается, что по мере освещения становления КН и изложения некоторых сведений об этапах ее развития, смысл этой науки, а также конкретное содержание ее главных терминов, станут более ясными, как, очевидно, и то, почему и в каких отношениях КН так нужны связи с лингвистикой.

* * *

Характеризуя КН, справедливо утверждают, что у этой науки большое прошлое, но весьма краткая предистория. Этим хотят подчеркнуть, что проблемы, которые ставятся сегодня в КН, отнюдь не новы. И, действительно, человеческим интеллектом, закономерностями мышления, источниками знаний и процессами его достижения, – всем этим издавна занимались такие науки, как философия и логика, психология и биология. В философии существовал даже специальный раздел, посвященный теории познания, в котором изучались гносеологические и эпистемологические проблемы, – проблемы возможностей познания, отношения знаний к реальности, вопросы истинности и ложности знаний и т.п. И все же в рамках КН все эти вопросы звучат по-иному и возникают в связи с появлением в современной науке новых парадигм научного знания. Нельзя забывать и о том, что для возникновения КН были важны чисто практические потребности, что требовало от нее ответов на вполне конкретные вопросы. Можно полагать в связи с этим, что для понимания и оценки КН существенны как ее исторические предтечи, так и период ее непосредственного формирования, ее и с т о к и, с одной стороны, и с о с т а в л я ю щ и е, с другой. Настоящая работа мыслится именно как восстанавливающая годы рождения КН, выясняющая причины и мотивы ее появления, характеризующая те направления научного поиска, которые предопределили и обусловили облик современной КН, ее конкретные цели и задачи, а, главное, связали ее с самого начала с лингвистикой.

Анализ познавательных процессов, анализ истинного или же ложного знания и методов его получения и т.п. – все это давно проводилось под эгидой философии и логики. Достаточно вспомнить в этой связи, с одной стороны, о теории познания с ее глубокими традициями, а, с другой, о так называемой философии сознания (ср. [8; 9]), ключевым понятием которой, кстати говоря, тоже является понятие сознания, духа, интеллекта, разума – mind (о сложности этого термина и его переводе см. также [9,

с. 28; 10; 11]. В этом смысле, несомненно, и у современной КН могут развиваться такие аспекты изучения когниции, которые напрямую с языком не связаны. Вместе с тем сегодня прослеживается яркая тенденция сблизить исследование когниции с изучением языка, что не превращает, однако, ни КН в науку только о языке, ни лингвистику в науку о знании. Настоящий этап КН отражает такую стадию в ее развитии, когда разрешение массы насущных проблем концептуального анализа видится в последовательном изучении языковых проявлений деятельности человеческого сознания и связывается главным образом с познанием той инфраструктуры мозга – когнитивной системы, которая обеспечивает всю эту деятельность. Язык же рассматривается как главная когнитивная составляющая указанной инфраструктуры Признается, что когнитивный мир человека изучаем по его поведению, по осуществляемым видам деятельности, подавляющее большинство которых протекают при участии языка. Акцентируется, что язык не просто "вплетен" в тот или иной тип деятельности, но как бы образуя ее речемыслительную основу, объективируя замысел деятельности, ее установки, разные компоненты деятельности. Эти объективированные и непосредственно наблюдаемые результаты деятельности образуют ту эмпирическую область данных, на базе которой могут далее изучаться такие когнитивные феномены человеческого сознания, как память, правила логического вывода и умозаключений и т.п. На долю лингвиста выпадает поэтому строить предположения не только о том, какая система собственно лингвистических форм стоит за речемыслительной деятельностью [12], но и о том, как языковые выражения, категории, единицы связаны с восприятием мира и как они отражают его познание. Про эту ипостась языка и говорят, что он позволяет доступ к ненаблюдаемому когнитивному миру человека, структурам его сознания.

Именно лингвистические эксперименты обнаружили доказательства существования среди этих структур разных форматов знания – начиная от единичных представлений и кончая сложными пропозициональными структурами, фреймами, сценариями и т.п. [13], да и вообще существование упорядоченных способов хранения и переработки информации, способствующих легкости операций с нею, например, ее извлечения (ср. [1, с. 49 и сл.]). Дискурсивные и текстовые данные выступают для когитолога чуть ли ни в троякой роли: с одной стороны, они существуют как данные, позволяющие судить о я з ы к е и его употреблении в особых целях, в определенных ситуациях; с другой стороны, они позволяют судить об обмене информацией, ее получении и осмыслении в актах к о м м у н и к а ц и и и, наконец, несомненно, они существуют и как косвенные данные о мыслительной, интеллектуальной, ментальной деятельности человека, о его с о з н а н и и и м ы ш л е н и и.

Важнейшей стороной связи КН с лингвистикой оказывается и та часть лингвистики, которая приходилась на исследование семантики, значения языковых форм и выражений. Ведь само значение определяется как когнитивный феномен, а любые данные об этом феномене – как проливающие свет на структуры сознания, их "форматы" и внутреннее устройство И хотя среди этих структур выделяют как вербальные, так и невербальные (см об этом ниже), а точнее, имеющие и не имеющие аналогов в вербальных формах естественного языка, полагают, что наиболее существенные из представлений нашего мозга и имеющихся структур сознания – это те, которые уже сформировали значения языковых знаков, те, которые репрезентируют структуры сознания с помощью языковых знаков.

Задуманная как наука междисциплинарная, КН объединяет усилия специалистов в разных областях знания, а, следовательно, и ее связи с разными науками можно прослеживать с разной степенью исторической глубины Отчасти эта работа уже выполнена Так, Г. Гарднер, посвятивший свою монографию когнитивной революции, уделяет специальное внимание ее связям с математикой и логикой, философией и антропологией и конечно же, лингвистикой [3]. Связям КН с логикой отведена и предшествующая статья В.З Демьянкова, и это имеет особые причины.

"Сложите вместе логику, лингвистику, психологию и компьютерную науку, –

указывает К. Стеннинг, – и вы получите когнитивную науку" [14]. И хотя по схеме видно, что круг взаимодействующих с КН дисциплин гораздо более широк, основные составляющие здесь перечислены. Но "складывать" их тем не менее не приходится: каждая составляющая занимает в КН свою собственную позицию, имеет особый удельный вес, да и заимствуются у нее разные вещи. Ведь это могут быть проблемы, а могут – технологии, методики и процедуры анализа, могут быть – и базовые, фундаментальные понятия. В настоящей работе – после кратких сведений о становлении КН и том научном климате, в котором она возникла, – будет уделено основное внимание вопросам о том, что породнило КН с лингвистикой. В освещении этой проблемы может быть, вообще говоря, два аспекта: чего ждали и чего ждут в самой КН от лингвистики и, напротив, что дает и может дать когнитивный подход в решении лингвистических проблем. В настоящей работе акцент делается именно на первом из этих аспектов. Думается в то же время, что такое рассмотрение поможет задуматься о главных задачах лингвистики на современном этапе ее развития, о собственных объектах ее анализа и, наконец, о выборе того пути ее развития, который соответствовал бы более всего ее прогрессу.

* * *

Интеллектуальный климат 50-х–60-х годов за рубежом был ознаменован взрывом интереса к процессам мышления. Подобный интерес был вызван целым рядом обстоятельств, связанных с ситуацией послевоенных лет, с последствиями миграции ученых в США, с большей легкостью налаживания научных контактов и их возрастающей потребностью. Признание роли наблюдателя в физике и стремление узнать меру его влияния на проводимые им эксперименты и измерения было следствием серии встреч представителей разных специальностей, организуемых Р. Оппенгеймером. В медицине, прежде всего в связи с военными травмами и послевоенными заболеваниями психики, особенно чувствовалась необходимость работ по восстановлению нормального функционирования мозга, а, значит, усиливалась деятельность по изучению патологии нервных заболеваний, нарушений речи и т.п. по сравнению с нормой. "В числе практических потребностей зарождавшейся новой психологии, – подчеркивал Е. Галантер, – надо обязательно назвать ментальное здоровье людей" [15, с. 39]. Огромную роль сыграли также военные нужды: для создания новых систем противовоздушной обороны и организации каналов усовершенствованных систем связи требовались новые данные о восприятии и передаче речи на расстоянии, в условиях белого шума и сильных помех; нужны были новые скорости при обработке поступающих данных. На акустические лаборатории не жалели никаких денег. Перед психологами, таким образом, ставились новые проблемы, но они сами очень скоро пришли к выводу о том, что их решение настолько сложно, что требует привлечения помощи тех специалистов, которые тоже так или иначе связаны с вопросами о том, как люди приобретают знания, в ходе каких процессов это происходит, что может препятствовать осуществлению этих процессов, а что – способствовать им [ср. 16].

Особое внимание приобретает в этой связи специфика математического мышления, т.е. той области деятельности, в которой, по общему признанию, свойства человеческого ума проявляются с наибольшей четкостью. Для адекватного описания этих психических процессов психологи объединяются с математиками, компьютерщиками, специалистами в области статистики, инженерами по электронной технике и лингвистами. Многие поэтому считают, что начальные этапы рождения КН связаны именно с анализом основ математического моделирования, с психологией математического мышления, причем своим интердисциплинарным характером КН обязана как раз сложности задач, встававших перед изучающими указанные процессы [17].

Есть, правда, среди методологов и другое мнение: так, В. Гарнер связывает пре-

образование тогдашней психологии в когнитивную с воздействием на нее теории информации [18]. Из этой теории заимствованы в психологию тех лет понятия информации, каналов связи и коммуникации, от нее приходит и новое виденье человека. Для специалистов-инженеров средствами связи считались, естественно, технические – телефон, телеграф и т.д. Для новой психологии стало существенно, что в качестве канала связи мог рассматриваться сам человек. Тогда он переставал интерпретироваться исключительно в бихейвористских терминах, т.е. как организм, принимающий определенные стимулы и реагирующий на них определенными реакциями. Он скорее начинал изучаться как "канал коммуникативной связи", который получает извне некую информацию, которую каким-то образом обрабатывает и перерабатывает, чтобы затем использовать и создавать новую. В фокус внимания тогда совершенно естественно попадали и системы коммуникации, используемые человеком. При таком понимании хода событий непосредственной предшественницей КН считали теорию информации [18, с. 32]. В числе ученых, стоявших у истоков КН, следует в таком случае назвать специалистов по психологии математики, экспериментальной психологии, искусственному интеллекту, компьютерной технике, по психолингвистике и лингвистике [1, с. 47]. И все-таки, кому бы в таком списке ни отводилась бы главенствующая роль, психологов и лингвистов он включает обязательно.

"Днем рождения" КН Дж. Миллер называет один из симпозиумов середины 50-х гг. по теории информации, на котором основными участниками были математики. Симпозиум, – вспоминает впоследствии Миллер, – убедил его в том, что "экспериментальная психология человека, теоретическая лингвистика и симуляция когнитивных процессов на компьютере, – все это части какого-то общего целого и что будущее увидит дальнейшее развитие и координацию этих дисциплин" [19, с. VII; 20]. Изучение когнитивных процесов становилось все более активно развивающейся и захватывающей областью всей современной науки, – отмечает позднее Дж. Брунер, который одним из первых начинает читать лекции о природе когнитивных процессов в Гарвардском университете и который вместе с Дж. Миллером организует первый Центр когнитивных исследований в этом университете в 1960 г. Возникновение этого центра означало прежде всего значительное расширение границ психологии и ревизию ее теоретических принципов. Уже в лекциях Дж. Миллера, приходящихся на 40-е гг., которые он читал в виде курса под названием "Психология речи и коммуникация", ярко проявилась его любовь к лингвистике и стремление пересмотреть данные, необходимые для решения общепсихологических проблем, включая в них не только сведения по акустике, артикуляторной физиологии и, особенно, лингвистике, но и критически относясь к господствующим тогда в психологии бихейвористским убеждениям. Организационное выделение Центра когнитивных исследований означало не только концентрацию ученых на изучении ментальных процессов в особом ракурсе, но и на борьбе за преодоление догм бихейворизма [ср. 21, с. 101–102].

Интересно подчеркнуть, что в указанном обстоятельстве четко проявилась защита лингвистики – влияние бихейворизма было особенно пагубным именно в этой сфере [22, с. 115]. Примечательным поэтому нам кажется, например, тот факт, что тогда как бихейвористы утверждали лишь релевантность непосредственно наблюдаемых явлений, дескриптивизму наносился удар со стороны появляющейся в то время трансформационной грамматики и стремлением последней обнаружить за поверхностными языковыми структурами их г л у б и н н у ю, т.е. непосредственно не наблюдаемую сущность. Примечательно, конечно, и то, что рамки бихейвористской психологии ставили предел и тем объектам, которые изучались экспериментальным путем: анализировалось восприятие речи в акустическом плане, со стороны звуков, но их распознавание изучалось на материале слов; со словами работали и в свободном ассоциативном эксперименте и т.п. Влияние идей Н. Хомского сказалось поэтому не только в том, что все последующие два десятилетия экспериментаторы проверяли гипотезу о наличии в порождении и восприятии речи неких трансформационных

структур и о психологической реальности тех или иных правил речевой деятельности. Оно сказалось в самой переориентации науки о психических процессах: в центре ее внимания тоже оказалось предложение, высказывание, лингвистические основы речевой деятельности.

Критика бихейворизма по его роли для лингвистики, как утверждает в связи с этим Т. Бивер, – помогает выявить самые уязвимые места тогдашней психологии, а потому осознать, в каких переменах она особенно нуждалась [22, с. 117 и сл.]. Одним из главных пунктов в этой критике становилось отношение к ментализму. "Мне очень быстро дали понять, – подчеркивает В. Левельт, – что в Центре все заняты разрушением бихейвористской доктрины и заменой ее на менталистский подход" [21, с. 102]. Главной темой когнитивных исследований в 60-е гг. становится изучение ментальных процессов, притом не только руководящих человеческим поведением, но и направленных на постижение знаний, связанных с мышлением (mentation). Ядром этих исследований становится постепенно лингвистика. И хотя по свидетельству очевидцев ученые Центра работают одновременно над самыми разными топиками – памятью, восприятием, образованием понятий, психологией развития ребенка и теорией решений (а все это входит в область КН и в дальнейшем), все эти топики оказываются сопряженными в конечном счете с лингвистикой и лингвистическими данными. Когда Миллер стал изучать ментальные процесы, как вспоминают его ученики, он обратился прежде всего к таким лингвистическим темам, как членение предложения при его восприятии (parsing) и запоминании слов в условиях их участия в соответствующих предложениях. Он занимался механизмами порождения речи. Это все были как раз те процессы, которые В. Вундт считал неподвластными прямому эксперименту в силу их принципиальной ненаблюдаемости. Но именно это и ведет к изменению самой экспериментальной работы, а также – что не менее важно – к оценке роли эксперимента в психологии и лингвистике. Оно приводит к осознанию возможности использовать в качестве инструмента экспериментальных проверок ЭВМ, компьютерные программы и методики. См., например, [15, с. 41–42]. И это положило начало симуляции когнитивных процессов на компьютере. Дж Миллер был одним из первых, кто считал возможным создание компьютерной модели человеческого интеллекта и формулирование психологической теории в виде компьютерной программы [2, с. 267]. Аналогии человеческого мозга и компьютера усматриваются при этом в способности человека и машины вести обработку информации пошаговым способом, хотя и при интеграции данных, полученных по разным каналам. Попытки моделирования искусственного интеллекта вызывают в это время неизмеримо большее количество работ по пониманию и восприятию речи у специалистов в этой области, нежели в лингвистике. Но ведь это значит, к сожалению, что сама лингвистика, обратив внимание на многие важнейшие проблемы речевой деятельности, не была готова ответить на них самостоятельно, притом даже в той мере, где целый ряд эмпирических наблюдений требовался от нее непосредственно.

Поскольку связь когнитивной психологии и КН в целом с компьютерной техникой становилась все очевиднее и принимающей весьма тесный характер, отличительной чертой когнитологии в ее современном облике многие начинают считать ее обязательное инженерное оснащение. См., например, [23].

И все же сугубо инженерный подход к познанию человеческого интеллекта таит в себе немало опасностей, да, пожалуй, и само сведение человеческого к механическому вряд ли может способствовать разгадке тайн человеческого мозга, ср. [4, с. 42]. Наряду с методами математического моделирования и кластерного анализа, наряду с экспериментами, проведенными с помощью современной вычислительной техники и т.п., в КН должны использоваться и разные гипотетико-дедуктивные построения, как в любой науке. Особую позицию занимает в этом отношении и Н. Хомский. Подчеркивая роль теории в лингвистике, он справедливо указывает на то, что само по себе накапливание эмпирических данных не всегда столь уж важно – substantial coverage of data is not a particularly significant result – важнее установить некие общие

принципы психической и языковой деятельности человека и предложить им некое объяснение [5, с. 11]. Прежде чем собирать факты, надо строить гипотезы, какими бы умозрительными они ни казались.

Из специальной литературы хорошо известно, что тесные связи между психологией и лингвистикой привели к вычленению и становлению такой науки на стыке, как психолингвистика. Когнитивная психология базировалась в этом отношении на достаточно солидном фундаменте, ибо она имела за собой опыт психолингвистических исследований и заимствовала у них частично и их проблематику, и их традиции. В то же время когнитивная психология отличалась от психолингвистики объемом своих задач, широтой своих целей, а также интеграцией с большим числом наук. Когнитивной психологии принадлежит и честь постановки вопроса о сути репрезентации структур знания в голове человека в новом ракурсе [24]. Менялись, соответственно, тип и характер связи когнитивной психологии, а позже – КН – с лингвистикой. Эти изменения отразились, конечно, и на формировании всей области исследований в КН. Если попытаться объяснить в самом общем виде, почему при анализе ментальных, или когнитивных процессов обращение к лингвистике было неизбежным, ответ этот будет одновременно и очень прост, и очень сложен: языковые данные обеспечивают наиболее очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам и когнитивным механизмам; само их появление можно рассматривать как следствие определенного процесса и действие определенных механизмов, связанных с ментальной и когнитивной деятельностью человека. Если признать, что мышление представляет собой с современной точки зрения операции с репрезентациями предметного и духовного мира человека в его голове, а среди репрезентаций признать как наличие образных и иных картиноподобных представлений, так и представлений языковых и языкоподобных [25], что подтверждается путем самой простой интроспекции, объективация действий с языковыми репрезентациями, которую мы наблюдаем в речевой деятельности, действительно, может служить ключом к пониманию целого ряда когнитивных операций. Особое положение языка и лингвистики в КН связано тогда, по всей видимости, с убеждением в том, что язык в своем строении "должен отражать природу когнитивных процессов, продукт которых он кодирует" [26] Конечно, в утверждении этом не все ясно – непонятно, например, что именно можно называть "продуктом" когнитивных процессов· мысль, структуры знания или высказывания о них. Но как бы то ни было, возможность объективировать ментальную деятельность, вербализуя ее результаты, описывая ее в "ословленном" виде, делает показания языка бесценными свидетельствами человеческого разума и человеческой неразумности.

"Язык, – подчеркивает Гилберт Харман, – является главным топиком когнитивной науки. Частично это связано с тем, что язык отражает познание в качестве главного средства выражения мысли, так что изучение языка – это некий косвенный путь изучения познания. Возможно также, что язык оказывает влияние на познание, воздействуя на то, какими понятиями обладают он или она и какие мысли придут в голову ей или ему" [2, с. 259]. Существуют также и другие причины указанного положения дел, – продолжает Харман: в возникновении когнитивной психологии огромную роль сыграла в 50-е и 60-е гг. лингвистика Н. Хомского. Вопрос о том, произошла ли хомскианская революция в психологии, вызвал не меньшие дебаты, чем вопрос о том, имела ли место такая революция в лингвистике. Не вызывает никакого сомнения, во всяком случае, что мысли Хомского о том, что лингвистика должна быть рассмотрена как часть когнитивной психологии, что она должна пересмотреть предмет своего исследования и заняться прежде всего знаниями говорящих, их языковой компетенцией, отграничив эти знания идеального говорящего/слушающего от того, как реально говорят и понимают речь обычные люди, сближала позицию лингвиста с позицией психолога и позволила поставить далее проблему психологической реальности тех процессов, правил и единиц, которыми занимались лингвисты.

К началу 80-х гг. стало очевидным, что в КН должен быть получен более аргументированный ответ как на вопрос о том, возможно ли вообще создание адекватной

лингвистической теории без общей теории когнитивных процессов, так и на вопрос о том, возможно ли построение общей теории когниции без лингвистики и без теории речевого поведения человека. Современные теории интеллекта и языка должны совместно прояснить отношения, существующие в триаде "когнитивные процессы – языковые структуры – языковое поведение" [27]. Наиболее привлекательной чертой когнитивной программы исследований становится попытка совместить исследование перечисленных феноменов, ее цель – "достижение интегрированной картины языка, мышления и поведения людей" [там же, с. 12]. Предпосылкой осуществления такой программы становится положение о том, что поведение человека определяется в значительной мере его знаниями, точно так же как и его языковое поведение – его языковыми знаниями. Кардинальной проблемой КН становится в связи с этим усвоение языковых знаний, овладение родным языком, онтогенез речи. В формулировке Н. Хомского задача заключается здесь в том, чтобы понять, как приходит знание вообще и знание языка, в особенности, к человеку. Ответ же его, касающийся языка, достаточно определенен: поскольку ребенок за сравнительно короткий срок овладевает способностью говорить, причем делает он это на основе скудных "входных" данных, констатация этих факторов должна убедить ученых в том, что языковые способности носят врожденный характер. Изучить знания, компетенцию, языковую способность и значит – изучить внутренний механизм речи как часть биопрограммы человека [см. подробнее 12; 28]. Такая постановка вопроса в корне меняет представления о насущных задачах лингвистики.

Слишком долго, – указывает Н. Хомский, – ученые были сосредоточены на изучении внешних проявлений языка, его экстериоризированных форм; ныне предстоит задача заняться подлинными, природными свойствами языка в том его виде, в каком он интериоризован в мозгу человека [5; 29; 30; 31]. При всей правомочности указанного противопоставления сама постановка проблемы для практикующего лингвиста представляется, несомненно, достаточно странной. Все выводы относительно строения языка, его организации, его единиц и т.п. делаются в конечном счете на основе наблюдений за определенным корпусом реальных данных. Говорить в этом смысле о том, что лингвисты уделяли им чересчур большое внимание, бессодержательно: другой базы для заключений о языке просто не существует. Вопрос заключался всегда лишь в том, что конкретно можно и з в л е ч ь из языкового материала и как далеко могут зайти процессы абстракции в ходе его описания. Путь от так называемых поверхностных форм – к глубинным, от явлений – к сущности проходит не только лингвист, но и нормальный говорящий в актах восприятия и понимания речи. Значит, вопреки мнению Н. Хомского о неинформативности поверхностных языковых структур, они, наоборот, должны содержать, по крайней мере, столько информации, чтобы обеспечить общение с помощью языка и успешную интеракцию между людьми. Сколько бы сведений п о м и м о языковых ни требовалось бы человеку для правильного понимания дискурса или текста, начальный импульс такого понимания задан поверхностной языковой формой, и она должна рассматриваться как отправная структура в этом сложнейшем процессе. Усилия лингвистов прегенеративного периода были направлены прежде всего на то, чтобы за определенным корпусом данных обнаружить или "вскрыть" стоящую за ним систему. Генеративисты смещают фокус внимания и как бы ставят своей целью пойти еще дальше и охарактеризовать внутренние механизмы, приводящие в движение врожденную языковую способность и составляющие ее суть. В самом стремлении проникнуть от данных "на выходе" к данным "на входе" нет ничего опасного, однако, только при условии не слишком большого удаления когнитивных структур от реальности. Иначе говоря, в абстракциях разного порядка – и очень высоких, и более низких – должно происходить когнитивное освоение разных форм проявления объективной реальности [см. 7, с. 161 и 281].

Указанный Хомским путь развития научного поиска в лингвистике имеет право на существование, но насколько он реален в настоящее время, не вполне ясно. Несом-

ненно, однако, здесь одно – чтобы попытаться восстановить "внутренний лексикон", "внутреннюю грамматику", надо опять-таки обратиться к "внешним" данным. А чтобы анализировать этот материал, надо владеть всеми приемами собственно лингвистического анализа. В любом случае необходимо обращение к "внешнему" высказыванию, к "поверхностным структурам", к дискурсу и тексту.

Синтезирующий и конструктивный характер когнитивной программы исследования диктует, на первый взгляд, установление тех пересекающихся областей знания, в которых связи разных дисциплин проявляются особенно отчетливо. Фактически, однако, не меньшую трудность в сложившейся ситуации представляет вопрос о разграничении сфер деятельности разных наук и распределении труда между ними. Особенно остро стоит вопрос о дифференциации конкретных задач КН и лингвистики. Как подчеркивают отдельные ученые, налицо кардинальное расхождение в понимании отношений между языком и познанием, которые в значительной мере обусловливаются профессией ученого: в подходе к исследованию когниции со стороны лингвистов и не-лингвистов нет единого мнения. Вызывается это и тем, что функции языка и его внутреннее строение, т.е. его положение относительно всей центральной нервной системы человека, характеризуются по-разному. Согласно одним теориям, язык репрезентирован в голове человека набором отдельных модулей (модулярная теория языка (англ. modular)), каждый из которых относительно автономен и выполняет свои собственные задачи. В таком случае процесс понимания, например, аналогичен в какой-то мере интеграции данных, поступающих по разным каналам, к тому же – не только языковым. Согласно другим теориям, напротив, именно язык выступает как модуль, ответственный за обработку гетерогенной информации. В одних теориях язык считается особой когнитивной системой, независимой от других когнитивных "модальностей", в других, наоборот, системой, демонстрирующей самые общие правила когнитивного поведения человека [32].

"Существует ряд ученых, которые фактически отождествляют исследование языка и исследование разума, – пишет Н. Хомский. – Это не соответствует моим взглядам" [5, с. 4].

«Между высказываниями "Солнце вращается вокруг земли" и "Земля вращается вокруг солнца" лежит пропасть», – замечает Ф. Кликс. С когнитивной точки зрения именно последнее утверждение знаменует одно из наиболее замечательных достижений человеческой мысли. Но это различие никак не отражается на грамматической структуре высказывания [7, с. 279–280].

Указанные разногласия приводят и к расхождениям в понимании места лингвистики в кругу других научных дисциплин. Так, положение Н. Хомского о том, что лингвистика – это часть когнитивной психологии [см., например, 5; 29] вызывает резкий протест у Дж. Катца, в связи с чем он вполне обоснованно ставит вопрос о том, теорией какого объекта – физического или ментального – является теория грамматики [33, с. 17]. Ведь одно дело изучать язык как некую когнитивную способность, подобную зрению, слуху и т.п., а другое – как некоторую непосредственную данность речи.

Разъясняя позицию Хомского, Г. Харман утверждает, что она отнюдь не означает, что Хомский хочет "загнать" лингвистику в ту экспериментальную парадигму, которая характеризует современную психологию. Он только подчеркивает, что предмет познания в лингвистике носит по своему существу ментальный характер – он отождествляется с ментальной репрезентацией грамматики соответствующего языка в голове его идеального носителя. Но Дж. Катц выдвигает свои доводы именно против такого виденья языка. По его мнению, психологи, когитологи и лингвисты должны заниматься разными проблемами. "Платонизм" грамматики, который он защищает и который базируется на том, чтобы для каждой науки выделить свой идеальный объект исследования, он противопоставляет хомскианскому "концептуализму". У самого Катца таким идеальным объектом познания выступает абстрактное предложение. Признать, что лингвистическая теория – это теория о

психических состояниях говорящего и осуществляемых им психических процессах, он не согласен, хотя, разумеется, само их существование никак не отрицается, как и необходимость их изучения, но только – в психологии, компьютерной науке, нейрофизиологии и КН. Платонизм считает кардинальным различие между теми знаниями, которыми обладает говорящий при использовании языка, и теми языками, которые эти говорящие знают. Такое различие, по мнению Катца, равносильно обычному различию между объектом как он есть и знанием о нем [33, с. 34 и сл] Отсюда и требование дифференциации задач разных наук, с которым в принципе не согласен Хомский

Конечно, как пишет Хомский, – между лингвистикой и психологией стремятся провести жесткую границу Основано это как на типах доказательств, применяемых в этих науках, так и на особом ракурсе рассмотрения их объектов. Лингвистика считается при этом такой областью, где полагаются на суждения информантов, на материал, извлеченный из определенным образом ограниченного корпуса данных и т.п. и где ставят целью определить природу грамматики, компетенцию говорящего и репрезентирующую ее систему принципов и правил. На долю психологии оставляют тогда использование языка: ее интересуют реальные процессы порождения и восприятия речи, которые как бы подтверждают наличие предсуществующей этим процессам системы знания языка "Мне, – указывает Хомский, – такое противопоставление дисциплин всегда представлялось бессмысленным. оно может быть необходимым чисто организационно – для учреждения разных институтов и университетов, но в иных ситуациях оно вряд ли оправданно" [5, с. 201–202]. Но ведь на разграничении компетенции и "исполнения" (performance) настаивал сам Хомский!

В одной из более поздних работ Н Хомский указывает, что для современной лингвистики он считает наиболее актуальными следующие вопросы: 1) что представляет собой знание языка, что существует в сознании/мозгу (mind) говорящего на английском, испанском или японском языке; 2) как возникает эта система знаний в сознании/мозгу, 3) как эта система используется в речи (или вторичных системах, таких как письмо); 4) каковы физические механизмы, используемые в качестве материальной базы для этой системы знаний и для их применения" [30, с. 3]

Таким образом, и здесь им фиксируются проблемы, относящиеся к **внутреннему** устройству языка, к организации **сознания,** к системе языковой способности и даже ее **физическому** (т.е. биологическому) оснащению. Релевантность таких проблем не означает все же их релевантности для исследовательской деятельности лингвистики. Логично тогда спросить, а какая же научная дисциплина может справиться с поставленными выше вопросами? Но как бы ни отвечать на этот вопрос, ясно, что от одной лингвистики ответы получить не удастся. Возможно, что именно КН со своим интердисциплинарным характером и должна включить подобные вопросы в свою программу.

Выход из создавшейся ситуации некоторые видные ученые видят, однако, не только в том, чтобы переложить некоторые проблемы, касающиеся языка, на КН Так, Ч. Филлмор предлагает различать лингвистику с более узким кругом проблем и более широко задумываемую им "науку о языке", которая будет решать проблемы, требующие ответа со стороны смежных наук [34] Границы собственно лингвистики он связывает с ее неспособностью дать самостоятельно адекватное объяснение целому ряду языковых явлений. Но объяснить некоторые свойства языка имманентными законами языковой системы невозможно именно потому, что язык и обеспечивается и одновременно ограничивается строением человеческой памяти, принципами восприятия мира, характером воображения, возможностями обработки информации набором определенных "модальностей" – зрением, слухом, обонянием и т.п , которые, как справедливо отмечает Р Джекендофф, должны давать интегральную картину воспринятого. Тогда как некоторые особенности в организации лексики и грамматики обязаны своим происхождением их собственным характером, другие ограничения, наложенные на существующие языковые формы, явно имеют

когнитивную мотивацию. По мнению Р. Джекендоффа, надо поэтому разграничить "лингвистические ограничения", наблюдаемые в строении языка, и "когнитивные ограничения", имеющие более общую природу, т.е связанные с закономерностями когниции. Соответственно, объяснения подобным явлениям лежат за пределами языка и лишь специальный анализ может помочь установить природу того или иного ограничения. Нет, например, никаких особых лингвистических оснований, в соответствии с которыми семантический класс глаголов обладания, принадлежности демонстрировал бы явный параллелизм свойств классу глаголов, обозначающих перемещение в пространстве и местоположение объектов. Такому параллелизму должно быть дано когнитивное объяснение [35].

Для лингвистики описанное положение дел предопределяет поиск необходимых ей объяснений в сфере КН, для КН – необходимость обращения к языку для верификации ее гипотез об общих принципах понимания мира, в том числе – понимания языка. В пресуппозиции обеих наук входят, следовательно, постулаты о том, что между когнитивными структурами, с одной стороны, и языковыми, с другой, существуют вполне определенные корреляции. Но это же означает, что фиксация таких корреляций и установление их смысла может явиться результатом анализа с разных сторон, т.е. когда отправным моментом анализа могут быть признаны л и б о когнитивные, л и б о языковые структуры.

"Ресурсы внутреннего кода, – утверждает Дж. Фодор, – достаточно прямо репрезентированы в ресурсах тех кодов, которые мы используем (в коммуникации)... Языки, которые мы способны выучить, не так уж сильно отличаются от языков, данных нам врожденно, и предложения, которые мы в состоянии понять, не так уж отличны от тех формул, которые их репрезентируют внутри нас" [36]. Из этого логически вытекает, что путь "от естественного языка – к языку внутреннему" сегодня наиболее вероятный путь рассмотрения для многих. Но к чему конкретно может привести этот постулат на практике? – Обращение КН к лингвистическим данным, мотивируемое на первый взгляд лишь тем, что язык отражает некие общие принципы, управляющие восприятием мира, фактически связано и с тем важнейшим обстоятельством, что языковые единицы, языковые категории и языковые классы указывают – хотя и с разной степенью опосредствования – на ту содержательную информацию, которая уже стала продуктом человеческой обработки. Полученная в ходе предметно-познавательной деятельности, эта информация обретает в языковых формах свое отражение и свою фиксацию. Ее можно изучать объективными способами. Лингвистика и важна для КН как предоставляющая для обдумывания данные о значении своих форм. Здесь и смыкается исследование знания и значения.

В своей реальной деятельности человек оперирует сведениями о мире, и в его голове образуется постепенно некая база таких сведений. В банке знаний нуждается и машина. Если с целью создания банка знаний используется естественный язык, надо понять, как в самом языке оперируют со знаниями. "Для этого, – подчеркивает один из крупных специалистов в области моделирования искусственного интеллекта Р. Виленски, – и надо знать, как функционирует язык. А поскольку функционирование языка есть в конечном счете выражение определенных значений, категория значения и анализ способов его выражения в языке становится тем главным, что изучают специалисты по искусственному интеллекту" [37].

Знание как "проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий" фиксируется в знаках естественных и искусственных языков [38] Для КН становится чрезвычайно существенным и подключение ее через лингвистическую семантику к семиотике, т е. по крайней мере, учет семиотических аспектов такой единицы, как знак. Он всегда рассматривался по праву как носитель, как экспонент значения и сегодня он тоже может получить новую интерпретацию как носитель любого кванта информации, особой структуры знания.

Принимая положение Ю.С. Степанова о том, что объектом лингвистики "является язык во всем объеме его свойств и функций, строение, функционирование и историческое развитие языка" и что предмет анализа в разные эпохи менялся из-за того, что изучались разные аспекты языка [39], почему бы не считать естественным, что и в настоящее время разные лингвистические школы могут ориентироваться на достижение разных знаний о языке? Логично одновременно считать, что чем бóльший объем свойств и функций языка, чем бóльшее число его сторон, аспектов и т.п. будет адекватно описано, какие бы науки ни участвовали в этом процессе, это все равно идет на пользу дела и совершенствует наши представления о таком сложном феномене, как язык.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Shepard R.N.* George Miller's data and the development of methods for representing cognitive structures // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller // Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.) 1988.
2. *Harman G.* Cognitive science? // The making of cognitive Science: Essays in honour of George Miller // Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
3. *Gardner A.* The mind's new science: the history of the cognitive revolution. N.Y., 1985.
4. *Демьянков В.З* Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний / Под ред. Березина Ф.М., Кубряковой Е.С. М., 1992.
5. *Chomsky N.* Rules and representations. N.Y., 1980.
6. *Gazzaniga M.* Life with George: the birth of the cognitive neuroscience // The making of the cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
7. *Кликс Ф.* Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.
8. *Петров В.В.* От философии языка к философии сознания // Философия. Логика. Язык. М., 1987.
9. *Грязнов А.Ф.* Язык и деятельность. М., 1991.
10. *Wierzbicka A.* Semantics, culture and cognition. N.Y., 1992. P. 86.
11. *Nuyts J.* Aspects of a cognitive-pragmatic theory of language. On cognition, functionalism and grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1992. P. 7–8.
12. *Кубрякова Е.С.* Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991.
13. Язык и структуры представления знаний / Под ред. Березина Ф.М., Кубряковой Е.С. М., 1992.
14. *Stenning K.* Methodical semanticism considered as a history of progress in cognitive science // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.)., 1988. P. 210.
15. *Galanter E.* Writing Planes... // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
16. *Bruner J.* Founding the Center for cognitive studies // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988. P. 92.
17. *McGill W.J. George A.* Miller and the origins of mathematical psychology // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988. P. 1–2.
18. *Garner W.R.* The contribution of information theory to psychology // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
19. The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
20. *Neisser U.* Cognitive recollections // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller /Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988. P. 85–86.
21. *Norman D.A., Levelt W.J.M.* Life at the Center // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
22. *Bever Th.G.* The psychological reality of grammar: a student's view of cognitive science // The making of cognitive science: Essays in honour of George Miller /Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988.
23. *Pylyshyn Z.W.* Computation and cognition: Toward a foundation for cognitive science. Cambrdge (Mass.), 1984.
24. *Кубрякова Е.С.* Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // Язык и структуры представления знаний / Под ред. Березина Ф.М., Кубряковой Е.С. М., 1992.
25. *Paivio A.* Mental representations: A dual coding approach. N.Y., 1986.
26. *Брунер Дж.С.* Онтогенез речевых актов // Психолингвистика. М., 1984. С. 24.
27. *Beaver Th.G., Carroll J.M., Miller L.A.* Introduction // Talking minds: the study of language in cognitive science. Cambridge (Mass.), 1984.

28. *McShane J.* Cognitive development. An information processing approach. Oxford. Blackwell, 1991.
29. *Chomsky N.* Knowledge of Language: its nature, origin and use. N.Y., 1986.
30. *Chomsky N.* Language and problems of knowledge. The Managua lectures. N.Y., 1988.
31. *Carston R.* Language and cognition // Linguistics: The Cambridge Survey. V. III. Cambridge (Mass.), 1988. P. 38.
32. *Tanenhaus M.* Psycholinguistics: an overview // Linguistics: The Cambridge survey. V. III. Cambridge (Mass.), 1988.
33. *Katz J.J.* An outline of Platonist Grammar // Talking minds: the study of language in cognitive science. Cambridge (Mass.), 1984.
34. *Fillmore Ch.J.* Some thoughts on the boundaries and components of linguistics // Talking Minds: the study of language in cognitive science. Cambridge (Mass.), 1984. P. 74–75.
35. *Jackendoff R.* Sense and reference in a psychologically based semantics // Talking minds: the study of language in cognitive science. Cambridge (Mass.), 1984. P. 49–50.
36. *Fodor J.* The language of thought. Hassocks: Harvester, 1976. P. 156.
37. *Wilensky R.* Meaning and knowledge representation // Preprints of the Plenary Session papers. 14-th Linguistenkongress. B., 1987.
38. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 192.
39. *Степанов Ю.С.* Языкознание // Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 423.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г Т.В. ТОПОРОВА

О ДРЕВНЕИСЛАНДСКИХ ФОРМУЛАХ ХАОСА И КОНЦА МИРА И ИХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СООТВЕТСТВИЯХ

Тема предела весьма актуальна для древнегерманской мифопоэтической традиции, которая в значительной степени именно на нее и ориентирована. Интерес к пограничным ситуациям, критическим моментам развития вселенной и прежде всего к идее начала и конца проявляется, с одной стороны, в особой роли космогонического и эсхатологического сюжетов в древнегерманской мифологии и в драматизме и экспрессивности, сопутствующих понятию предела в древнеисландской концепции "гибели богов" (*ragna rok*). В мифопоэтической модели мира предел выполняет важнейшую функцию отделения космоса от хаоса, он конституирует и сакрализует космизированное пространство. Строго говоря, космос существует лишь благодаря наличию определенных границ, и в этом смысле его предельность противопоставлена беспредельности и безграничности хаоса.

Лингвистический анализ древнеисландских обозначений хаоса (*ginnunga gap* "зияний бездна") и конца мира (*ragna rǫk*"богов судьба") необходимо предварить кратким изложением древнеисландской космогонической концепции, отраженной в песнях о богах "Старшей Эдды" [рукописи Codex Regius 2365, вторая половина XIII в., Королевская библиотека в Копенгагене, AM 748, начало XIV в., библиотека Копенгагенского университета (коллекция Арни Магнуссона), Hauksbók, начало XIV в., эпического памятника, длительное время функционировавшего в устной традиции[1]] и прозаической 'Младшей Эдды" (1222–1225 гг., авторство которой приписывается Снорри Стурлусону. Древнеисландский космогонический миф начинается с того, что периоду творения предшествовал хаос, который описывается апофатически [*þat's ekki vas* (SnE 2) "когда ничего не было", "В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных, земли еще не было, ни верхнего неба, ... трава не росла" ("Прорицание вёльвы", строфа 4)] и вопрощается в локализуемой на севере мировой бездне (ginnunga gap). От столкновения инея и теплых искр, наполнявших мировую бездну, возникает двуполое существо Имир[2], прародитель великанов, представляющий собой персонажную ипостась пространственно-временного комплекса: его тело послужило субстанцией для создания космоса. Ср. "Речи Вафтруднира", строфу 21: "Из Имира плоти земля была создана, из костей – горы, небо – из черепа холодного великана, а из крови –море", где микро- и макрокосм изоморфны. "Золотой век" существования вселенной, согласно древнеисландским мифопоэтическим представлениям, был прерван появлением трех великанш, за которым последовала "гибель богов", сопровождавшаяся первой в мире войной, убийством бога плодородия Бальдра, символизирующим первое появление смерти, ухудшением климатических условий (например, наступлением "великой зимы" (*fimbulvetr*), моральной порчей (братоубийством, нарушением клятв). Вторжение враждебных сил приводит к разрушению Вселенной: рушатся горы, раскалывается

[1] Время возникновения песен "Старшей Эдды", как правило, относят к V–XII вв.

[2] Ср. этимологию самого имени: др.-исл. *Ymir* < и.-е. **i̯emo-* "близнец, двуполое существо", др.-инд. *yama-* авест. *yəma-*, лат. *geminus* "близнец", др.-ирл. *emun* "близнечная пара", лтш. *jumis* "двойной плод" [1].

небо, падают звезды, волк Фенрир пожирает солнце, земля тонет в море, погибают боги и люди. Эсхатологическая картина завершается возрождением мира, возникновением новых пространства и времени, нового поколения богов и людей. Такова в общих чертах суть древнеисландской космогонической концепции.

Сопоставление древнеисландских обозначений хаоса (*ginnunga gap*)[3] и конца мира (*ragnna rǫk*) интересно по нескольким причинам:

1) Обе формулы семиотически ориентированы друг на друга, одна служит для номинации первого, а вторая – последнего локально-темпорального комплекса.

2) *Ginnunga gap* и *ragna rǫk* – единственные термины древнеисландской космогонической концепции.

3) Они имеют одинаковую грамматическую структуру: Gen. Plur. subst. & subst., neut.

4) Оба словосочетания обладают чертами поэтической организации, ср. аллитерацию: ginnunga gap, ragna *rǫk* .

5) *Ginnunga gap* и *ragna rok* представляют собой этимологические фигуры, так как оба компонента каждого словосочетания восходят к одному и тому же индоевропейскому корню.

Этимология *ginnunga gap* "зияний бездна" считается спорной из-за неясной трактовки первого элемента. Однако, наиболее вероятным представляется его сопоставление с др.-исл. *gína* "разевать пасть, зевать", др.-англ. *togīnan, gānian* "зевать", др.-в.-нем. *geinon, ginon,* др.-англ. *ginian* "быть широко открытым" [2] < и.-е. **ĝhe-, *ĝhə-, *ĝhēi-, *ĝhe* "зевать" [3, с. 419]. Второй компонент – др.-исл. *gap* также возводится к и.-е. **ĝhē-* (< **ĝhəb-*, ср. др.-исл. *gapa,* др.-англ. *gapian,* ново-н.-нем. *gapan,* ново-в.-нем. *gaffen* "раскрывать рот, кричать"). Такая этимология др.-исл. *ginnunga gap* вполне согласуется с мифологическими мотивами, касающимися природы хаоса. Первоначальная бездна отождествляется то с пустотой, воздухом, то с водной стихией [4], то со смешением всех элементов (SnE 4), при этом инвариантны ее ассоциации с глубиной, пропастью, зиянием.

Семантическую мотивировку *ginnunga gap* как "зияний зияния" подтверждают древнеисландские тексты, в которых реально засвидетельствованы элементы рассматриваемой формулы при описании хтонических чудовищ, олицетворяющих стихию хаоса. Ср. Vsp. 55 H: *G ín n lopt yfir lindi iarðar, / g a p a ýgs kiaptar orms í hǩdom* "Разинул пасть над воздухом пояс земли (мировой змей), / зияют в высоте челюсти ужасного змея". В эсхатологии разинутая пасть чудовища (*gap*) ассоциируется с уничтожением мира и становится символом грядущего катастрофы. Ср. SnE 51: *en Fenrisulfr ferr með g a p a n d a munn ok er enn neðru kiǫptr við iǫðu, enn øfri við himins, gapa myndi hann meira, ef rúm vǩri til* "А Фенрир волк наступает с разверстою пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя до земли. Было бы место, он разинул бы пасть еще шире", где границы Вселенной – земля и небо отождествляются с разинутой пастью Фенрира.

Подобные мифологические мотивы подкрепляются свидетельствами памятников первобытного искусства, в которых с известной долей вероятности может быть установлена связь образа чудовища с разинутой пастью со сферой хаоса. Ср. изображение дракона с зияющей пастью в нижней части готландского камня из Санда (V в.), такого же змея, преследующего человека, на камне из Hangvar Austers (Готланд) или человека с поднятым мечом, раздирающего пасть чудовища, на брактеате из Hamburg-Egnen [5, с. 94]. Интересен магический аспект исследуемого мотива, о котором можно судить на основании некоторых древних тестов. В

---

[3] Др.-исл. *ginnunga gap* "зияний бездна" трижды встречается в древнегерманских текстах: в "Старшей Эдде" [*gap vas ginnunga* (Vsp.3) "бездна была зияний"], "Младшей Эдде" [*Ginnungagap* (SnE 4)] и "Церковной истории" Адама Бременского" (IV, 39: Ghimmendegop).

исландской "Книге о заселении страны", в частности, запрещается "подплывать к земле со скалящимися звериными головами и разевающими пасть мордами, дабы не испугать духов хранителей страны" (цит. по [6. с. 22]).

Вернемся к этимологии *ragna rǫk* "богов судьба". Номинация богов осуществляется по принципу упорядочения: др.-исл. *regin* "боги" < и.-е. **rĕk-* "упорядочивать" [3, с. 863]; др.-исл. *rǫk* "судьба" < и.-е. **reĝ-* "простирать, вытягивать" (др.-исл. *rekia* и др.), т.е. "располагать в определенном порядке", причем подчеркивается генетическая близость и.-е. **rĕk-* и **reĝ-* [7, с. 392, 8, с. 440]. Таким образом. *ragna rǫk*, как и *ginnunga gap,* оказывается fig. etym.

6) Анализируемые древнеисландские формулы семантически амбивалентны. *Ginnunga gap* обозначает" предпространство", хаос и "первопространство", prima materia для порождения космоса. Учитывая двойственный статус др.-исл. *ginnunga gap,* можно поместить это словосочетание в более широкий этимологический контекст, объединив это обозначение начала в пространстве с наименованием начала во времени – др.-англ. *an-gin,* др.-в.-нем. *ana-gin* и соответствующими глаголами – др.-англ. *on-ginnan* "начинать" и др. < герм. **ginn-* < **ginu̯-* < и.-е. **ĝhenu̯-* < **ĝhe-* "зиять"[4]. В др.-исл. *ginnunga gap* и в др.-англ. *an-gin* одновременно актуализируются оба смысла: начало как зияние, открытость, унаследованные от хаоса и как сакральный акт созидания космоса.

Устойчивые эсхатологические коннотации др.-исл. *ragna rǫk* не должны оттеснять на задний план примеры, когда его референцией является другой временной полюс – начало. Ср. синонимичное выражение *í aldar rǫk* "людей судьба" в Vm. 39: *í aldar rǫk hann mun aptr koma heim með vísom vǫnom* "в судьбу людей он вернется к мудрым ванам", где имеется в виду возвращение бога Ньёрда в новую Вселенную, возродившуюся после эсхатологического кризиса[5].

7) Обе древнеисландские формулы имеют индоевропейские языковые и мифологические параллели. И.-е. **ĝhē* "зиять" кодирует хаос. Ср. др.-инд. *vi-hāyyas* "пустое пространство" – *vi-ha-* "зиять", греч χάος "хаос" – χαῦνος "зияющий", литов *ziotys* "пропасть" – *ziótì* "открывать". *ziótis* "зевать", русск. *зинутие* "то, что разверзлось, бездна" ("Хаос .. еже знаменует черное *зинутие,* понеже адъ *зину,* яко да от юных дней како бы возмоглъ жрети души члческия" [10, с. 392]) – *зинути* "разверзнуться, раскрыться" ("Разгневася на ня господь богъ и повеле земле *зинути* и пожретися" [10, с. 392])[6]. Специального внимания заслуживают этимологические фигуры, аналогичные др.-исл. *ginnunga gap* и зафиксированные в различных индоевропейских ареалах, например, индоиранском (ср. гимн 10, 129, 1 в "Ригведе": *gahanam gabhiram* "бездну глубокую", букв. "глубину глубокую" [12, с. 183]) или славянском (ср. цитату из баллады Жуковского "Кубок": "И брызнул поток с оглушительным ревом / Извергнутый бездны *зияющим зевом*").

И.-е. **reĝ-* кодирует космос, ср. лат. *regnum* "царство", др.-инд. *rājas* "пространство судьбы".

Параллелизм древнеисландских формул на уровне грамматики, семантики, референции, этимологии, семиотики и поэтики предполагает существование единого

---

[4] Возведение др.-англ. *on-ginnan* "начинать" к и.-е. **ghed-* (**ghend-*) "хватать" [3. с. 437] едва ли оправдано, так как предполагает отсутствие этимологической связи, например, между др.-в.-нем. *in-ginnan* "разевать, открывать" и *be-ginnan* "начинать". По-видимому, на это этимологическое решение повлияла типологически распространенная семантическая мотивировка начала как "схваченного". Ср. др.-в.-нем. *ana-fang* "начало" – *fāhan* "хватать", лат. *in-cipere* "начинать" – *capere* "хватать", др.-инд. *a-rabh-"начинать"* – *-"rabh-* "хватать". О возможности отнесения др.-англ. *on-ginnan*"начинать" к и.-е. **ĝhē-* "зиять". см. [7, с. 128].

[5] О двойственности семантики *regia rǫk* "конец (гибель)" – "начало (возрождение)" см. [9, с. 34].

[6] Ср. эсхатологические коннотации глагола *зинуть* в пословице "мир зинет – камень треснет" [11, с. 863].

прототекста, в котором изучаемые словосочетания используются для номинации маркированных элементов космологической конструкции: в *ginnunga gap* актуализируется основное индоевропейское обозначение х а о с а, а в *ragna rǫk* – только обозначение космоса. Для древнеисландской циклической модели развития характерно смещение акцента, сдвиг временных фаз, восприятие точки в "круговороте" времени как конца предыдущего и начала следующего этапа, поэтому *ginnunga gap* служит для наименования не только хаоса, но и дальнейшей стадии существования Вселенной – космоса, а *ragna rǫk* относится как к "посткосмическому периоду, "гибели богов", так и к возрождению мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иванов В.В., Топоров В Н* К проблеме лтш. *Jumis* и балтийского близнечного культа // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983.
2. *Mogk E.* Ginnungagap // PBB. 1882. Bd 8.
3. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd I–II.
4. *Schier K.* Die Erdschopfung aus dem Urmeer und die Kosmologie der Vǫluspá // Märchen, Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90. Geburstag von Friedrich von der Leyen / Hrsg. von Kuhn H. und Schier K. Munchen, 1963.
5. *Ellis Davidson H.R.* Pagan Scandinavia. N.Y., 1967.
6. *Стеблин-Каменский М И* Древнескандинавская литература. М., 1979.
7. *Fiest S.* Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
8. *Vries J.* de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1977.
9. *Neumann E* Das Schicksal in der Edda, Giessen, 1955.
10. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1978.
11. *Даль В.И* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М., четвертое изд., б.г.
12. *Ström A.V.* Scandinavian belief in fate, Uppsala, 1967.
13. *Edda.* Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmalern // Hrsg. von Neckel G. Heidelberg, 1962.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. Л. ЛЁННГРЕН

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА

ВВЕДЕНИЕ

В бывшем Центре вычислительной лингвистики при Уппсальском университете несколько лет велась работа по составлению ассоциативного словаря шведского языка (АСШЯ). Речь идет о словаре совершенно, насколько нам известно, нового типа. Очень кратко его можно охарактеризовать следующим образом.

Данный словарь имеет форму древовидной структуры, узлы которой заняты лексическими единицами – лексемами, а ветви соответствуют некоторым выбранным отношениям между лексемами. Эти отношения напоминают отношения родства, так что каждая лексема оказывается окруженной своей "семьей". Сами лексемы расположены традиционным образом – в алфавитном порядке, однако статья, отведенная каждой лексеме в настоящем словаре, резко отличается по своему содержанию от традиционной словарной статьи: в словарной статье АСШЯ перечисляются лексемы близлежащих узлов, т.е. именно "члены семьи" заглавной лексемы. Более точно, для каждой лексемы указываются все непосредственно семантически связанные с ней лексемы, и только они.

Большую помощь в работе над этим проектом оказали сотрудники Центра вычислительной лингвистики, в первую очередь Г. Фредрикссон, которая участвовала в работе около года; она помогала составлять исходный список лексем и снабжать каждую лексему соответствующим анализом, т.е. указывать ее "родителей". Кроме того, сотрудники-программисты, в первую очередь А. Килар, написали целый ряд программ, которые на основе упомянутого исходного анализа, т.е. отношения "ребенок : родитель", устанавливают другие отношения родства и выписывают словарные статьи.

Первоначальной целью настоящего исследования было найти эффективный метод автоматически – при помощи семантических дескрипторов – извлекать из текстов информацию. Особенно хотелось подвергнуть проверке гипотезу о том, что наилучшими дескрипторами являются слова, которые в данном тексте имеют высокую частотность, но вообще в языке отличаются низкой частотностью. Однако очевидная проблема состоит в том, что частотность для этих целей желательно установить на возможно более обобщенном уровне – так, чтобы никакая семантическая совместная встречаемость не была утрачена. Поэтому нужно подсчитывать частотность не словоформ и даже не лексем, а прямо значений. Первым шагом к такому обобщению является возведение словоформ к соответствующей лексеме, но обобщение может продолжаться и на уровне словообразования и даже чисто семантического поля. Можно утверждать, например, что лексема *локомотив* "скрывает" в себе семантический элемент "поезд". Нам представлялось, что, перенося частотность, в первую очередь, каждой отдельной словоформы на соответствующую лексему, а потом частотность каждой отдельной лексемы на лексему, представляющую более обобщенное семантическое содержание (нечто похожее на семантическое поле), можно будет выявить информацию, заложенную даже в сравнительно коротком тексте. Ведь нужно стремиться к тому, чтобы частотность именно тех

лексем, которые лучше всего отражают содержание данного текста, была как можно выше.

Данная гипотеза была проверена нами на очень небольшом материале. Оказалось, что первого шага обобщения достаточно для передачи содержания не слишком коротких текстов (порядка двух тысяч слов). Содержание таких текстов довольно хорошо выявляется уже на уровне лексемной частотности.

Однако для осуществления многоуровневой системы информационного поиска необходимо располагать очень богатым списком заранее установленных семантических связей. Этот список должен содержать множество соотношений типа *кровью* : *кровь*, *кровяной* : *кровь* и *гемоглобин* · *кровь*. В связи с этим интересно установить, до какой степени возможна автоматизация каждого шага обобщения. Обнаружение словоизменительных связей поддается автоматизации в силу их регулярного характера, в то время как гораздо менее регулярные словообразовательные связи нужно устанавливать, в основном, "вручную" То же в еще более высокой степени, конечно, относится к чисто семантическим, морфологически не выраженным, отношениям.

Исходя из названных соображений мы начали составлять список отношений на лексемном уровне. В этом списке каждая лексема возводилась к ближайшему, более простому семантическому соседу. Что в этом случае означает "более простой", объясним ниже. Таким образом, лексема *песчаный* была возведена к лексеме *песок*, лексема *книга* к лексеме *читать* и т.д. Вскоре, однако, оказалось во многих случаях целесообразным возводить лексему не только к одному, а сразу к двум другим, более простым, лексемам, с тем, чтобы ассоциативные связи были более полно отражены. Особенно ощущалась эта потребность применительно к сложным словам, которые очень типичны для шведского языка. Например, русскому словосочетанию *каменный дом* соответствует в шведском языке сложное слово *stenhus*, которое целесообразно возвести сразу к двум более простым лексемам *hus* "дом" и *sten* "камень".

На довольно раннем этапе стало очевидно, что образовывался своего рода тезаурус, где каждое слово было соотнесено с одним или двумя более простыми словами. В том случае, когда невозможно было найти еще более простое слово, структура наверху "замыкалась" искусственной лексемой PRIM. Вся эта связная структура приобретала иерархический характер благодаря тому, что вертикальное отношение естественно истолковать как отношение зависимости. На основе этих вертикальных отношений подчинения легко устанавливаются и горизонтальные – отношения соподчинения. Например, лексемы *желтый* и *красный* взаимосвязаны в силу того, что они оба зависят от лексемы *цвет* Таким же образом, *поезд* и *машина* связаны общей подчиняющей лексемой *ехать* и т.д.

В качестве источников лексем были сначала использованы словники, полученные при автоматической обработке текстов, потом шведский частотный словарь, включающий 10.000 слов [1]. Кроме того, в ходе анализа приходилось добавлять многие слова, для того чтобы заполнять незанятые узлы. По мере того как словарь рос, становилось все более ясно, что лексика шведского языка будет отражена в нем довольно полно. [Тогда мы приняли радикальное решение: ввести в него все слова большого шведского то́лкового словаря [2], в результате чего в настоящее время АСШЯ включает свыше 70 000 слов.]

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

АСШЯ похож на тезаурус или даже является тезаурусом, только весьма необычного типа. Что такое тезаурус? Чем он отличается от других словарей? В традиционных словарях – двуязычных и толковых – дается значение слова, либо в виде эквивалента на другом языке, либо в виде толкования. Последнее можно рассматривать как эквивалент на том же языке, что и толкуемое слово. Толкование часто состоит из родового понятия и детерминанта, однако нередко в качестве толкования дается просто синоним, т е более знакомое слово, обозначающее то же

понятие. В словарях синонимов даются преимущественно только эквиваленты последнего типа.

Другими словами, традиционные словари основываются на принципе эквивалентности, в то время как тезаурусы основаны на более широком понятии семантического соотношения. Классическим примером и образцом является "Roget's Thesaurus of English Words and Phrases" [3], изданный впервые почти сто сорок лет тому назад. В 1930 г. была опубликована шведская версия этого словаря [4]. Тезаурусы этого типа обычно состоят из двух частей: основной части с понятийными классами, упорядоченными по какому-нибудь логическому принципу, и вспомогательной части, содержащей алфавитный список всех слов с указанием, к какому или каким понятийным классам они относятся. В одном тезаурусе подобного типа [5] слова, кроме того, снабжены короткими толкованиями. Число понятийных классов в названных тезаурусах – около 1.000. Подобную структуру имеет и "Лексическая основа русского языка" [6] (с педагогическим уклоном). Существуют также тезаурусы более сложного типа, например семантический словарь Ю.Н. Караулова [7], в котором применяется система дескрипторов и множителей, извлеченных из толкований традиционного словаря.

Стоит упомянуть еще один тип словаря, а именно словообразовательный словарь, в котором описываются деривационно-морфологические соотношения лексем, и одновременно те семантические соотношения, которые закреплены деривационной системой. Шведского словаря такого типа не существует, но что касается русского языка, то существует "Словообразовательный словарь русского языка" А.Н. Тихонова [8]. Заглавными словами статей этого словаря являются простые (=непроизводные) слова; под заглавным словом приводятся все непосредственно производные от этого слова; под каждым производным приводятся, в свою очередь, все производные от него и т.д., причем иерархическая глубина отмечается различными отступами вправо. Однако единицы одного уровня упорядочены традиционным образом, по алфавиту. Кроме того, словарь снабжен алфавитным указателем всех производных слов.

Уппсальский словарь имеет характер тезауруса в том отношении, что он основан на семантических отношениях между словами, но в общем он резко отличается от всех описанных выше типов словарей. Он сходен с традиционными двуязычными и толковыми словарями в том отношении, что в нем имеется лишь один "вход", а именно, словарные статьи, упорядоченные по алфавиту. В этом словаре не нужен отдельный алфавитный указатель, т.к. каждая встречающаяся где-либо в словаре лексема выступает одновременно и в роли заглавного слова словарной статьи. Аббревиатуры тоже включены прямо в словарь, а не даны особым списком, как это обычно делается.

Понятие "семантического отношения" толкуются очень широко: включаются сюда и энциклопедические отношения, которые обычно не признаются языковыми. В словаре содержится около 3.000 слов, которые пишутся с заглавной буквы и чаще всего обозначают явления со специфической референцией. Речь идет, в частности, об именах и фамилиях политических деятелей, писателей, художников, о названиях городов, рек, гор, даже литературных произведений и художественных фильмов.

Со словообразовательным словарем настоящий словарь сходен в том отношении, что слова в нем образуют иерархическую структуру, которая, однако, отнюдь не основана только на степени морфологической сложности. Кроме того, как уже было сказано, иерархическая структура охватывает весь АСШЯ, в то время как в словообразовательном словаре она не простирается за пределы словообразовательных гнезд.

АСШЯ построен на двух, как мне кажется, вполне естественных положениях:

1) С точки зрения определенной лексемы L все остальные лексемы распадаются на семантически соотнесенные с L и несоотнесенные с L. Если представить себе, что лексемы расположены в семантическом пространстве, то соотнесенные с L лексемы можно назвать семантическими соседями лексемы L. Среди них есть более близкие и

более далекие, например, среди соседей лексемы *лошадь* можно считать лексемы *подкова* и *ржать* близкими соседями, а лексему *овес* – более далеким: понятия "подкова" и "ржать" однозначно связаны с понятием "лошадь", в то время как "овес" выступает как более независимое понятие (овес используется не только как корм для лошадей).

От констатации наличия семантической связи и определения ее силы можно, естественно, перейти к качественной характеристике данной связи. Однако для целей АСШЯ такой анализ не требуется. Что же касается направления связи между двумя соседями, то оно всегда должно быть установлено однозначно, но для этого я прибегаю не только к семантическим критериям (см. ниже).

Семантическое соседство напоминает то, что выявляется при помощи так называемого ассоциативного теста, однако последнее имеет более психологический или синтагматический характер. В [9] указаны такие связи, как, например, *книга*: *интересная, фамилия*: *лошадиная*. Подобного типа связи включать в наш словарь нецелесообразно, т.к. они не основаны на семантических межлексемных отношениях.

2) Лексика данного языка не представляет собой однородную массу; она имеет центр и периферию. Например, *вот* более центрально, чем *скот*, а это слово, в свою очередь, более центрально, чем *бегемот*. Большинство носителей языка сходятся во мнениях относительно иерархии "центральности", которая, по-видимому, определяется несколькими факторами. Главным фактором является общая частота слова; более часто употребляемые, и тем самым более известные слова, несомненно, воспринимаются как более центральные (ср. вышеприведенные примеры).

Что касается других факторов, то судить о них легче, если сравнивать семантически соотнесенные слова. Так, стилистически нейтральные слова воспринимаются как более центральные, чем их стилистически маркированные синонимы (*вкалывать* : *работать*). Большую роль играет и морфологическая сложность: производное слово более периферийно, чем слово, из которого (или – в случае сложных слов – из которых) оно произведено (*песчаный* : *песок*). Фразеологизмы возводятся к однословным синонимам (*сыграть в ящик* : *умереть*). Более или менее аксиоматически можно предполагать, что слова со специфической референцией менее центральны, чем соответствующие слова с генерической референцией (*Москва* : *город*).

Некоторые логико-семантические отношения тоже обладают зависимостной асимметрией и тем самым создают условия для иерархической структуры. Например, видовое понятие более периферийно, чем соответствующее родовое (*никель* : *металл*), название части, вообще говоря, более периферийно, чем название целого (*крыша* : *дом*). Направленность здесь устанавливается при помощи критерия, который вообще применим ко всем названным выше типам отношения: асимметрия следует из того факта, что число лексем, способных заполнять более центральные узлы, меньше, чем число лексем, способных заполнять более периферийные узлы. Другими словами, если "смотреть" в направлении центра, то однозначность, или детерминированность, больше, чем в противоположном направлении. Так, если исходить из лексемы *никель*, то однозначно попадаешь в лексему *металл*; если, с другой стороны, исходить из лексемы *металл* в пределах того же отношения, то попадешь в целый класс лексем: *никель, медь, железо* и т.д. С топологической точки зрения это и естественно: в периферии места больше, чем в центре.

Критерий детерминированности применим и в случаях отношения между названиями ситуаций и названиями объектов (партиципантов ситуаций), например, *ржать* : *лошадь, нож* : *резать*. Здесь играют роль соображения следующего типа: "ржать" неразрывно связано с "лошадью", в то время как "лошадь" выступает во многих других ситуациях, кроме "ржать"; "нож" специально предназначен для "реза-

ния", а "резать" можно и другими инструментами, нежели "ножом" (хотя для шведского языка это не так очевидно, как для русского).

Если дихотомия "центральный : периферийный" определяется многими факторами, то для того, чтобы можно было установить ее однозначно, требуется, чтобы эти факторы – хотя бы в большинстве случаев – сходились, т.е. были согласованы. К счастью, так и обстоит дело. Частота слова обратно пропорциональна его длине и морфологической сложности, сложное слово в типичном случае является гипонимом своего главного компонента.

Итак, если гипотезы 1) и 2) верны, то для каждой лексемы А в данном языке можно найти лексему Б, такую, что Б – близкий сосед лексемы А и одновременно занимает более центральную позицию, чем А. Эту лексему Б, которая лучше всех отвечает данным требованиям, мы называем "матерью" лексемы А, а исходную, более периферийную лексему А – "ребенком" лексемы Б. Например (сначала дается ребенок, потом – мать): *книга* : *читать*; *нос* : *лицо*; *крыша* : *дом*; *пыль* : *сухой*.

Отношение "ребенок : мать", конечно, асимметрично: у ребенка есть только одна мать, в то время как у матери может быть несколько детей. На этом факте и основана иерархическая структура словаря. Как уже было сказано, эта структура замыкается фиктивной лексемой PRIM. Дети одной матери образуют группу, связанную отношением семантического соседства: у них есть семантическое сходство, унаследованное от общей матери. Единственное исключение составляют дети лексемы PRIM (их около 50), которые могут и не быть семантически соотнесенными.

Эта простая структура осложняется тем, что факультативно может быть указан и отец лексемы. Например, лексему *береста* желательно связать одновременно с лексемами *кора* и *береза*. *Ржать* желательно связать не только с лексемой *лошадь*, но и с лексемой *звук* для того, чтобы была образована группа *ржать, мычать, блеять, лаять, мурлыкать* и т.д. Особенно часто отцы указываются у сложных слов. Но тем не менее, большинство слов остаются без отца.

В принципе любая лексема может "вступить в брак" и при этом быть или матерью, или отцом. Исключение составляет PRIM, которая всегда выступает только в роли матери и в брак никогда не вступает. Одна и та же лексема может быть матерью по отношению к одной лексеме и отцом – по отношению к другой; однако никакая лексема не может вступить в брак сама с собой.

Исключительно важную роль при выборе родителей играют горизонтальные группы лексем. Именно они должны восприниматься языковой интуицией как естественные, даже "красивые" серии слов, и тем самым они служат при анализе важным коррективом. Можно даже сказать, что главная цель анализа заключается в создании оптимальных горизонтальных серий.

Поскольку для каждой лексемы указываются максимально два родителя (мать и – факультативно – отец), то образуются следующие семейные отношения (необходимо обратить внимание на то, что "пол" различается у родителей, но не у детей). Исходное слово называем "я", а его партнер – "ты":

11 *ты моя мать*
12 *ты мой отец*
21 *я твоя мать*
22 *я твой отец*
31 *я твоя супруга*
32 *я твой супруг*
40 *у меня с тобой общие родители*
41 *у меня с тобой общая мать*
42 *у меня с тобой общий отец*
43 *моя мать – твой отец*
44 *мой отец – твоя мать.*

Как уже было сказано выше, отношение ребенок : родитель, т.е. отношения 11 и 12, задаются вручную. Эти исходные данные представлены списком следующего типа:

книга : *читать*
никель : *металл*
золото : *металл* + *желтый*
береста . *кора* + *береза*
гараж : *хранить* + *машина* и т.д.

Компьютерные программы превращают этот исходный список в словарь со статьями, которые в распечатанном виде могут выглядеть по-разному. В более ранней версии они имели такой вид:
хранить: 12 иметь; 21 ангар, бумажник, гараж, кошелек, сейф, хранилище...; 31 деньги [3], машина, самолет...; 41 владеть, общий, собственный...
ржать: 11 звук; 12 лошадь; 21 ржание; 41 мычать, блеять, лаять...; 42 копыто, ехать верхом...; 43 издавать...; 44 лошадка, кобыла...
Ленинград: 11 город; 12 Россия; 22 петербуржец, ПГУ...; 32 житель, университет...; 40 Волгоград, Мурманск...; 41 Гетеборг, Мюнхен...; 42 Днепр, Горбачев...; 43 горсовет; 44 Сибирь...
Примечание: после супруга *деньги* указывается в скобках, сколько раз заглавное слово вступает в брак с данным супругом: в результате трех "браков" между *хранить* и *деньги* образуются дети – *бумажник, кошелек, сейф*.

В более новой и упрощенной версии вторая и третья группы совмещены, а четвертая пропущена. Словарная статья выглядит так: *хранить*: 12 иметь; 21 хранилище, (машина:) гараж, (самолет:) ангар, (деньги:) бумажник, кошелек, сейф...

Несомненно, что вид статьи можно улучшить еще.

АНАЛОГИЯ С ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИМ ДЕРЕВОМ

Для того чтобы сделать структуру АСШЯ более ясной, сравним ее с генеалогическим древом и объясним, чем различаются эти структуры.

Как уже было сказано, в АСШЯ различие по "полу" проводится только у взрослых, но не у детей. В отличие от реальных отношений родства, очень распространен партеногенез: у большинства слов нет отца. Изобилует также многоженство/многомужество, причем одно и то же слово может вступать в брак как в качестве мужа, так и в качестве жены. Отношения типа 43 и 44 в реальной жизни не встречаются, так как вряд ли кто-нибудь рождает ребенка и до, и после смены пола.

Очень спорным является вопрос, следует ли в структуре АСШЯ разрешать "кровосмешение", т.е. допустимо ли больше, чем одно отношение родства между двумя лексемами. Иногда это кажется неизбежным и оправданным, например, в случае *парусник* : *судно* + *парус*; *парус* : *судно*; другими словами, *парус* выступает одновременно как супруг и ребенок лексемы *судно*. Подобное явление имеет место в шведском сложном слове *skogstrad* "лесное дерево", где *дерево* является одновременно супругой и матерью лексемы *лес*. Другой относительно распространенный и оправданный тип кровосмешения наблюдаем в случае шведского *tallskog* : *skog* + *tall* ("сосняк : лес + сосна"), где вступившие в брак лексемы *лес* и *сосна* имеют общую мать *дерево* (причем в таких случаях обязательно имеет место неодинаковое семантическое отношение между матерью и ребенком).

Однако иногда кровосмешения следует избегать, как в случае шведского сложного слова *hustak* "крыша дома", которое можно считать синонимом простого слова *tak* "крыша" (таких плеоназмов или почти плеоназмов в шведском языке довольно много); здесь мы просто возводим менее центральный член синонимичной пары к более центральному, и кровосмешения не возникает (ср. *tak* "крыша": *hus* "дом").

У всех лексем, кроме PRIM, есть один или два родителя. Детей у любой лексемы может быть сколько угодно, включая нуль (сухие ветви встречаются не только в периферии, но и в центральных позициях). Другими словами, по отношению к вертикальным связям лексемы распадаются на восемь типов, в отличие от людей,

которые распадаются лишь на три (у людей обязательно два родителя, и ни один человек не может быть одновременно матерью и отцом).

Структура генеалогического древа является динамической: она отражает течение времени, причем все единицы системы живут приблизительно одно и то же время и сменяют друг друга по вертикальной оси. Лексику языка мы, напротив, рассматриваем как статическую структуру, где положение каждой лексемы определяется исключительно ближайшими соседями и относительным расстоянием от центра. Топологически здесь более уместно говорить о круге или шаре, чем о дереве.

Если смотреть на лексику с хронологической точки зрения, то можно констатировать, что лексемы ведут себя следующим образом: а) живут крайне неодинаковое время; б) за время своего существования проникают в позиции, неодинаково близкие от центра; в) могут сменять родителей, т.е. превращаться в другие лексемы.

СРАВНЕНИЕ СО СТАНДАРТНЫМ ТОЛКОВЫМ СЛОВАРЕМ

В обычном толковом словаре заглавное слово снабжено морфологической информацией, одним толкованием для каждого значения слова и примерами, показывающими его употребление. В АСШЯ заглавное слово дается вместе с его семьей, т.е. с родителями, детьми, супругой/супругом и братьями/сестрами. Есть, конечно, определенное сходство между толкованием традиционного словаря и родителем или родителями АСШЯ. Они могут даже совпадать: это происходит в том случае, когда в качестве толкования (соответственно, в качестве матери) дается более знакомый, т.е. более центральный, синоним, ср., например, в [10] *оплеуха*: "То же, что пощечина". Последнее, в свою очередь, толкуется как "Удар по щеке ладонью". Соответствующий анализ в АСШЯ может опираться на это толкование и выбрать, например, в качестве матери слова *пощечина* лексему *удар* и в качестве отца лексему *щека* (или *ухо*). Информация, заложенная в синтаксической структуре толкования при этом, конечно, теряется; остается только указание на то, какой член пары главный и какой – детерминирующий.

Однако в общем разница между двумя типами словарных статей очень большая. Это касается, прежде всего, самого понятия лексемы. В традиционном словаре допускается и широко распространена полисемия, т.е. наличие нескольких означаемых у одного означающего. АСШЯ в этом отношении на той же позиции, что и Комбинаторно-толковый словарь И.А. Мельчука и А.К. Жолковского [11], т.е. различные означаемые являются поводом для расщепления данных единиц на разные лексемы. Эти лексемы оснащаются индексами, например *правило*[1]: *линейка + строить*; *правило*[2]: *весло + управлять*. Почти всегда они имеют различных родителей, но есть случаи, когда у них общий родитель, например, швед. *växt*[1] "растение" и *växt*[2] "рост" (с резко отличающимися друг от друга группами детей), которые оба возводятся к лексеме *växa* "расти".

Расщепление означающих проводится и в традиционном словаре в случаях, когда полностью отсутствует связь между соответствующими означаемыми, но интересно отметить, что в толкованиях это расщепление никогда не отмечается, так как подразумевается, что из контекста всегда ясно, какая лексема имеется в виду. В тезаурусе индексированные лексемы всегда оснащены своим индексом, независимо от того, выступают они в качестве заглавного слова или нет.

Как уже было указано, еще одна существенная разница между традиционным словарем и АСШЯ заключается в том, что все слова, встречающиеся где-либо в АСШЯ, обязательно выступают также как заглавные слова отдельных статей: этот словарь имеет полностью замкнутую структуру. Традиционные же словари часто содержат в своих толкованиях слова, которые сами как заглавные слова не выступают. Особенно это верно применительно к сложным словам в шведском языке. Эта лексическая единица отчасти находится на границе между лексической и

синтаксической областями языка. Новые сложные слова очень легко образуются в шведском языке, причем они часто ничем не поражают, никак не маркированы. Такие слова совершенно сознательно не даются как заглавные слова. Но обычно есть и много случаев, где в толкованиях употребляются слова, которые нужно бы дать в качестве заглавных, но которые просо упускаются из виду. В АСШЯ с его строгим контролем такие упущения исключены.

Уппсальский АСШЯ, благодаря тому, что на начальном этапе слова черпались непосредственно из словников конкретных текстов, содержит довольно много слов, которые – по недосмотру или сознательно – не представлены в традиционных словарях. Речь идет прежде всего о двух следующих типах слов: сложные слова и собственные имена. Сложные слова, как уже было сказано выше, чаще всего имеют совершенно нормальный вид, но могут, конечно, иметь маркированный, окказиональный характер. Собственные имена, как известно, встречаются в толкованиях традиционных словарей, но как заглавные слова принципиально не даются.

Задумаемся над тем, что представляет собой толкование. Оно, в первую очередь, предназначено для того, чтобы объяснить значение незнакомого слова при помощи знакомых слов. На такую функцию толкования выполняют только применительно к довольно периферийным словам, которые легко толкуются через более центральные. Толкования же центральных слов имеют другой характер. Они уже не объясняют значение слова, а только определяют его, а именно частично или целиком при помощи менее знакомых слов. Практическая функция таких толкований, как, например, "орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде животного" [10] скорее заключается в том, что а) выделяется одно из значений у многозначного слова; б) определяется объем данного значения (например, в шведском языке для обозначения носов у животных употребляется специальное слово).

С точки зрения характера толкования лексика, представленная в толковых словарях, распадается на два слоя: периферийный и центральный. Требование, чтобы каждое слово было снабжено определением, независимо от того, выполняет ли оно объяснительную функцию или нет, неизбежно приводит к порочным кругам, избегать которых всякий лексикограф старается, но, на мой взгляд, по сути дела, тщетно. Далеко не всегда было осознано, что определение не равняется толкованию (в смысле объяснения).

В АСШЯ никакого такого расслоения не происходит. То, что соответствует толкованию, т.е. родитель/родители, имеет совершенно одинаковый характер везде, так как всегда соблюдается требование, чтобы в качестве родителя выбирался более центральный семантический сосед. Объяснительная сила родителя остается неизменной. Единственная необходимая аксиома заключается в том, что самой центральной лексемой является PRIM, к которой возводятся в конечном счете все остальные лексемы.

С названным различием связано еще одно: с точки зрения определенной лексемы в традиционном словаре можно "смотреть" в принципе только в одном направлении, а именно или в направлении центра (для периферийных слов), или в направлении периферии (для центральных слов). В АСШЯ же всегда открывается вид в трех направлениях: в центр (вверх), в периферию (вниз) или в сторону (горизонтально).

ЗАЧЕМ НУЖЕН АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ?

Наконец, я попытаюсь ответить на вполне оправданный вопрос: зачем нужен такой словарь, как АСШЯ? Пожалуй, слишком просто было бы указать только на тот факт, что организация лексики по содержанию, т.е. по семантическим принципам – старая мечта лексикографов и философов. Решение этой задачи, однако, имеет и вполне практическое значение. В первую очередь можно указать на следующие возможные применения:

1) При сочинении текста нередко случается, что знаешь, что хочешь сказать, но никак не находишь правильные слова. В таких случаях иногда пользуются синони-

мическим словарем. Богатый ассоциативный словарь, наверное, способен оказать еще более эффективную помощь. Разница между традиционным толковым словарем и ассоциативным словарем состоит в том, что в первом случае пользователь ищет значения, исходя из слов, а во втором – он ищет слова, исходя из значений, представленных словами-соседями. Первый тип словаря помогает при пассивном, рецептивном употреблении языка, второй – при активном, продуктивном (ср. здесь словарь [11], который тоже относится к "активном" типу);

2) Кроссворды и другие языковые игры являются популярным занятием многих людей. Издаются словари и энциклопедии, специально предназначенные для этой категории. АСШЯ содержит немало энциклопедической информации, прежде всего каскады ассоциаций, причем без ограничений, касающихся характера семантической связи или направления поиска;

3) Исследователи языка нуждаются в богатом эмпирическом материале. В последнее время наблюдается усиление внимания к лексическому компоненту описания языка. Растет интерес к машинным фондам и словарям нетрадиционного типа. АСШЯ является сокровищем для лексических исследований. Здесь предлагаются объемные серии слов, связанных по содержанию. Мы не исключаем даже, что сама структура словаря может пролить свет на некоторые трудные проблемы лексикологии, например, вопрос выделения и отграничения значений (в случаях полисемии).

4) Для многих других областей знания, кроме собственно лингвистики, очень важно, чтобы общая, лексически закрепленная, когнитивная сеть носителей определенного языка была исследована как можно более детально. Речь идет, в частности, о таких новых областях как искусственный интеллект, экспертные системы, информационный поиск и машинный перевод Для шведского языка АСШЯ, благодаря богатству представленного в нем материала, сможет внести значительный вклад в дело этой инвентаризации[1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Allén S* 10.000 i topp. Ordfrekvenser i tidningstext, Stockholm, 1972.
2. Svensk ordbok / Ed. by Allén S et al., Stockholm, 1986.
3. Roget's Thesaurus of English Words and Phrases / New edition prepared by Kirkpatrick B. L., 1987.
4. *Bring S.C.* Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser. Uppsala, 1930.
5. *Lewis N.* A Modern Thesaurus of English Synonyms. N.Y., 1958 (1965).
6. Лексическая основа русского языка / Под ред Морковкина В.В. М., 1984
7. *Караулов Ю Н* Русский семантический словарь М , 1982.
8. *Тихонов А.Н* Словообразовательный словарь русского языка. I–II. М., 1985.
9. Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. Леонтьева А А., М , 1977.
10. *Ожегов С И* Словарь русского языка. Изд 22-е. М., 1990.
11. *Мельчук И А , Жолковский А К* Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.

---

[1] Автор выражает сердечную благодарность И.А. Мельчуку, который прочитал предварительный вариант статьи и сделал ряд ценных замечаний.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. Е.И. ШУТОВА

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ СЛОВА В КИТАЕВЕДЕНИИ

Становление китайского языкознания как научной дисциплины было, как известно, связано с приложением к китайскому языку (КЯ) системы лингвистических понятий европейского языкознания. Одной из важнейших проблем на этом пути явилась задача выделения слова как центральной в системе координат традиционного европейского языкознания единицы языкового механизма.

Пик интереса к этой проблеме, не затихающего и поныне, приходится на пятидесятые годы (первое десятилетие после становления Китайской народной республики), что было продиктовано не только теоретическими, но и актуальными для того времени практическими задачами создания в Китае фонетического письма.

Научный поиск этих лет примечателен тем, что в этот период в китаеведении была предпринята попытка выявить и определить те объективные языковые основания, на базе которых зиждется существование и выделимость слова в КЯ, в отличие от прошлых лет, когда понятие "слово" в приложении к КЯ принималось как нечто данное, само существование чего не требует доказательств (см. в этой связи [1]). Тем самым изучение КЯ с этого времени было поднято на новый, более высокий уровень.

В пятидесятые годы были созданы основы научного знания, касающиеся проблемы выделимости слова в КЯ, послужившие импульсом для дальнейшего изучения проблемы в последующие десятилетия. Теоретически это знание прежде всего базируется на идеях основателя дескриптивной лингвистики Л.Блумфилда о свободных и связанных формах, а также на учении о слове А.И. Смирницкого. В общетеоретическом плане несомненно также влияние идей А. Мейе, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова.

С точки зрения задач поступательного развития науки, обоснования путей дальнейших разысканий важно дать критический анализ предложенных процедур выделения слова и тех видимых и невидимых "рифов", создаваемых объективными фактами КЯ на пути последовательного и непротиворечивого применения этих процедур. Настоящая статья предлагает вниманию читателя такого рода анализ.

Итак, обратимся к китаистике пятидесятых годов. За основу рассмотрения здесь принимаются две большие работы этих лет, специально посвященные проблеме выделения слова в КЯ. Приоритет в разработке проблемы принадлежит группе сотрудников Института языкознания Академии наук КНР во главе с проф. Лу Чживэем, выпустивших в 1957 г. книгу под названием "Hanyu goucifa" (Словообразование китайского языка). В работе была поставлена задача: разграничить понятия слова и неслова (ci he feici) и на этой базе подойти к выявлению внутренних закономерностей его организации [2, с. 4].

В основу понимания слова как языковой единицы в указанной работе (далее авторский коллектив представляет Лу Чживэй) положена блумфилдианская идея "минимальной свободной формы", способной к самостоятельному или свободному употреблению (du yong, dan yong, ziyou yunyong).

Понятие "слово" (ci) в системе Лу Чживэя с одной стороны противостоит понятию 'морфема" (cisu), с другой – понятию "словосочетание" или "группа слов" (cizu). Под морфемой имеется в виду значимый однослог, не способный к самостоятельному употреблению и являющийся частью слова (cisu букв. "элемент слова").

В своем подходе к решению поставленной в работе задачи разграничения понятий "слово-неслово" Лу Чживэй опирается на разработку базового в определении слова понятия "самостоятельное-несамостоятельное употребление".

По существу речь в работе идет о способности-неспособности к самостоятельному употреблению однослога как минимальной значимой единицы КЯ. Способность-неспособность значимого однослога к самостоятельному употреблению рассматривается с двух точек зрения: 1) с точки зрения его общеязыковой способности к изолированному или отдельному употреблению (danyong), 2) с точки зрения способности к отдельному функционированию в структуре некоторой целостной полисиллабической единицы (комплекса).

Интерпретируя понятие "способность-неспособность к самостоятельному употреблению" с первой из указанных точек зрения, Лу Чживэй подчеркивает, что самостоятельность-несамостоятельность той или иной единицы не может быть определена исходя из значения. Утверждается, что это величина структурная, причем присущая той или иной единице не как постоянная характеристика, а как данная ей в том или ином употреблении. "Один и тот же языковой отрезок в одних случаях может быть самостоятельным (т.е. словом), в других – несамостоятельным" [2, с. 1].

Нельзя, однако, не отметить, что сами условия, при которых единица может выступать как самостоятельная или несамостоятельная, не определяются и не вскрываются. Единственная реальность, которую можно вынести из текста работы это понятие *danshuo* "(быть понятым на слух) в отдельном, изолированном произнесении". Но и здесь все же полной ясности нет.

Показательны в этом отношении рассуждения, приводимые в работе в связи с характером употребления элементов *bai* "белый" и *jin* "золото". Отмечается, что «элемент *bai* "белый" из *bai bu* "белая материя"» (*bai bu-de bai*), произнесенный изолированно (*dan shuo*) может быть понят, в то время как элемент *jin* из *jinzi* "золото" не понятен в изолированном произнесении. "Имеет *jin* значение или нет? Конечно имеет. Но это есть значение морфемы (cisu), значение, которое не может быть понято на слух в отдельном, изолированном употреблении" – утверждается в работе [2, с. 2].

Из приведенного рассуждения явственно следует ограниченность возможностей однослога к изолированному употреблению. В самом деле, элемент *bai*, о котором говорится, что он может быть в отличие от элемента *jin* употреблен самостоятельно, может быть понят в смысле "белый" лишь на фоне определенного контекста – в данном случае *bai bu* "белая материя", что же касается элемента *jin*, то он лишен и этой возможности. Трактуя самостоятельность-несамостоятельность употребления однослога как структурное (функциональное), а не субстанциональное явление, Лу Чживэй закономерно приходит к выводу об отсутствии прямого влияния этого факта на отнесенность к слову или неслову полисиллабического комплекса, в который этот моносиллаб входит. В связи с этим читаем следующее: "... априори определять принадлежность единицы к слову, морфеме или словосочетанию на основании самостоятельности-несамостоятельности употребления компонентов – это решительно противоречит основному принципу работы, используемому в ней методу языкового анализа" [2, с. 26].

Однако Лу Чживэю не удается провести этот принцип последовательно. Реально самостоятельность-несамостоятельность употребления трактуется в работе как как бы данная однослогу постоянно (субстанционально) до вхождения в состав полисиллаба. Более того, считается, что если один или оба компонента двусложной единицы не употребляются самостоятельно, то эта единица является словом.

Другой из двух указанных выше аспектов поиска критериев самостоятельности-несамостоятельности употребления языковой единицы приводит Лу Чживэя к понятию "kuozhanfa" (распространение, расширение), "charufa" (вставление) [2, с. 6]. Постулируется, что методика "kuozhanfa" может быть осуществлена путем

вставления любых элементов, однако с тем условием, что грамматические отношения в исходной и производной конструкциях должны быть в основном одинаковы. Так, *yangrou* "баранина" и *yang-de rou* "мясо барана" – по Лу Чживэю – образования аналогичной синтаксической структуры (атрибутные), чего нельзя, например, сказать о паре единиц *yangrou* "баранина" и *yangshen-shang you rou* "На теле барана имеется мясо"; *xizao* "мыться, принимать ванну" и *xi yige zao* "помыться" – сопоставимы; *xizao* "мыться" и *zao ye meiyou xiguo* "ванну и ту не принял" – не сопоставимы.

В принципе невозможность вставки тех или иных элементов считается признаком словесного характера соответствующей единицы, и – несловесного, если эта возможность имеется.

Однако в реальном применении этой методики Лу Чживэй отходит от принципиальной однозначности. Безусловно принимается лишь одна сторона формулы, указывающая на невозможность расширения, распространения: языковые отрезки, исключающие возможность разъединения компонентов, трактуются как слово. Другая же сторона формулы – наличие потенциальной возможности разъединения компонентов – не получила однозначной интерпретации в смысле безусловного отнесения соответствующей единицы к неслову. Здесь устанавливаются два основных случая: 1) наличие потенциальной возможности расширения, распространения рассматривается как свидетельство отнесения соответствующей единицы к неслову; 2) несмотря на наличие потенциальной возможности расширения, распространения, единица, тем не менее, рассматривается как слово.

В разграничении этих случаев для Лу Чживэя существенны такие факторы, как 1) степень свободы употребления в речи результирующей (образованной от исходной посредством тех или иных приемов ее расчленения) конструкции; 2) степень свободы расчленения исходной конструкции.

Так, например, образование *hong huar* "красный цветок" рассматривается как словосочетание, а образование *yangrou* "мясо барана, баранина" – как слово, несмотря на то, что потенциально в обоих случаях возможна вставка *de* (*hong-de huar, yang-de rou*). Аргументом в пользу принятого решения является для Лу Чживэя то, что *hong-de huar* "красный цветок" употребляется в речи достаточно свободно, а *yang-de rou* "мясо барана" – ограничено. Например, для выражения мысли о покупке бараньего мяса употребление формы *yang-de rou* было бы неуместным, естественным здесь является употребление выражения *yangrou*: *mai yi jin yangrou* "купил один цзинь баранины". Однако в предложении *zhe shi yang-de rou, zhe shi yang-de pi* "Это мясо барана, а это кожа барана" форма *yang-de rou* вполне на месте.

Другой пример (с результативным характером связи между компонентами). При наличии потенциальной возможности расширения, распространения *chibao* "наесться досыта" трактуется как словосочетание, а *dadao* 'разбить, опрокинуть' – как слово, аргументом чему является то, что в первом случае круг потенциально возможных распространений шире, чем во втором. Так, возможно: *chide hen bao* "очень наесться", *chide bu shifen bao* "поесть не очень сытно", *chide bi shui dou bao* "поесть сытнее всех", но только: *da de dao, da bu dao* "смочь разбить, опрокинуть", "не смочь разбить, опрокинуть".

Таким образом, по Лу Чживэю наличие потенциальной возможности расчленения полисиллабического комплекса не исключает словесного характера этого комплекса. Применительно к этому случаю в работе используется термин liheci [2, с. 22, 78, 79, 81]. Буквальный перевод этого термина "раздельно-слитное слово". Однако следует подчеркнуть, что этот термин не вполне адекватен тому содержанию, которое за ним стоит в системе Лу Чживэя. Реально речь идет о трактовке соотношения между слитной (исходной) и соответствующей раздельной (результирующей) конструкциями, согласно которой при наличии потенциальной возможности расчленения, слитная (исходная) конструкция тем не менее рассматривается как слово (*yangrou* "мясо

барана, баранина", *dadao* "разгромить"), соответствующая же раздельная конструкция трактуется как словосочетание: (*yand-de rou* "мясо барана", *da de dao, da bu dao* "смочь разгромить, не смочь разгромить").

Важно отметить еще один момент, касающийся характера соотношения слитной (исходной) и соответствующей результирующей (расчлененной) конструкций.

Речь идет о принципиальной тождественности грамматических значений слитной и соответствующей расчлененной конструкций как условии применения методики "kuozhanfa" (разъединения компонентов), на котором (условии) настаивал Лу Чживэй. Обращает на себя внимание в связи с этим приводимый в работе большой материал, свидетельствующий о возможном различии значений исходной и результирующей конструкций. Отмечается, например, что *tielu* "железная дорога" это не то же самое, что *tie-de lu* "дорога из железа", *yeji* "фазан" не равно *ye-de ji* "дикая курица", *guilian* "маска, гримаса" не равно *gui-de lian* "лицо черта". Или: не все реалии, называемые посредством выражения *bai-de cai* "белая овощь", могут быть названы посредством выражения *baicai* "капуста"; реалии, называемые посредством выражения *xian-de cai* "соленые овощи" не всегда могут быть названы посредством *xiancai* "соленья". Таким образом, последовательное и однозначное применение методики разъединения компонентов полисиллабического целого как критерия разграничения слова и неслова наталкивается на сопротивление языкового материала, свидетельствующего о различии значений исходной и результирующей конструкций.

Проблема разграничения слова и неслова, поставленная и в деталях рассмотренная в работе, руководимой Лу Чживэем, в пятидесятых годах получает свое рассмотрение и в работах китаеведов Советского Союза. Специально этой проблеме посвящен словарь Б.С. Исаенко "Опыт китайско-русского фонетического словаря" и прилагаемая к нему большая аналитическая статья "К проблеме границ китайского слова" [3].

Как мы видели выше, в понимании слова Лу Чживэй исходит из блумфилдианского определения этой единицы как минимальной свободной формы. Направляя свои усилия к уточнению содержания понятия "свободная форма", он идет двухвекторным путем, склоняясь к пониманию свободной или самостоятельной формы, с одной стороны – как способности единицы быть понятой на слух в отдельном, изолированном употреблении, с другой – как способности к тому или иному расширению, распространению в составе слитного полисиллабического комплекса.

Б.С. Исаенко в качестве исходной рабочей формулы принимает определение слова, данное А. Мейе: "Слово есть результат связи определенного значения с определенным комплексом звуков, способных к определенному грамматическому употреблению" [3, с. 241].

Отталкиваясь от этого понимания, Б.С. Исаенко формулирует семантические, фонетические и грамматические критерии, которым должно отвечать отдельное слово китайского языка. За основу выделения слова как отдельной лексической единицы принимается наличие у соответствующей единицы потенциальной способности грамматически функционировать по типу той или иной лексико-грамматической категории. Установление этой способности достигается путем анализа различных контекстов употребления данной единицы. Так, идя этим путем, Б.С. Исаенко устанавливает, например, что первые элементы образований *hao ren* "хороший человек" и *yao ren* 'важный человек" обладают различными способностями грамматического употребления. Так, *hao* "хороший" обладает всеми грамматическими свойствами прилагательного (*haode* "хороший", *hen hao-de* "очень хороший", *haohao-de* "прехороший", *bu hao* "нехороший" и др.), что же касается *yao* "важный", то он этими свойствами не обладает. Отсюда делается вывод, что элемент *hao* "хороший" является отдельным, самостоятельным словом китайского языка, а элемент *yao* "важный" таковым не является.

Далее следует основанный на данных рассуждениях один из основных выводов

автора: "...всякое лексическое образование, в составе которого имеется хотя бы один элемент, не являющийся отдельным словом, в целом представляет собой не словосочетание, а единое слово" [3, с. 252].

Итак, до сих пор, рассматривая подход Б.С. Исаенко к проблеме выделения слова, мы имеем логически последовательный ряд, представленный триадой: 1) понимание слова как некоторой лексико-грамматической величины, 2) ориентация на потенциальную способность функционирования в определенных грамматических контекстах как основополагающий принцип установления словесного характера единицы, 3) определение слитной полисиллабической единицы как единого слова, если оба или один из ее составляющих не имеет словесного характера.

Однако внутренняя логика этого ряда нарушается, когда речь заходит об языковых образованиях, оба компонента которых с позиций выдвинутой шкалы координат имеют словесный характер. По логике вещей эти образования должны быть признаны словосочетаниями. Однако Б.С. Исаенко не говорит здесь безусловно о словосочетаниях. В число этих образований им включаются составные или сложные слова (composita) на основании идей Щербы о словосложении как одном из способов словообразования.

При анализе языковых образований, составляющие которых потенциально способны быть самостоятельными словами (и которые по логике вещей должны быть признаны словосочетаниями), Б.С. Исаенко отступает от сформулированного им кредо словесности-несловесности. Критерием выступает уже не потенциальная способность единицы к определенному грамматическому употреблению, исчисляемому на основе потенциально возможных контекстов употребления, а на основании особенностей грамматического употребления в составе данной единицы – возможности-невозможности оформления определяющего компонента посредством *de*, возможности-невозможности разъединения компонентов посредством союза и др.

При этом Б.С. Исаенко допускает различие грамматических значений, сопутствующих слитному и раздельному построению соответствующих единиц (ср. с подходом Лу Чживэя, который в качестве условия применения методики расширения, распространения (kuozhanfa) принимает тождественность грамматических отношений в исходной и результирующих конструкциях.

Отметим, что возможность-невозможность вставки тех или иных элементов как критерий отнесения единицы к слову или словосочетанию Б.С. Исаенко использует однозначно, даже если соответствующие выводы интуитивно принять трудно. Так, например, он признает, что "на первый взгляд может быть парадоксальным" [3, с. 275] согласующийся с требованием возможности-невозможности постановки *de* вывод о том, что образование *niu tou* "голова коровы" (постановка *de* возможна) является словосочетанием, а образование *yishang jiazi* "подпорка для одежды, вешалка" (постановка *de* невозможна) является словом.

Как мы видели выше, Лу Чживэй в этом вопросе не был столь однозначен. Допускались случаи, когда несмотря на возможность расчленения, исходная конструкция трактовалась как слово (liheci "раздельно-слитное слово").

Таким образом, намеченная в 50-ые годы в работах выше названных ученых линия исследования, направленная на выделение слова, нахождения критериев отграничения этой единицы от других языковых единиц, обнаруживает известную общность ключевых исходных постулатов. К их числу относятся: 1) категория самостоятельности-несамостоятельности употребления моносиллаба, 2) возможность-невозможность расчленения слитного полисиллабического или сложного комплекса.

Вместе с тем обозначали свое существование ряд проблем и проблемных коллизий, не нашедших однозначного истолкования и разрешения. Ниже указываются две основные группы таких проблем.

Первая группа проблем касается существа содержания понятия самостоятельность-несамостоятельность употребления. Ее составляют следующие два вопроса:

1) Что такое самостоятельность-несамостоятельность употребления моносиллаба? Это потенциальная способность к определенного рода функционированию или свойство, обретаемое в данном употреблении. Иными словами: самостоятельность-несамостоятельность употребления это субстанциональная или функциональная характеристика элемента? Контраверза "самостоятельность-несамостоятельность употребления как субстанциональная или функциональная величина" обозначила себя, как отмечалось выше, в концепции Лу Чживэя, но не нашла в ней последовательного и непротиворечивого истолкования.

Б.С. Исаенко однозначно придерживался понимания самостоятельности-несамостоятельности употребления как потенциальной способности элемента к того или иного рода употреблению, т.е. как некоторой субстанциональной величины.

2) Как влияет способность-неспособность компонентов к самостоятельному употреблению на принадлежность соответствующего сложного комплекса к слову или словосочетанию. Имеется ли между этими факторами прямая связь? Как мы видели выше, Лу Чживэй не видел между ними прямой связи, исходя из того, что в КЯ один и тот же знаменательный элемент может употребляться двояким образом: и самостоятельно и несамостоятельно. Тем не менее им был принят тезис о словесном характере языковой единицы, если один или оба ее компонента не обладают способностью самостоятельного употребления, что не согласуется с представлением об отсутствии прямой связи между словесностью-несловесностью целого и потенциальной словесностью-несловесностью компонентов. Б.С. Исаенко считал влияние этого фактора определяющим, в связи с чем особое значение придавалось объяснению случаев, в которых оба компонента сложной единицы потенциально способны к самостоятельному употреблению.

Вторая группа проблем касается формальных признаков проявления самостоятельности-несамостоятельности употребления моносиллаба.

Оба исследователя подходят к проблеме формальных признаков самостоятельного-несамостоятельного употребления с двух точек зрения: 1) с точки зрения общеязыковых особенностей употребления элемента, 2) с точки зрения особенностей употребления в составе данной структуры (возможность-невозможность разъединения компонентов некоторого полисиллабического целого).

Соответственно, вторая группа проблем включает в себя следующие вопросы.

1) В чем состоят общеязыковые критерии или формальные признаки синтаксической самостоятельности-несамостоятельности элемента?

Исходя из блумфилдианского понимания слова как минимальной свободной формы Лу Чживэй склонен был трактовать самостоятельность употребления моносиллаба как способность быть понятым на слух в самостоятельном употреблени (danshuo). Б.С. Исаенко, придерживаясь понимания слова как определенной лексико-грамматической величины, под самостоятельностью языкового элемента понимал наличие у него потенциальной способности функционировать по типу той или иной лексико-грамматической категории, не принимая требования быть понятым на слух в изолированном употреблении[1].

2) Может ли наличие-отсутствие потенциальной возможности разъединения компонентов сложного комплекса явиться критерием его словесного или несловесного характера? Каково соотношение между слитной (исходной) и расчлененной (результирующей) конструкциями?

Как мы видели выше, Лу Чживэй исходил из тождественности их значений как необходимого условия применения методики "kuozhanfa" (разъединения компонентов), что в принципе верно (не может не быть). Однако реальное воплощение этого принципа оказалось невозможным. Весь приводимый в работе материал достаточно убедительно свидетельствует о том, что слитная и соответствующая расчлененная

---

[1] См. в этой связи полемику Б.С. Исаенко с Я. Хмелевским, который считал, что единица может быть признана словом, если будучи изъята из контекста, она будет понятна на слух [3, с. 242–243]

конструкции различны по своему значению, во всяком случае, далеко не всегда совпадают в своих значениях.

Б.С. Исаенко не обусловливал возможность применения методики разъединения компонентов сложного целого требованием тождественности их грамматических значений. Более того, он считал их различными в ряде случаев (например, в построениях без *de* и с *de*). Возникает вопрос: если исходная и результирующая конструкции различны по характеру грамматических отношений между их составляющими, то может ли сама возможность-невозможность преобразования исходной конструкции явиться критерием ее словесного или несловесного характера?

3) Сводимы ли оба подхода к определению формальных признаков самостоятельного-несамостоятельного употребления элемента к одному знаменателю?

Факты свидетельствуют о том, что эти подходы дают различные результаты. Так, примеры Б.С. Исаенко [3, с. 277] *hongjiu* "красное вино" и *huangjiu* "рисовое вино" (букв. "желтое вино") с точки зрения общеязыковых признаков соответствующих прилагательных однотипны (одинаково возможно *hong-de* "красный" и *huang-de* "желтый"). Однако с точки зрения употребления последних в данных сочетаниях они различны (возможно *hong-de jiu* "красное вио", но не **huang-de jiu*). *Yang-de rou* "мясо барана" как расчлененная форма от *yangrou* – в принципе возможна, однако ее употребление в конкретном предложении возможно далеко не всегда (см. выше).

В последующем развитии китаеведения выдвинутые в 50-е годы критерии выделения слова сохраняют свое значение.

В принципе в качестве критерия словесности-несловесности моносиллаба принято базовое теоретическое понятие самостоятельного-несамостоятельного употребления; для обозначения последнего закрепилось использование терминов "синтаксическая самостоятельность-несамостоятельность" (Н.Н. Коротков, В.М. Солнцев, В.И. Горелов, А.Л. Семенас и др.), "free-bound", "ziyou-nianzhe" "свободный-связанный" (Чжао Юаньжэнь, Люй Шусян).

Как рабочий используется и выдвинутый в пятидесятые годы критерий потенциальной расчленимости-нерасчленимости полисиллабического комплекса.

Получили ли разрешение проблемные коллизии, обнаружившие себя в результате наложения на КЯ постулируемых процедур? Ответим на этот вопрос в той последовательности, в какой эти проблемы были сформулированы выше.

Первая группа вопросов (см. с.65).

Относительно трактовки содержания понятия "синтаксическая самостоятельность несамостоятельность" – в плане разрешения контраверзы субстациональная (потенциальная способность элемента к того или иного рода функционированию) или функциональная (свойство, обретаемое и реализуемое в данном употреблении) величина.

В этом вопросе сохраняются противоречивость и непоследовательность, обнаружившие себя ранее в системе Лу Чживэя, однако уже в более явном виде и на более высоком уровне.

С одной стороны, указанная контраверза решается в пользу трактовки категории синтаксической самостоятельности-несамостоятельности как субстанциональной величины. Об этом свидетельствуют представленные в ряде работ попытки дать классификацию односложной лексики КЯ с точки зрения потенциальной способности-неспособности моносиллаба к самостоятельному употреблению.

Однако, с другой стороны, принимается как самоочевидный и тот факт, что один и тот же знаменательный элемент может употребляться и как синтаксически самостоятельный и как синтаксически несамостоятельный, что имплицитно несет в себе представление о категории синтаксической самостоятельности-несамостоятельности как функциональной величине.

Особого внимания заслуживают взгляды по обсуждаемому вопросу американского ученого китайского происхождения Чжао Юаньжэня – автора наиболее полной в

китаеведении грамматики современного китайского языка (A Grammar of spoken Chinese [4]), в которой использование критерия синтаксической самостоятельности-несамостоятельности (free-bound "свободный-связанный" в терминах автора) при описании языковых единиц КЯ носит массовый характер. Здесь мы находим следующее принципиальное утверждение, свидетельствующее о понимании категории синтаксической самостоятельности-несамостоятельности как функциональной величины: "При определении свободы или связанности (F or B) компонентов сложной единицы (compound) нужно иметь в виду, что мы придерживаемся принципа анализа по непосредственно составляющим; это значит, что компоненты определяются как свободные или связанные в соответствии с тем значением и функцией, которые они имеют в составе данной сложной единицы, а не в соответствии с тем, что они могут значить или делать или даже обычно значат или делают где-либо еще" [4, с. 381].

Однако практически характеристики free-bound трактуются в работе как данные элементу потенциально, в качестве его постоянной характеристики, а не как свойства, обретаемые им в качестве компонентов данной сложной единицы. При этом вопрос зачастую решается чисто интуитивно, что неизбежно ведет к субъективизму в конкретных оценках и решениях.

Проведем некоторые примеры из книги Чжао Юаньжэня [4, с. 361]: 1) *huoche* (огонь-телега) "поезд", 2) *gongyou* (работа-друг) "рабочий; товарищи рабочие", 3) *fangke* (жилище, дом-гость) "жилец, арендатор", 4) *guojifa* (международный-закон) "международное право".

Первый пример характеризуется как FF, с чем можно согласиться. Второй – как FB, что непонятно, поскольку элементы, составляющие сложную единицу, равноценны – в том смысле, что каждый из них самостоятельно не употребляется, имея двусложный аналог (*gongzuo* "работа, работать" и *pengyou* "друг"), воспринимаемый на слух в изолированном употреблении. Третий пример характеризуется как BF, что непонятно по той же причине (соответствующие употребляемые изолированно единицы: *fangzi* "дом", *keren* "гость"). Четвертый пример характеризуется как BB, что также не вполне ясно, поскольку *guoji* "международный" вполне понятен в отдельном произнесении, хотя без соответствующего определяемого по-видимому и не употребляется.

Между тем, если трактовать понятия "free-bound" в функциональном плане, то указанный ряд примеров оказывается грамматически однотипным.

Показательны суждения, касающиеся трактовки понятия синтаксической самостоятельности, Н.В. Солнцевой. С одной стороны, утверждается следующее: "Сложное слово, возникнув, с неизбежностью порождает морфемный уровень, так как его части, чем бы они ни были по извлечении из состава сложного слова – самостоятельными или несамостоятельными в синтаксическом отношении единицами, – в рамках сложного слова именно как части *не могут не быть* (курсив наш. – *Е.Ш.*) синтаксически несамостоятельными единицами" [5, с. 160]. Однако, с другой стороны, читаем: "В качестве безусловного признака сложных слов был принят признак синтаксической несамостоятельности одного или двух компонентов сложной единицы" [5, с. 159], где Н.В. Солнцева поддерживает ранее принятый в китаеведении подход. Таким образом, и здесь проявляет себя та же непоследовательность в трактовке понятия "синтаксическая самостоятельность-несамостоятельность". Когда Н.В. Солнцева говорит о том, что компоненты сложного слова не могут не быть синтаксически несамостоятельными, независимо от того, чем они являются вне слова, то синтаксическая самостоятельность-несамостоятельность трактуется как функциональная величина. Когда же говорится, что синтаксически несамостоятельным может быть лишь один из компонентов, то под синтаксической самостоятельностью-несамостоятельностью уже имеется в виду свойство, данное элементу потенциально, как его постоянная характеристика.

В целом, есть основания утверждать, что на сегодняшний день представления о синтаксической самостоятельности-несамостоятельности носят в китаистике инту-

итивно-содержательный характер, не имея эксплицитного и достаточно строгого определения.

Относительно влияния фактора синтаксической самостоятельности-несамостоятельности на словесность-несловесность соответствующего сложного комплекса.

Существование прямой связи между этими величинами для многих ученых является первоосновой выделимости слова. Широкое признание получил введенный в китаистику тезис Лу Чживэя и Б.С. Исаенко (в свою очередь восходящий к широко известным в отечественной лингвистике идеям А.И. Смирницкого), согласно которому единица, одна или обе части которой не способны к самостоятельному употреблению, является словом Хотя, как мы видели выше, в системе Лу Чживэя формулирование этого тезиса противоречило его представлению о принципиальной независимости словесности-несловесности целого от синтаксической самостоятельности-несамостоятельности компонентов.

Из признания указанного тезиса логически вытекает необходимость признания полисиллабического образования словосочетанием, если оба его компонента способны к самостоятельному употреблению.

Однако большинство ученых допускает возможность словесного характера целого, несмотря на потенциальную словесность компонентов (так называемые compounds в западноевропейской традиции), подчеркивая особую важность для этих случаев критерия потенциальной расчленимости полисиллаба (Чжао Юаньжэнь [4, с. 361] и др.).

Тем самым приобретает важное значение вопрос о том, в какой мере возможность расчленения сложного комплекса зависит от фактора потенциальной самостоятельности-несамостоятельности компонентов.

Наблюдения ученых свидетельствуют о том, что возможность разъединения компонентов полисиллабического целого имеется и в тех случаях, когда его компоненты выражаются элементами, не обладающими широкими возможностями самостоятельного употребления [6, с. 202]. Н.Н. Коротков считал, что "относительно автономный моносиллаб в современном речевом употреблении, за редкими исключениями, даже употребляясь преимущественно в составе лексических единиц, всегда сохраняет потенциальную способность выступать как слово" [7, с. 38].

С другой стороны, в случаях, где компоненты сложного комплекса потенциально способны употребляться самостоятельно, возможность расчленения целого может отсутствовать.

Достаточно определенно и категорично по вопросу о характере влияния (точнее об его отсутствии) свободы-связанности компонентов на характер сложной единицы высказывается Люй Шусян: "Словообразование в китайском языке в основном происходит одним способом – сложением корней. Однако в сложных словах словообразовательные элементы могут быть оба свободными, оба связанными, а также могут быть один – свободным, другой связанным. Это означает, что свободный или связанный характер морфем *не влияет* на их выбор... (курсив наш. – *Е.Ш.*)" [8, с. 137].

Важно подчеркнуть,что вопрос о влиянии фактора синтаксической самостоятельности-несамостоятельности на отнесенность сложного комплекса к слову или неслову, сохраняет свое значение лишь в том случае, если самостоятельность-несамостоятельность трактуется как субстанциональная величина. Дифференциальная значимость этого фактора отпадает, если синтаксическая самостоятельность-несамостоятельность трактуется как функциональная категория, в связи с чем, как справедливо утверждает Н.В. Солнцева, компоненты слова "не могут не быть синтаксически несамостоятельными", независимо от того, самостоятельны или несамостоятельны они потенциально. В таком случае в чем состоят те реалии, которые обеспечивают выделимость слова в КЯ?

Проблема зависимости словесности целого от синтаксической самостоятельности-несамостоятельности компонентов ставится на современном этапе и как проблема

специальных правил сочетаемости морфем в структуре слова и слов в структуре словосочетания. В стремлении обнаружить эти правила ряд ученых акцентируют внимание на так называемой асинтаксичности, характеризующей в ряде случаев отношения между компонентами сложного комплекса [9, с. 75–80], приходя, однако, к разным выводам относительно языкового статуса этих различий. В.М. Солнцев, Н.В. Солнцева склонны усматривать в этом морфологию, морфологический характер отношений [10, с. 175–176; 9, с. 33 и др.]. Китайский ученый Лю Шусинь, выступивший в 1990 г. на страницах журнала "Чжунго юйвэнь" с обобщающей статьей относительно структуры сложного слова, в специфике отношений между морфемами, в отличие от отношений между словами, видит чисто лексикологический факт [11]. Близкие идеи развиваются в диссертации М.В. Румянцевой [12].

Так или иначе, постулируемые особенности в характере отношений между компонентами сложного слова, в отличие от отношений между компонентами словосочетания, даже если признать достоверность предлагаемого анализа (далеко не всегда достаточно убедительного), не настолько значительны, чтобы доказать неадекватность пятичленной парадигмы, в соответствии с которой традиционно анализируется в китаеведении и структура словосочетания и структура сложного слова.

Таким образом, вопрос о наличии в КЯ особых правил сочетания слов и морфем остается открытым; тем самым остается открытым и вопрос о существовании в языке и самой этой дифференциации.

В этой связи мы бы отметили известную рискованность высказанной недавно Н.В. Солнцевой [5, с. 169] и В.М. Солнцевым [13, с. 99] точки зрения, согласно которой сложные единицы, оба компонента которых обладают способностью самостоятельного синтаксического употребления, трактуются как случаи неразличения слова и словосочетания, слова и морфемы. Если учесть, что дифференциальная значимость фактора синтаксической несамостоятельности компонентов как первоосновы выделимости слова не получает фактического подтверждения (см. выше), то такого рода трактовка логически ведет к признанию неразличимости слова и словосочетания (слова и морфемы) вообще, в структуре любых сложных единиц.

Отметим также, что Н.Н. Коротков, автор идеи неразличимости в КЯ в определенных условиях слова и словосочетания, относил к этим условиям двусложный характер сложной единицы [14, с. 8].

Вторая группа вопросов (см. с.66).

Относительно общеязыковых признаков синтаксической самостоятельности-несамостоятельности.

Требование быть понятым на слух в изолированном употреблении, восходящее к блумфилдианскому пониманию слова как минимальной свободной формы, большинство ученых считают слишком жестким. Выдвигаются критерии, связанные с организацией внутренней структуры предложения.

Так, в ряде работ в качестве признака синтаксической самостоятельности рассматривается способность элемента выступать в функции того или иного члена предложения (см. например [9, с. 3]). Этот подход мало эффективен, поскольку члены предложения традиционно выделяются на базе типов синтаксических связей; последние же в китаеведении традиционно интерпретируются аналогичным образом и в структуре слова и в структуре словосочетания.

Более эффективным представляется путь определения синтаксической самостоятельности единицы через определение потенциальной способности этой единицы занимать определенную позицию в определенного рода структурах, как это полагает Чжао Юаньжэнь. В качестве иллюстрации указывается, например, способность существительного занимать строго определенную позицию в структурах со служебным словом *shi* [4, с. 160].

Можно ли, следуя логике этого подхода, выделить одни структуры, которые являются принципиально словесными, и другие – которые принципиально не словесны?

Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, но перспективность такого рода поиска представляется несомненной.

Относительно возможности-невозможности разъединения компонентов сложного комплекса как критерия его словесности-несловесности. О характере соотношения исходной (слитной) и результирующей (расчлененной) конструкций.

Случаи, в которых разъединение компонентов сложного комплекса невозможно, как правило, не вызывают сомнений относительно их словесного характера. (Хотя при ближайшем рассмотрении и здесь оказывается не все так просто).

Вопрос заключается в характеристике образований, допускающих разъединение своих компонентов. В этом отношении проявили себя два основных подхода.

Согласно первому из них возможность разъдинения компонентов целого безусловно свидетельствует о его принадлежности к словосочетанию [15].

Согласно второму подходу возможность разъединения компонентов сложного комплекса не является безусловным свидетельством его несловесного характера. При этом выводы из этой посылки делаются различные:

а) исходная (потенциально расчленимая) конструкция трактуется как слово, а результирующая (реально расчлененная) – как словосочетание [16, с. 90; 17, с. 23; 18; 19];

б) исходная и результирующая конструкции трактуются как слово (так называемый "слитно-раздельный способ существования слова" Н.В. Солнцевой [5, с.181–184] и близкие идеи других авторов [20, с. 36; 6, с. 102] .

Как можно видеть, указанные подходы продолжают и развивают линию исследования, намеченную ранее в работах Лу Чживэя, Б.С. Исаенко.

Доказательность и обоснованность первого из указанных подходов зависит от того, насколько доказательным и обоснованным является допущение о тождестве значений слитной и соответствующей расчлененной конструкции, что, как мы видели, не самоочевидно и в принципе и фактически.

При втором подходе слитная конструкция в любом случае рассматривается как слово, по-разному (либо как словосочетание, либо как слово) трактуется соответствующая расчлененная конструкция. Н.В. Солнцева, с одной стороны, допускает наличие в КЯ феномена слитно-раздельного существования слова, однако, с другой стороны считает, что "... в дистантной позиции компоненты обнаруживают исходные значения, а общее значение сложного слова, которое они дают в контактной позиции, исчезает" [5, с. 183]. Если это так (с чем мы безусловно согласны), значит феномен слитно-раздельного существования слова не свойствен китайскому языку?, или не всеобъемлющ в нем? Так или иначе вопрос требует дальнейшего изучения.

Таким образом, исследования последних десятилетий расширили наши представления о проблематике слова в КЯ, ввели в обиход новые факты, оценки, суждения. Высвечен ряд новых, актуальных для современного научного знания вопросов, таких как соотношение субстанционального и функционального (потенциального и актуального) в трактовке содержания понятия синтаксической самостоятельности-несамостоятельности, правила сочетаемости морфем и правила сочетаемости слов, характер отношений между компонентами полисиллабического целого (синтаксический, морфологический, лексикологический?) и др. Однако категория синтаксической самостоятельности-несамостоятельности как основа выделимости слова в КЯ не получила адекватного истолкования и однозначного определения.

Исходя из допущения, что во всех языках имеются синтаксически самостоятельные и несамостоятельные единицы, В.М. Солнцев ставит вопрос: "Что мешает самостоятельные единицы называть словами и синтаксически несамостоятельные единицы относить к числу морфем?" [13, с. 99].

В принципе ничто не мешает.

Нельзя, однако, не учитывать того обстоятельства, что представление о слове как синтаксически самостоятельной единице и морфеме – как синтаксически несамостоятельной сложилось в языкознании на базе языков определенного типа, в

которых синтаксическая самостоятельность-несамостоятельность закреплена формально, в самой субстанции соответствующих единиц. Однако КЯ не знает этих формальных различий, что направило поиск критериев синтаксической самостоятельности-несамостоятельности в русло определения потенциальной способности элемента к того или иного рода функционированию. При невыявленности механизмов перехода от потенциальной способности к реальному употреблению это создает ситуацию, при которой само понятие синтаксической самостоятельности-несамостоятельности оказывается неопределимым, не только разнозначащим для различных ученых, но и не вполне проясненным для одного и того же ученого. Самое же существенное состоит в том, что в условиях формальной специфики КЯ, где минимальная значимая единица (значимый однослог) не несет в самой себе эксплицитной грамматической информации и не обретает ее в структуре слитной полисиллабической единицы, субъективизм в трактовке понятия синтаксическая самостоятельность-несамостоятельность оказывается объективно неизбежным.

Как представляется, проблема определения сущности слова и словесности в КЯ ждет иных подходов – на путях целостного описания и системного анализа реально данных КЯ единиц и определения того места, которое в системе этих единиц принадлежит слову.

Необходимой предпосылкой решения этой задачи является уточнение принципиальных оснований грамматического анализа и в первую очередь осмысление общего понятия грамматики как альтернативы частному понятию грамматики, сложившемуся на базе языков определенного типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Рождественский Ю.В.* Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка. М., 1958.
2. *Lu Zhiwei* deng. Hanyu goucifa (Словообразование китайского языка). Kexue chubanshe, 1957.
3. *Исаенко Б.С.* Опыт китайско-русского фонетического словаря. М., 1957.
4. *Yuen Ren-Chao.* Grammar of Spoken Chinese. Los Angeles, 1968.
5. *Солнцева Н.В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
6. *Семенас А.Л.* Лексикология современного китайского языка. М., 1992.
7. *Коротков Н.Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968. С. 38.
8. *Люй Шусян.* О свободных и связанных // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXII. М., 1989. С. 137.
9. *Солнцева Н.В., Солнцев В М.* Теоретическая грамматика современного китайского языка. Проблемы морфологии: Курс лекций. М., 1979
10. *Солнцев В.М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1978. С. 175–176.
11. *Liu Shuxin.* Fuheci jiegou-de cihui shuxing (О лексикологическом характере структуры сложного слова). Zhongguo yuwen, 1990. № 4.
12. *Румянцева М.В.* Синтаксические свойства двуслогов различной структуры в современном китайском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
13. *Солнцев В М.* Еще раз об основных значимых единицах современного китайского языка // Актуальные вопросы китайского языкознания (VI Всероссийская конференция). М., 1992.
14. *Коротков Н.Н.* К проблеме морфологической характеристики китайского литературного языка // Тр. XXV Международного конгресса востоковедов. 1963. С. 8.
15. *Маматюк Ю.Д.* Глагольно-именные комплексы в китайском языке (к проблеме уровневого разграничения): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.
16. *Яхонтов С.Е.* Категории глагола в китайском языке. Л., 1957. С. 90.
17. *Lü Shuxiang.* Hanyu yufa fenxi wenti (Проблемы грамматического анализа китайского языка). Beijing, 1979. С. 23.
18. *Фролова О.П* Словообразование в терминологической лексике современного китайского языка. Новосибирск. 1981.
19. *Жданкин И В* К вопросу о сложном слове без морфологических признаков словесности // ВЯ. 1986. № 1.
20. *Lu Zongda, Yu Min.* Xiandai hanyu yufa (Грамматика современного китайского языка). Beijing, 1954 С. 36.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. М.В. НЕФЕДЬЕВ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРИСТАВОК *НА-* И *ОБ-* В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА XI–XVIII вв.

1. Изучение истории славянских (и, в частности, русских) глагольных приставок имеет длительную традицию (см., например, [1–5]). Очевидность существования общих закономерностей в истории русских приставочных глаголов требует проведения тщательных сопоставительных исследований эволюции отдельных глагольных приставок. В этом отношении представляется интересным параллельный анализ глаголов с префиксами *на-* и *об-*. Среди указанных образований четко выделяются три группы глаголов: с явно выраженным локальным значением приставок, с результативным значением и с вторичными конкретными значениями приставок. Это свидетельствует о наличии в истории названных префиксов общих закономерностей, которые, по-видимому, имели место в семантической эволюции и других приставок. Целью настоящей статьи является описание общих для глагольных префиксов процессов на примере приставок *на-* и *об-*.

В научной литературе неоднократно предпринималось диахроническое описание русских и других славянских глаголов с указанными формантами [6–11]. Однако в этих исследованиях описание глаголов с приставками *на-* и *об-* осуществляется, как правило, изолированно и без учета развития семантики других глагольных префиксов [7–11].

2. Для анализа нами были привлечены в полном объеме глаголы с приставками *на-* и *об-*, представленные в Картотеке Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. (далее – КСДР), Словаре русского языка XI–XVII вв. (далее – СРЯ XI–XVII), Картотеке Словаря русского языка XVIII в. (далее – КС XVIII). В сопоставительных целях были использованы словарь И.И. Срезневского [12]; опубликованные тома "Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)" (далее – СДР XI–XIV) [13]; СРЯ XI–XVII [14]; (Указатель источников СРЯ XI–XVII вв. см. [15]); "Словарь русского языка XVIII вв." (далее – СРЯ XVIII) [16], (Указатель источников СРЯ XVIII в. см. [17]); диалектный материал [18]; "Словарь русского языка" в 4-х т. (далее – МАС) [19].

Неоднородность языкового материала, представленного в исторических словарях [13, 14, 16], не препятствует установлению хронологии (во всяком случае относительной) основных этапов семантической эволюции приставок. Эти процессы, в большой степени относящиеся к сфере грамматики или точнее аспектологии, происходили в течение длительного периода (например, становление собственно категории глагольного вида [20]). Это позволяет говорить о том, что основные моменты семантической эволюции приставок отражаются во всех текстах, имеющих разную жанрово-стилистическую принадлежность.

3. Анализ образований с приставками *на-* и *об-* осуществляется по типам мотивирующих основ. Такой подход обусловлен тем, что в истории славянских глаголов префиксальное словообразование тесно связано с возникновением приставочных способов действия, генезис которых во многом определялся семантикой мотивирующих основ. Наиболее удачной представляется типология основ, данная Ю.С. Масловым [1, с. 30–31], так как в ней соблюдается "золотая середина", которой является классификация не по чисто семантическому, а по акциональному признаку, т.е. по отношению к

признаку предельности, что способствует правильному пониманию эволюции приставочных способов действия.

Ю.С. Маслов выделяет три большие группы глаголов: предельные, главное ядро которых составляют глаголы результативного способа действия; исключительно непредельные, куда относятся только статальные основы (в том числе и глаголы со значением положения в пространстве *лежати, сѣдѣти, стояти*) [1, с. 18–19]; и нейтральные в отношении предельности/непредельности, главное ядро которых составляют эволютивные основы [1, с. 23]. Данную типологию дополняет суждение А.В. Бондарко о том, что эволютивный способ действия занимает как бы промежуточное положение между статальным и результативным [21, с. 28]. Кроме эволютивных, к нейтральным в отношении предельности/непредельности относятся мутативные основы (глаголы "перехода в состояние") [1, с. 20]. При такой типологии отдельно не выделяются каузативы. Одни из них относятся к мутативным основам (*класти, сажати, ложити*), так как они тоже обозначают процесс "перехода в состояние"; другие – к эволютивным основам (*квасити, богатити, множити*).

4. Подробный анализ образований с приставками *на-* и *об-* позволяет предположить наличие четырех ступеней семантической эволюции глагольных префиксов:

1) выражение только пространственных отношений;

2) развитие функции выражения значения предельности и совмещение ее с функцией выражения пространственных отношений (появление локальной предельности);

3) оформление результативного значения вследствие элиминации пространственных отношений (появление результативной предельности);

4) развитие вторичных конкретных значений.

Определенным ступеням семантической эволюции, обозначенным с точки зрения относительной хронологии, соответствует оформление словообразовательных типов глаголов с приставками.

4.1. На первой ступени, присоединяясь к мотивирующей основе, приставки вносили только лексическое значение, локально уточняя действие глагола. При этом приставочное образование было эквивалентно беспрефиксному глаголу в сочетании с локальным уточнителем (предлогом или наречием), а сама приставка сохраняла след самостоятельного слова. Такое соотношение в структуре производного слова отражают образования от глаголов состояния с локальными приставками. Ср. *належати* = *лежати* на чем-л.; *насѣдѣти* = *сѣдѣти* на чем-л.; *обстояти* = *стояти* вокруг (чего-л.); *облежати* = *лежати* вокруг (чего-л.).

Первичное пространственное значение глагольных приставок могло реализоваться в двух вариантах (соответственно, формирующих два словообразовательных типа); 1) значение движения в определенном направлении (для *на-* это значение "направить действие, названное мотивирующим глаголом, на поверхность чего-л.", для *об-* – "направить действие, названное мотивирующим глаголом, вокруг чего-л., во все стороны"), представленное у образований от всех основ, кроме статальных; и 2) значение нахождения в пространстве, представленное у образований только от статальных основ (для *на-* – "на поверхности чего-л.", для *об-* – "вокруг чего-л.").

Самую многочисленную группу глаголов с локальными приставками составляют производные от эволютивных основ, которые можно разделить в свою очередь на две подгруппы: образования, где конкретное локальное значение несет только приставка, и глаголы, в которых конкретное локальное значение приставки частично соответствует лексическому значению мотивирующего глагола.

Образования от статальных основ являются, по-видимому, наиболее древними, так как их возникновение было возможно лишь при условии отсутствия в языке противоречия между семантикой статальности и локально-предельным значением приставки. Данное противоречие скорее всего уже имело место в эпоху XI–XIV вв.

4.2.1. На второй ступени семантической эволюции происходит развитие функции выражения значения предельности и совмещение его с семантикой пространственных

отношений. Наличие данной ступени и оформление общего значения предельности до появления приставочных способов действия (в том числе и результативного) подтверждается судьбой производных от глаголов состояния с локальным значением приставки, у которых возникает несоответствие между значениями мотивирующей основы и префикса. Семантика статальности вступила в противоречие не просто с семантикой пространственных отношений (иначе в языке никогда бы не было производных от статальных основ с локальным значением приставок) и не просто с семантикой предельности (так как в языке имеются производные от глаголов состояния в рамках результативного и других приставочных способов действия). Причина возникновения данного противоречия заключается в совмещении функций выражения пространственных отношений и предельности.

Само возникшее противоречие заключается в следующем. Локальная приставка, совмещающая с пространственной семантикой значение предельности, могла присоединяться только к глаголам, выражающим действие, которое может быть куда-нибудь направлено и, после того как оно завершилось, достигнуть своего предела. Ничего подобного не могло произойти у образований от статальных основ. Глагольные приставки первоначально выражали только лексическое значение. С развитием функции выражения значения предельности такие образования, как *належати, обстояти* (которые продолжают передавать значение состояния, но только с локальным уточнителем), должны были бы, как и остальные глаголы, указывать на предел. А это невозможно: семантика состояния не предполагает никаких изменений в пространстве, так как глаголы состояния – это семантическая группа непредельных глаголов. Возникновение описанного противоречия явилось причиной того, что словообразовательные типы глаголов состояния с локально-предельным значением приставок *на-* и *об-* утрачивают свою продуктивность, а имеющиеся уже образования должны были или уйти из употребления или изменить свою семантику, чтобы устранить имеющееся противоречие.

По данным КСДР первоначалное значение, синонимичное семантике сочетания статального глагола с локальным уточнителем, отмечено лишь у части производных от глаголов состояния: алкиностъ яица своя въ глубину кладеть, сама верху воды *насѣдить* (МПр XIV, 32)[1]; и измѣняеть(с) *належащая* индития на стѣи трапезѣ и полагает(с) постьная (УСт XII/XIII, 8 об); его же видовъ образъ Исаия на престолѣ превысоцѣ, *обьстоима*[2] множьством англъ. (КТур XII сп. XIV, 23); етери же видъ в нощи ходящь на колесници лвовѣ яздящь. и змиями *облежащю* (ГБ XIV, 16б); въ ·г· и же днь всѣм *обьсѣдящемъ* и въ оружьи ·s· и же ча(с) абие не видимъ быс (Никон) (ПКП 1406, 111г). Почти у всех приведенных образований материалы КСДР отражают развитие семантической структуры. Лишь у глагола *насѣдѣти* зафиксировано одно отмеченное выше значение в единичном употреблении, что, по-видимому, свидетельствует о невозможности преодоления данным образованием имеющегося противоречия и о наметившейся тенденции его ухода из употребления.

Остальные производные от глаголов состояния к XI в., по-видимому, уже утратили значения, синонимичные семантике сочетания статального глагола с локальными уточнителем. Но их переносные значения[3] продолжают еще ассоциироваться с семантикой пространственных отношений. Ср.: нъ искупи ны отъ *настоящего* зла (СкБГ XII, 17г); печаль и скорбь дшю мою *обьдьржааше* (ЖФП XII, 67в); уста же

---

[1] Сокращенные обозначения источников приводятся по следующим изданиям: для древнерусского периода [13, Т. 1, с. 28–68], для старорусского периода [15], для эпохи XVIII в. [17].

[2] Вслед за А. Мейе в данной работе *обь* наряду с *объ* расценивается как вариант приставки *об-*, а *оби-* как усиленная форма *обь-* [22, с. 124].

[3] При определении принадлежности какого-либо образования к тому или иному словообразовательному типу нужно учитывать тот факт, что слово не всегда может иметь прямое значение, четко указывающее на смысловые отношения между мотивирующим и мотивированным. Как отмечает О.П. Ермакова, «производное "может себе позволить" не иметь прямого значения, либо не реализуя, либо утратив его» [23]

пѣнию дающемъ и давыдова поющимъ словеса. яко же и хвалу таковыхъ по всему елико *обсияеть* сл҃нце (ЖФСт XII, 101).

Древнерусский материал фиксирует лишь единичные образования от статальных основ с локальным значением приставок. Можно предположить,что в дописьменный период подобных образований было гораздо больше, но к началу письменной эпохи древнерусского языка они уже утратились, а отмеченные глаголы представляют лишь остатки моделей глаголов, производных от статальных основ.

4.2.2. Материалы СРЯ XI–XVII и КС XVIII показывают, что к XVIII в. устраняется описанное противоречие, а модели глаголов, производных от статальных основ, с локальным значением приставок *на-* и *об-* прекращают свое существование. Одни глаголы уходят из употребления (*насѣдѣти, облежати, обсияти, обсѣдѣти*); у других образований развиваются значения, которые не ассоциируются с семантикой пространственных отношений· *належати* – "надлежать, долженствовать"; *настояти* – "требовать"; *обдержати* – "употребляя, используя (обычно что-л. новое), сделать более удобным, пригодным"; *обстояти* – "быть устроенным". Ср.: *Обдержать* кадку, бочку. (САР[1] II, 619); Конструкция сей машины къ лѣвой сторонѣ *обстоитъ* слѣдующимъ образомъ (ТМ 1755 г., 24).

4.3.1. На третьей ступени семантической эволюции происходит оформление значения результативности, которое развивалось у разных глагольных приставок, по-видимому, одинаково и одновременно. Базой этого процесса были нейтральные в отношении предельности/непредельности глаголы и в первую очередь эволютивные основы, так как они обозначали активное целенаправленное действие, стремящееся к достижению результата. При благоприятных условиях у них начинает преобладать значение результативности. Таким "благоприятным условием" является соответствие значения приставки и мотивирующей основы. По этому поводу П.С. Сигалов замечает: "Совпадение значения глагола и локального характера приставки растворяет ее семантику, в результате чего ее значение расценивается только как результативное или видовое" [24].

Среди глаголов с конкретным локальным значением приставок *на-* и *об-* именно образования от эволютивных основ представляют значительную группу производных, у которых конкретное локальное значение передается как приставкой, так и мотивирующим глаголом. Ср: одръ бо не в которемь вертоградѣ *настьлавше* и ста(г) на немь привязавше (ГА XIII–XIV, 201б); и телеса стрѣкаху иглами. и сажею *натираху* (КВ к. XIV, 205а); (крест) нѣ в коемь мѣстѣ *обивъше* съкрываютъ (КР 1284, 272а); блаженааго же бориса *обьртѣвъше* въ шатьръ... повезоша (СкБГ XII, 12г) и др. Приведенные глаголы отражают первую стадию оформления семантики результативности.

На следующем этапе семантика мотивирующего глагола нейтрализует соответствующую семантику приставки, в результате чего появляется результативная предельность. Ср.: масло же грѣшниче да не *намастить* главы моея (ПНЧ XIV, 98 обб); аще о нихъ же съвѣдати. о сихъ и азъ поминая *напишю* нужда те ради (КЕ XII, 216а); якоже лежаше явися ему б҃ца ничьто же рекъше. тъкмо пьрстомь своимь *начрьте* обѣ руцѣ. и обѣ тако же нозѣ его (ПС XI, 33); ве(ч)ръ нощь хощеть быти да б҃лгъ да полъ листа како нь *намазано* (Парем 1248, 51); и минувъшемъ лѣтомъ ·к· и цр҃кви уже *обетъшавъши* ("обветшали"). и умысли изяславъ възградити цр҃квь нову (СкБГ XII, 20б); текши Наталия в темницу. *облобыза* мужня узы (Пр 1382, 152) и др. Во всех приведенных примерах приставки *на-* и *об-*, являясь результативными, как бы "оставляют след" от прежнего утраченного локального значения, а сам мотивирующий глагол несет в себе его элемент.

В процессе оформления результативного значения могли также участвовать и другие семантические группы глаголов, нейтральные в отношении предельности/непредельности. Среди производных от мутативных основ первую стадию этого

процесса отражают следующие образования: *накласти* – "положить сверху, поверх чего-л., нагрузить, погрузить на что-л."; *налечи* – "надавить, налечь"; *наложити* – "положить сверху, поверх чего-л."; *обръжавѣти* (производное от ръжавѣти – "покрываться ржавчиной" [12, т. III, с. 203]) и др. Второй этап оформления результативного значения отражают образования *насадити* – "посадить (о растениях)" и *обрьдѣтися* – "покраснеть, зардеться от стыда": насытяться дрѣва польская и недри ливаньстии еже еси *насадилъ* имъ (СбЯР XIII, 137); азъ же *обрьдѣвъся* о словеси рѣхъ имъ (ПНЧ 1296, 29об).

После того, как значение результативности оформилось, происходит процесс расширения круга мотивирующих основ: приставка присоединяется к различным основам, внося только результативное значение. С этого момента можно говорить о наличии результативного способа действия. Поначалу в этом процессе участвуют только эволютивные основы, о чем свидетельствует исследуемый материал (по данным КСДР 33 образования с приставкой *на-* и 25 с приставкой *об-*). Постепенно в этот процесс втягиваются и другие семантические группы. КСДР отражает наличие производных от статальных основ: *назьрѣти* – "заметить, увидеть" (от *зьрѣти* в знач. "видеть" [13, т. III, с. 433]) и *обвъдовѣти*. Ср.: аще на безакония *назриши* ти кто постоить яко от тебе оцѣщение есть (СбЯР XIII, 142); его же мти *обвъдове* отроковицею (Пр XIV, 85в). Материалы КСДР фиксируют также производные от мутативных основ *намокнути* и *обнищати*.

Описанный процесс оформления результативного значения происходил задолго до письменного периода, а анализируемый материал лишь отражает его следы. Ю.С. Маслов отмечает, что первым из приставочных способов возникает и наибольшую роль в дальнейшем играет результативный способ действия. Их возникновение Ю.С. Маслов относит к "более позднему периоду праславянского языка" [1, с. 28].

4.3.2. Так как результативность указывала только на характер протекания действия и была значением более грамматическим, чем лексическим, именно глаголы результативного способа действия составили базу становления категории вида. С оформлением значения процессуальности и развитием средств имперфективации значение результативности начинает осознаваться носителем языка как значение совершенного вида[4]. Из 40 фиксируемых в КСДР видовых корреляций, образованных путем имперфективации глаголов с приставками *на-* и *об-*, более 30 отмечено в кругу результативных глаголов[5]. Это, по-видимому, подтверждает точку зрения о том, что первые видовые корреляции, включающие приставочный глагол и производный от него имперфектив, оформлялись в кругу результативных образований [25, с. 158]. Как свидетельствует языковой материал, в качестве первых средств имперфективации для выражения процессуального значения выступали суффиксы неопределенно-многократных глаголов. Суффикс *-ива-/-ыва-* только начинает вступать в свои права в древнерусский период и сосуществует с более древними средствами имперфективации. При этом видовые корреляции были, как правило, многочленными (т.е. бинарными в плане содержания и многочленными в плане выражения), где одному исходному глаголу соответствует ряд имперфективных вариантов с разными суффиксами [25, с. 276–278]: *написати* (*напишу*) – *написати* (*написаю*), *написовати*, *написывати*

По материалам СРЯ XI–XVII выявлено свыше 150 глаголов с результативными приставками *на-* и *об-*, которые не фиксирует КСДР. Почти ни у одного из данных образований не отмечено наличие производных от них вторичных имперфективов. Этот факт говорит, вероятно, о том, что к XV в. за глагольными приставками

---

[4] Становление и развитие механизма суффиксальной имперфективации на материале русского языка детально рассматривает в своих работах В.Б. Силина [25, 26].

[5] Подробнее о суффиксальных и префиксальных видовых корреляциях глаголов с приставками *на-* и *об-* см. [27, с. 46–50, 68–70, 132–136, 159–163].

закрепляется видообразующая функция, а образования результативного способа действия вместе с однокоренными бесприставочными глаголами оформляют видовые корреляции. При этом к одной и той же мотивирующей основе зачастую могли присоединяться разные результативные приставки: *сѣдлати* ("надевать на лощадь седло" [12, т. Ш, с. 323]) – *насѣдлати, осѣдлати, обсѣдлати* Таким образом, многие видовые корреляции, образованные путем перфективации (как и корреляции, образованные путем имперфективации) на первых порах были бинарными в плане содержания и многочленными в плане выражения.

Отдельные появления вторичных имперфективов от глаголов с результативными приставками *на-* и *об-* объясняются структурно-семантическими особенностями мотивирующих основ. Особый интерес вызывает образование вторичных имперфективов у производных от глаголов состояния (*напомнити/напоминати, обождати/обжидати*). Их появление объясняется, вероятно, тем, что глагол состояния и производный от него приставочный результативный глагол не могут образовать видовую пару. При соединении статальной основы с результативной приставкой происходит семантическое смещение с общим смысловым соотношением "находиться в каком-л. состоянии" // "прийти в какое-л. состояние". Производное перестает быть глаголом состояния и переходит в результативный способ действия. А статальные и результативные основы – это две противоположные группы глаголов по характеру протекания действия: статальные основы – исключительно непредельные глаголы, результативные – исключительно предельные. Образование видовой корреляции возможно лишь тогда, когда результативная приставка соединяется с глаголом, нейтральным в отношении предельности/непредельности (эволютивным и мутативным). Несовпадение лексического значения у глагола состояния и производного от него результативного глагола отмечает А.Н. Тихонов, сопоставляя значения слов *вдоветь* – "жить вдовой, вдовцом" и *овдоветь* – "стать вдовой, вдовцом" [28]. Материалы СРЯ XI–XVII отражают появление вторичного имперфектива у рассмотренного выше результативного глагола обвдовѣти – "овдоветь": *обвдовѣвати* – "лишаться мужа, жены". Таким образом, создание видовой корреляции у результативных глаголов, производных от статальных основ, возможно лишь в результате вторичной имперфективации.

4.4. На четвертой ступени семантической эволюции происходит оформление вторичных конкретных значений приставок. Одним из следствий десемантизации стала возможность для выражения префиксами значений, ранее им не свойственных, на базе их широкой синонимии. Результативная приставка, употребляясь с устойчивыми смысловыми группами глаголов, объединенных общим семантическим полем, постепенно наполняется свойственной данному полю семантикой и затем вносит ее в другие образования. Этот процесс, как и оформление значения результативности, происходил в кругу производных от эволютивных основ.

4.4.1. Присоединяясь к глаголам с общей семантикой "копить, наполнять что-л.", результативная приставка *на-* постепенно приобретает это значение. Данный процесс отражают образования *надути ся* в одном из значений "надуться, наполниться чем-либо", *напълнити* в одном из значений "наполнить" и др. Ср.: и сице *надъмеся* недугомъ многымъ (ПНЧ XIV, 23б); и от тѣхъ малыхъ отрубъ *наполънить* намъ сусѣкъ мукы (ЖФП XII, 54г). Затем приставка *на-* начинает самостоятельно вносить семантику накопления в другие глаголы, расширяя круг мотивирующих основ. На наличие и четкую оформленность модели глаголов с накопительным значением префикса *на-* в XI–XIV вв. указывает большое количество образований, однозначных по своей семантической структуре (всего по данным КСДР – 16). Ср.: и вълѣзъ *набра* овоща (ЧудН XII, 75г); и тъгда *нагубленое* не станеть имъ помагая (Изб 1076, 17–17об); иже на риза(х) каме(н) дресвѣтелъ *наковавъ* инѣх же ·г· камении (ГБ XIV, 84); чьстьная же его глава възлежаще вьрху врѣтища. *натъкана* (начальна форма

натъкати – "наполнить, набить") тьрнья. на томь почиваше блженыи (СбТр XII/XIII, 40об) и др. (см. [27, с. 37–40]).

Характер древнерусского языкового материала не позволяет согласиться с выводами Э.М. Архангельской, которая расценивает появление количественной семантики приставки *на-* как следствие развития переносных значений у локальных дериватов [11, с. 13] и видит причину семантической эволюции приставки *на-* только во влиянии окружающего контекста [11, с. 14], принятое называть "семантическим заражением" [29, 30]. По мнению Э.М. Архангельской, в XI–XIV вв. глаголов с накопительной семантикой было мало: *наволочити, набити, накласти, наносити, напустити* и *наскакати* [10, с. 119]. Все они могут выражать также локальную семантику [10, с. 98–99]. При этом отождествляются образования *наволочити* и *наволочи* (с чем никак нельзя согласиться). Далее отмечается, что глаголы, несущие только кумулятивную семантику, появляются лишь к XV–XVI вв., гораздо позднее глаголов, совмещающих локальное значение с количественным; и делается вывод о том, что глаголы с накопительным значением приставки *на-* ведут свое начало от локальных [11, с. 12]. В данной трактовке не учитываются фиксируемые в КСДР 16 моносемантичных образований с накопительным значением приставки *на-* (кроме глагола *наволочити*, который Э.М. Архангельская не отличает от образования с локальной приставкой *наволочи* – "натянуть").

Причиной возникновения рассмотренной гипотезы является, по-видимому, "гипноз" теории "семантического заражения" и игнорирование Э.М. Архангельской огромной роли мотивирующих основ в семантической эволюции приставок. По этому поводу уместным кажется замечание П.С. Сигалова о том, что главный источник появления новых значений приставки – ее взаимодействие с глаголом и переносное употребление приставочного образования, а "семантическое заражение" и калькирование иноязычных приставок – это более редкие факторы выработки новой семантики глагольных префиксов [2, с. 249]. И все-таки становление вторичных конкретных значений (в том числе и накопительного) отчасти напоминает "семантическое заражение". Только здесь оно происходит не на уровне лексического контекста, а на уровне контекста морфем: результативная приставка наполняется новым содержанием из мотивирующей основы.

В процессе расширения круга мотивирующих основ приставка *на-* в накопительном значении могла присоединяться к таким глаголам, от которых в языке уже имелись образования с данным префиксом, но с другим значением: "направить действие на поверхность чего-н." Следствием этого стало наличие таких парных образований, которые, по-видимому, нельзя рассматривать как факт полисемии, но нужно расценивать как слова-омонимы, так как эти пары образованы с помощью омонимичных приставок. На необходимость выделения подобных омонимичных образований в толковых словарях настоятельно указывает А.Н. Тихонов [31].

Глаголы с накопительным значением приставки *на-* имеются и в других славянских языках (например, словенском). Но из этого никоим образом не следует вывод о развитии данной семантики в праславянский период. В праславянский период, возможно, появилась лишь тенденция ее оформления. Языковые факты говорят о длительном и сравнительно позднем становлении данного значения. Во-первых, накопительная семантика могла оформиться лишь на базе результативного значения. Во-вторых, "пик" продуктивности данной модели приходится на старорусский период (материалы СРЯ XI–XVII фиксируют около 90 глаголов с накопительным значением приставки *на-*, которые не отмечены в КСДР). В-третьих, эти образования в текстах XI–XIV вв. обладают одной грамматической особенностью: все они, как правило, являются производными от переходных глаголов. Свободное производство образований с накопительным значением приставки *на-* от непереходных глаголов начинается лишь в старорусский период. С этим процессом связано становление еще одного вторичного конкретного значения приставки *на-* – интенсивного.

4.4.2. Так как дериваты, относящиеся к накопительному способу действия, выражали процесс, который был направлен на какой-либо объект, то они являлись, как правило, образованиями от переходных глаголов. Иначе, по-видимому, обстояло дело при словопроизводстве от непереходных глаголов. Если процесс накопления не был направлен на какой-либо объект, то приставка сама по себе принимала значение интенсификации (усиления, активизации действия, оно как бы "накапливается"). При этом на значение образования влияет степень этого "накопления". Когда действие глагола "накоплено" в значительной степени (часто – чрезмерно), образования с приставкой *на-* выражают значение "интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глаголом". Ср.: видѣхъ нѣкия... презла дѣла творяще... *нагрѣшившая* худѣ (МПр XIV, 50–50об); ризы же не славны люби. *нарастуща* сиречь многыми пошивая заплатами (КН 1280, 606а) и др. (по данным КСДР всего семь глаголов). Если действие глагола "накоплено" в незначительной степени, то образования с приставкой *на-* имеют значение "слабо, слегка, бегло совершить действие, названное мотивирующим глаголом". Ср.: и пятыи дн҃ь осине нога его и придоша врачеве посѣтитъ его. и видѣвше *намануша* другъ другу яко подобаеть нога его отсѣщи (Пр 1384, 54).

Если на начальной стадии оформления производные с интенсивным значением приставки *на-* были возможны только от непереходных глаголов, то в старорусский период происходит расширение круга мотивирующих основ (как и у глаголов накопительного способа действия), следствием чего стало возможным производство по данной модели от переходных глаголов. Ср.: *нажарити* – "натопить жарко"; *надѣлати* – "сделать что-л. предосудительное"; *натворить* и др. Это, по-видимому, вызвало некоторое ослабление семантики интенсивности, что в свою очередь помогло оформлению (под влиянием основ со значением нежелательности действия) основной черты данной модели – экспрессивной маркированности, которая отодвигает семантику "накопления" действия на второй план. Ср.: *наблясти* – "наклеветать"; *навоняти, наврати; надосадити* и пр. Зачастую наличие или отсутствие экспрессивного значения нежелательности действия становится критерием при определении принадлежности образования к накопительному или интенсивному способу действия, а иногда такое разграничение провести очень трудно. Ср.: *наворовати, награбити, наплести* – "наговорить, наболтать".

С выступлением на первое место семантики нежелательности действия противопоставление по степени "накопления" отступает на второй план и перестает быть актуальным, вследствие чего происходит ослабление функционирования модели со значением 'слабо, слегка совершить действие, названное мотивирующим глаголом"

4 4.3. В эпоху XVIII в. начинает развиваться еще одно вторичное конкретное значение приставки *на-*. Уже в древнерусский период в языке имелись образования с результативной приставкой *на-* и мотивирующей основой, вносящей в дериват семантику "обучать" (*навыкнути, научити*): аще нѣкоего мирьскаго чл҃вка... изберуть... ст҃ымъ правиломъ и цр҃квнѣи службѣ *навыкъ*. да поставлен будеть (КР 1284, 228); *научи* чл҃вка разуму (КЕ XII, 159). Материалы КС XVIII фиксируют новые образования, которые помогают оформиться значению "приучить(ся) к чему-л., обучить(ся) чему-н.": *нашколить* – научить кого быть проворнымъ, расторопнымъ (САР[1] VI, 894); десятилѣтнаго мальчика сына своего; этой же поваренной, да приспѣшной школѣ, такъ *намуштровали*, что бѣдной робенокъ, всѣ рагу, фрикасе, и паштеты по пальцамъ зналъ. (Светск шк. 1763, II, 260); Приобучаю кого или что къ чему *Наторить* лощадь къ ѣздѣ. *Наторить* слугу (САР[1] VI, 212). Постепенно результативная приставка *на-* наполняется семантикой обучения и может вносить это значение самостоятельно. Ср.: Наученный, приученный къ бѣгу частою ѣздою. *Наѣзжачая* лошадь (САР[1] VI, 982).

4.4.4. Становление вторичных конкретных значений приставки *об-* происходило также в кругу глаголов результативного способа действия, производных от эволютивных основ.

Присоединяясь к глаголам с общей семантикой "отделять что-либо от чего-л.", приставка *об-* приобретает значение "отделять". Ср.: и *обруби* ему руцѣ и нозѣ (ГА XIII–XIV, 72); по отгнаньи ею от собе въ прелюбодѣиствующих казнь влагати в ня. рекше того ту *обрѣзати* (носы) (МПр XIV, 194). Присоединяясь к глаголам с семантикой "делая что-н., копить", приставка *об-* наполняется значением "копить". Ср.: *обловитися* – "наловить кого-л,": Сто҃славъ. сватомъ своимъ с Рюрикомъ... идоста на ловы... на устья Тесмени. и ту ловы дѣявша. и *обловишася* множествомъ звѣрѣи. (ЛИ ок. 1425, 231об).

Развитие моделей глаголов с названными вторичными конкретными значениями приставки *об-* (отделительным и накопительным) было остановлено, по-видимому, наличием в языке словообразовательных типов глаголов с приставками *от-* и *на-* с аналогичными значениями. Однако в современном русском языке имеются реликты с означенными вторичными конкретными значениями приставки *об-*. МАС отражает наличие описанных значений в семантической структуре глаголов *обрезать* и *обрубить:* ОБРЕЗАТЬ 1... // Отделить,срезав. О б р е з а т ь н и т к у. [19, т. II, с. 563]; ОБРУБИТЬ 1. Отрубив часть, конец чего-л., укоротить. О б р у б и т ь ж е р д ь. [19, т. II, с. 565]. Н.С. Авилова среди глаголов накопительного способа действия отмечает образования с приставкой *об-*: *обшить, обстирать, оббегать* [32, с. 307]. Однако у данных глаголов основной является дистрибутивная семантика "направить действие на много объектов".

4.4.5. Материалы КСДР отражают начальную стадию оформления модели глаголов с вторичным конкретным значением приставки *об-* со знач. "причинить ущерб комv-н. (иногда обмануть) с помощью действия, названного мотивирующим глаголом". Первоначально приставка *об-*, по-видимому, выражала достижение результата действия у производных от глаголов с семантикой "причинять ущерб, обманывать": *облиховати* – "лишить кого-л. чего-л." (от *лиховати* – "лишать, отнимать" [14, вып. 8, с. 247]); *облишити, облъгати* – "ложно обвинить, оклеветать" (от *лъгати* – 'лгать, вводить в заблуждение, обманывать" [14, вып. 8, с. 182]); *обльстити* – "завлечь обманом, лестью, хитростью" (от *льстити* – "обманывать, обольщать; лгать" [14, вып. 8, с. 323]). Ср.: что бо сего окоянѣе. еже въ вѣкы вѣкомъ *облиховану* быти (СбТр XIII, 180); и *облишену* ему (Адаму) быти раискыя пищя (Пал 1406, 40г); на утрья приведъ пьрфурия яко губителя *облъгавъ* усекну (ПрЛ XIII, 67а); и позва (Ярослав) к собѣ нарочитыѣ мужи. иже бяху иссекли Варягы. (и) *обльстивъ* и исѣче (ЛЛ 1377, 48). Постепенно происходит процесс, обратный десемантизации: приставка *об-* наполняется значением "причинять ущерб, обманывать". Ср.: *обѣсити*: на крстѣ яко злодѣя *обѣсисте* (Пал 1406. 141г).

В начале старорусского периода группа результативных глаголов, у которых мотивирующие основы объединяются общей семантикой "причинять ущерб, обманывать", пополняется новым образованием: *обманити* и *оманити* (от *манити* – "обманывать" [14, вып. 9, с. 27]): И будеть такъ князь Александръ насъ *оманя* не на дружбу лицемъ ударилъ (Крым. д. 1, 264. 1489г). В лингвистической литературе отмечалось, что огласовке *обман* хронологически предшествует *оман*. С. Робертс говорит по этому поводу: «Изменение *оман* на *обман* соответствует тенденции более частого употребления *об-*, чем *о-* перед корнями, начинающимися с *м*» [8, с. 224]. На наличие в языке глагола *обманити* указывает производное от него существительное *обманка* (ср. *приманка*) – "обман, ложное или хитрое действие, уловка": А отманский государь всему тому не потачилъ, знаетъ его собачью *обманку*, а захочетъ государь съ тобою дружбы. (Крым. д. II, 706, 1521 г). С. Робертс возводит такие образования,

как *обманка* и *обманеные* к *обманути* и, следовательно, отождествляет образования *обманити* и *обманути* [8, с. 223]. Однако с этим нельзя согласиться. Если производное *обманити*, принимая во внимание смысловые отношения между мотивированным и мотивирующим, является результативным глаголом, то образование *обманути* свидетельствует, скорее всего, о расширении круга мотивирующих основ, где значение "обманывать" вносится в дериват не мотивирующим глаголом, а словообразующим формантом. Ср.: *обманути* и *оманути* (от *манути* – "делать знак рукой или головой" [14, вып. 9, с. 28]) – "ввести в заблуждение каким-л. способом, обмануть": И яко не имут же *оманути* его лжами... (Каз. ист., 133. XVI в.).

Языковой материал отражает взаимодействие в старорусский период семантики "обманывать, приносить ущерб" с общим для производных от глаголов движения значением "направить движение мимо": *обвести* – "провести мимо, не показать, утаить"; *обводити* – "проводить мимо, не показывать утаивать"; *объѣхати* – "пропустить при переписи". Вероятно, подобные образования сыграли немаловажную роль в оформлении рассматриваемой модели глаголов: благодаря высокой регулярности употребления глаголов движения и производных от них, в сознании носителя языка за приставкой *об-* окончательно закрепляется значение "обманывать, приносить ущерб". Однако из этого не должен следовать вывод о восхождении семантики "обманывать, приносить ущерб" к общему для производных от глаголов движения значению "направить движение мимо объекта". Значение "обманывать, приносить ущерб" складывалось, как показывает исследуемый материал, в кругу производных от эволютивных основ в рамках результативного способа действия. Начало оформления данной семантики относится, по-видимому, к дописьменному периоду (ср. приведенный выше глагол *обѣсити* – "повесить кого-л." и, например, имеющееся в словенском языке образование *obesit'* – "повесить"). Лишь к середине старорусского периода происходит наложение данной семантики на одно из пространственных значений производных от глаголов движения. К XVII в. описываемое вторичное конкретное значение приставки *об*-окончательно оформляется, о чем говорят фиксируемые в СРЯ XI–XVII образования: *обвѣсити* – "обмануть в весе"; *обобрати* и др.

Таким образом, анализ процессов четвертой ступени семантической эволюции показывает, что под вторичными конкретными следует понимать такие значения приставок, которые не соотносятся и в историческом плане н и к о г д а не соотносились с первичными локальными, а по своему происхождению восходят непосредственно (например, накопительное) или опосредованно (интенсивное) к семантике результативности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Маслов Ю.С.* Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958.
2. *Сигалов П.С.* Вопросы теории русского исторического словообразования: Дис. ... докт. филол. наук. Тарту, 1977.
3. *Баженова С.И.* Система способов глагольного действия в древнерусском языке XI–XIV вв.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.
4. *Кузнецова И.В.* Из истории генетически безъеровых предлогов-приставок на *-з* в русском языке (Формирование предложноприставочного параллелизма): Дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1974.
5. *Słofski S.* Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim (starobułgarskim). Warszawa, 1937.
6. *Koblischki Z.* Das slavische Verbalprifix *ob-*. Berlin, 1957.
7. *Krupianka A.* Formacje czasownikowe z przedrostkiem *o-*(*ob-*) w języku polskim // Prace wydziału filologiczno-filozoficznego. T. 20- z 2. Toruń, 1969.
8. *Roberts C.B.* The origins and development of O(B) – prefixed verbs in russian with the general meaning "deceive" RLing. 1981. № 5.
9. *Алексеева А.П.* Из истории приставочного глагольного словопроизводства (На примере образований с *об-* и *о-*): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1978.

10. *Архангельская Э.М.* Семантическая эволюция предлогов и приставок в истории русского языка XI–XVII вв. (На примере приставки и предлога *на-*): Дис. ... канд. филол. наук. Рига, 1983.
11. *Архангельская Э.М.* Семантическая эволюция предлогов и приставок в истории русского языка XI–XVII вв. (На примере приставки и предлога *на-*): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
12. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. М., 1958.
13. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–IV. М., 1988–1991.
14. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–17. М., 1975–1991.
15. Словарь русского языка XI–XVII вв. Указатель источников. М., 1975.
16. Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1–6. Л., 1984–1991.
17. Словарь русского языка XVIII в. Указатель источников. Л., 1984.
18. Словарь русских народных говоров. Вып. 19. Л., 1983; Вып. 20. Л., 1985.
19. Словарь русского языка Т. I–IV. М., 1985–1988.
20. *Бородич В.В.* К вопросу о видовых отношениях старославянского глагола // Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. 1954. Т. IX.
21. *Бондарко А.В., Буланин Л.Л.* Русский глагол. Л., 1967.
22. *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.
23. *Ермакова О.П.* Проблема лексической семантики производных и членимых слов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1984. С. 30.
24. *Сигалов П.С.* История русских ограничительных глаголов // Труды по русской и славянской филологии. Серия лингвистическая. Тарту, 1975. С. 141.
25. *Силина В.Б.* История категории глагольного вида // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
26. *Силина В.Б.* Развитие категории глагольного вида в русском языке XI–XVII вв. (формирование видовых корреляций): Автореф. дис. .... докт. филол. наук. М., 1985.
27. *Нефедьев М.В.* Глаголы с приставками *на-, об-(обо-)* в русском языке XI–XVIII вв.: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1992.
28. *Тихонов А.Н.* Глаголы с чистовидовыми приставками в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1963. С. 7.
29. *Шмелев Д.Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964. С. 202, 206.
30. *Шмелев Д.Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 184.
31. *Тихонов А.Н.* Чистовидовая приставка *на-* в современном русском языке // Исследования по русскому языку. Тр. Самарканд. гос. ун-та. Самарканд, 1962. С. 150–151.
32. *Авилова Н.С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

Проблемы русской лексикографии

© 1994 г.

ПАМЯТИ С.Г. БАРХУДАРОВА

8 марта 1994 года исполнилось 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Степана Григорьевича Бархударова – известного русиста, лексикографа, организатора науки и педагога, автора самых популярных в стране в 1940-60-х годах учебников по русскому языку, члена авторского коллектива знаменитых русских словарей – Большого академического в 17-ти томах. Малого академического в 4-х томах. Исторического словаря XI–XVII вв. Имя С.Г. Бархударова с благодарностью и любовью помнят и чтят сотни языковедов России и теперешних стран СНГ. Руководимый им в течение многих лет Научный совет по лексикологии и лексикографии АН СССР провел гигантскую научную и организационную работу, способствовавшую развитию русской лексикографии, становлению лексикографических исследований и развертыванию практической словарной работы по национальным языкам в бывших республиках СССР.

Продолжая эти традиции, Научный совет по лексикологии и лексикографии РАН провел в марте этого года конференцию "Лексикографические идеи и проекты конца XX столетия", посвященную памяти замечательного ученого. Некоторые доклады участников этого форума лексикографов любезно согласился опубликовать журнал "Вопросы языкознания". Предваряя публикуемые статьи, я хотел бы обратить внимание читателя на следующее.

Еще десять лет назад, на открытии первой конференции по проблемам создания Машинного фонда русского языка, мне приходилось говорить о том, что основой фонда должны стать лексикографические идеи, идеи лексикографической параметризации языка и его словарного представления. Тогда идеальным представлялось достичь такого состояния лексикографической обработки языковых данных, при которой в фонде имелось бы на каждое слово "досье", содержащее полную семантическую, грамматическую, стилистическую, прагматическую и др. информацию о нем. За прошедшее с тех пор время многое изменилось: развивались естественным образом представления и об устройстве самого Машинного фонда, и о способах компьютерной обработки, хранения и использования языковой информации изменились технические средства, шагнула вперед теория и некоторым образом трансформировалось идеализированное ранее представление о процессах накопления и отражения в "досье" лингвистических знаний о каждом слове.

Как видится это теперь, определились две линии компьютерной репрезентации языка и знаний о языке – словарная и текстовая. Первая из них, близкая в своих теоретических посылках к "методологической программе" (вероятно, можно уже сказать – "школе") Ю.Д. Апресяна, ориентированной на "интегральное описание языка", развивает идеи "лексических баз данных" (статьи Г.И. Кустовой, Е.В. Падучевой и Е.В. Рахилиной). В такой базе слово получает полное, потенциально исчерпывающее описание, из которого при необходимости могут быть актуализированы в заданном словаре самые разные аспекты плана его выражения или содержания. "Три кита", три лексикографических закономерности, на которых основывается данный подход – максимальная параметризованность информации, системность ее подачи и полнота, – должны быть заложены уже в исходное, заранее структурированное представление данных, т.е. в лексическую базу, что требует большой по объему аналитической работы, предшествующей формированию такой базы. Структура "досье" моделирует при этом интуицию исследователя, а шире – носителя языка.

Другая линия, теоретически выраженная, не опирающаяся на явно сформулированную

методологическую программу, но тем не менее противостоящая первой, может быть, менее последовательно и отчетливо ориентирована на текстовую репрезентацию языка, на представление его в виде больших корпусов текстов. Актуальные воплощения той или иной конкретной информации о слове, содержащейся в таком исходном представлении (собственно, в потенциально полном наборе контекстов слова), достигаются путем построения гипертекстов. Тогда "досье" на слово выглядит как гипертекстовая структура, а упомянутые три кита современной лексикографии распределяются иным образом: полнота характеризует исходные, т.е. текстовые, данные, а максимальная параметризованность и системность становятся результатом последующей аналитической обработки этих данных с целью заданного словарного представления (статьи Г.А. Золотовой и А.Н. Баранова).

Публикуемые здесь статьи, как и другие прозвучавшие на конференции доклады продемонстрировали, что наметившаяся в лингвистике последних десятилетий тенденция к лексикографической параметризации языка получила дополнительный импульс с развитием компьютерной лексикографии. Имя выдающегося ученого русской лингвистической школы Степана Григорьевича Бархударова, так много сделавшего для развития русской лексикографии, объединило в рамках конференции самые разнообразные идеи и проекты, работа над которыми является условием и одновременно результатом прогресса как теоретической лингвистической мысли, так и практического отечественного словаростроения.

Ю.Н. Караулов

© 1994 г. Г.А. ЗОЛОТОВА

О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Взаимодействие лексики и грамматики – не только основа функционирования языковых единиц, это и путь движения лингвистики: развитие грамматических идей делает возможным и неизбежным дальнейшие шаги в лексикографии, и, наоборот, успехи словарного дела стимулируют грамматику и предъявляют к ней свои требования.

Такое "челночное движение" наблюдаем в наше время и в плодотворном воздействии семантики на грамматические теории и в обогащении лексикографических представлений слова грамматическими сведениями [1–14].

Дискуссии о соотношении семантики и синтаксиса отражают трудности грамматических концепций, поиски непривычных способов описания (или сопротивление им), но это не проблемы грамматики как языкового строя: строй языка органично стоит на этом взаимодействии.

Попытаемся поглубже вникнуть в смысл ставшего привычным словосочетания "взаимодействие лексики и грамматики", оценить меру постижения этого языкового феномена обеими заинтересованными сторонами, лексическим и грамматическим учением.

Традиционное назначение словаря – определить значение слова, его "лица необщее выраженье", его отличие от других слов и, следовательно, место среди других единиц своего, лексемного, уровня. Иными словами, установка словаря – на детальную дифференциацию лексем. Опыты рассуждений о системе в лексике также устремлены были к поискам и обоснованиям тех или иных способов группировки лексем по смысловым сходствам и различиям ("лексические поля", "лексико-семантические группы", "тематические группы", "предметные группы", синонимические ряды, омонимы и антонимы и др.).

Самым значительным шагом в словарной систематизации лексики была концепция, разработанная в 60-70 годы И. Мельчуком, А. Жолковским и Ю. Апресяном и фрагментарно осуществленная в венском издании "Толково-Комбинаторного Словаря русского языка" [15]. Аппарат так называемых лексических функций позволил

выявить во множестве слов регулярные семантические элементы, организующие их значения и связи. Через тот или иной набор функций достигается единообразное, формализованное описание значения слова, в его и стандартных, типовых, и идиоматичных компонентах. Смело перешагивая через традиционные границы "уровней", авторы неожиданно, но убедительно объединяют в "лексических функциях" явления и словообразования, и лексико-семантических отношений, и фразеологических связей, и синтаксических функций, и субъективно-оценочных характеристик. Вся эта многообразная информация работает на слово. Довольствуясь весьма схематичными синтаксическими представлениями того времени и не ставя, естественно, задач извлечения и обобщения нового грамматического знания из своего материала, Словарь остается благодарным источником для подобных целей.

Грамматическая информация, сведения о "сочетаемости", о "валентностях" даже при расширении ее источников до "коммуникативных" сфер темо-рематического членения, порядка слов, модусной рамки, как это делается в новом словаре Ю.Д. Апресяна, названном "Интегральным словарем" (см. в [16–18]), и в других современных работах в области семантики и лексикографии, ориентирована в том же атомистическом направлении – к отдельному слову, к все более доказательному вычленению данного слова или данного его значения из множества[1].

Пополнение и уточнение дифференциальных признаков слова, совершенствование наших представлений о значениях слов и способах упорядочить, систематизировать эти представления – важнейшая и необходимая компонента лингвистического знания, и трудам многих поколений лексикографов этим знанием мы обязаны.

Вместе с тем возможно предположить иную ориентацию лексикографических интересов. Ведь слово живет не в сообществе лексем. В системе мы находим ему место, извлекши его из живой речи, из текста. Только в речи реализует оно все свои смысловые и грамматические потенции. В самом этом утверждении еще нет нового. Но нельзя не признать, что "взаимодействие лексики и грамматики" в словарной практике осуществляется в односторонней грамматической поддержке лексикологических задач. Какова же отдача нашего знания о множестве слов, толкованных в словарях, грамматике? И какой отдачи можно ждать для грамматики, если, конечно, понимать под грамматикой не то, что втиснуто в школьные рамки, а наше знание о функционирующей в коммуникативном процессе языковой системе?

Современные грамматические представления уже позволяют увидеть: как в зерне запрограммирован его генетический код, его прошлая, доамбарная, и будущая, полевая жизнь, так и в слове хранится память о дословарной жизни и программа его речевых реализаций, реализаций его свойств, индивидуальных, единственных и родовых, типовых, обобщенных на разных ступенях абстракции, избираемых и управляемых грамматикой – в разных коммуникативных целях. Реализация этого взаимодействия слова и грамматики завершается в тексте, или точнее, текстом. Если текстом считать любой коммуникативно значимый продукт речевой деятельности, будь то спонтанный бытовой диалог или многотомный труд писателя, ученого, текст все убедительнее предъявляет свои права на признание главным лингвистическим объектом, тем целым, в котором и которому служат как части, как элементы языковые единицы всех уровней.

Вопрос, очевидно, в том, какую словарную информацию способна обобщить грамматика и как организовать ту грамматическую сеть, которая может уловить функционально значимую информацию, как фиксируемую словарями, но не обобщенную, так и скрытую в словах, но пока не востребованную.

Кроме собственно словарей, постановка этого вопроса и поиски ответа на него подготовлены множеством идей и наблюдений отечественных и зарубежных линг-

---

[1] Именно этот подход закреплен и в энциклопедической формулировке: "Возможность сочетания слова с другими словами теснейшим образом связана с его значением. Для многозначных слов именно сочетаемость и определяет то, что слово выступает в том или другом значении" [19].

вистов. Поворот к семантике, интерес к речевой ситуации, обращение к роли говорящей личности, в развитие Виноградовского "образа автора", Бахтинской "точки зрения", внимание к композиционно-синтаксической структуре и типологии текста делают все очевиднее, что проблематика текста заключается не только и не столько в технике связности, сколько в средствах и способах выражения содержания, коммуникативного замысла, ради чего и существует сам язык.

В.В. Виноградов, еще в работе «О стиле "Пиковой дамы"» [20], показал, что глагол, будучи "центром грамматической системы", основным манифестантом предикативности, является и композиционно-синтаксическим стержнем текста, средством его организации и членения.

Интенсивные исследования последующих десятилетий в области глагола – его лексических значений, семантики, грамматических категорий, особенно видо-временных, его роли в структуре текста – убеждали во взаимной обусловленности семантического типа глагола, его грамматических свойств и его речевых функций. В этом общем тезисе – и результат работы многих ученых и коллективов, но также и плацдарм для дальнейшего продвижения в разных направлениях, с разными практическими и теоретическими целями.

Одно из возможных направлений разрабатывается в Институте русского языка РАН в проекте "Функционального словаря русских глаголов".

Представление системы синтаксических единиц в "Синтаксическом словаре русского языка" [11], с одной стороны, и выявление коммуникативных регистров речи – с другой, свидетельствуют, что не показанная словарями или недостаточно систематизированная информация, заключенная в глагольном слове, которой определяется функционирование глагола в предложении и в тексте, может быть организована лексикографическим способом. Возникает потребность в словаре нового типа, задача которого – в словарных параметрах охарактеризовать систему русских глаголов так, чтобы их категориально-семантические и грамматические свойства были ориентированы на раскрытие их коммуникативных потенций, реализуемых в определенных регистрах речи.

Попытаемся в примерах увидеть эту заложенную в слове программу его речевого функционирования, или его функциональную парадигму. Сопоставим значения глагола *говорить* в таких предложениях, как (1) *Она говорит с ним о сыне* и (2) *Реакция зрителей говорит о понимании режиссерского замысла.*

Категориальной семантикой глагола определяется и типовое значение предложений (1) и (2), и их компонентный состав. Сближает оба предиката сема "выражения информации". Далее по всем ступенькам анализа можно наблюдать различия.

В (1) семантика речевого действия предопределяет предикативную связь глагола с именем личного субъекта и необязательное, но отвечающее смысловым потребностям распространение компонентами со значением адресата (*кому, с кем, перед кем*), делиберата (*что* – для ограниченного круга имен, *о чем, про что, насчет чего, по поводу чего* и др., а также в виде придаточного с союзом *что* или прямой речи), оценки-характеристики речи, реже – технического средства (*по телефону, по радио, в статье, в книге* и т.п.):

И кот ученый Свои мне сказки говорил (Пушкин); *И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: – Так и так...* (Лесков); *– Говорили вы с ним об этом, Иван Платоныч?* (Гаршин); *Вот она заговорила. Улыбнулась* (З. Гиппиус); *Но только не надо Со мной о любви говорить* (Ахматова); *Вы говорите про Ливан... Да что уж тот Ливан, ей-Богу!* (Окуджава).

Во (2) глагол – неакциональный, не обозначает речевого действия, но символизирует логическое отношение типа умозаключения между двумя фактами, событиями, пропозициями: наличие одного явления позволяет судить о наличии другого. Такие глаголы были названы компликативами или пропозитивными связками. Если в конструкции (1) называются и лицо-отправитель информации, и лицо-получатель информации, то в конструкции (2), полипредикативной, лицо, извлекающее инфор-

мацию из сопоставленных явлений, не именуется, позиции личного имени в предложении нет. Оба компонента выражены отвлеченными именами, пропозитивно, реже конкретными, но с пропозитивным прочтением:
Его туалет говорил о непринужденности вкусов (Боборыкин); *Обветренное и загорелое лицо его и заскорузлые руки говорили о том, каким тяжелым трудом он добывал себе средства к жизни* (Арсеньев); *Тишина и мягкий свет говорили о жизни устойчивой и разумной* (Паустовский).

Утрата глагольным словом акциональности влечет за собой обеднение и грамматических возможностей. Отсутствие видовой коррелятивности у *говорить* (2) словари отмечают [21–25]. Не отмечено отсутствие форм 1 и 2 л., неупотребительность императива, деепричастия, возвратной формы, практически и инфинитива.

Богатый инвентарь суффиксально-префиксальных средств, обогащающих и модифицирующих значение *говорить* (1) (*заговорить, поговорить, переговорить, переговариваться, договариваться, заговориться, поговаривать, уговорить, наговорить, наговориться* и т.д.) не существует для *говорить* (2), так же как и субстантивные отглагольные образования, относящиеся к разным оттенкам и употреблениям *говорить* (1), но не *говорить* (2) (*говор, говорение, говорильня, говорун*).

Синтаксические различия между *говорить* (1) и *говорить* (2) показаны выше в наборе компонентов организуемых ими конструкций. Обратим внимание и на то, что *говорить* (1) может быть полноценным предикатом и без распространяющих компонентов (*Она заговорила*; *Он говорит, а я не слушаю и думаю о своем*), тогда как конструкция (2) без второго именного компонента разрушается. Это свидетельствует об ином соотношении лексических и грамматических факторов в каждой из конструкций. То же подтверждается и различиями в синонимических связях того и другого глагола.

Говорить (1) вступает в синонимический ряд с глаголами речевого действия (ср. *беседовать, общаться, сообщать, произносить, проговорить, промолвить, изречь...*) *Говорить* (2) уходит из ряда речевых действий и оказывается в синонимическом ряду с глаголами *показывать, демонстрировать, обнаруживать, означать, выявлять, свидетельствовать*. Более того, полипредикативное предложение с *говорить* (2) значительно податливее к собственно конструктивным перестройкам, ср., например: *По его костюму можно было судить о непринужденности вкусов*; *Непринужденность вкусов демонстрировал и его костюм* и т.д.

Синтаксические различия ведут далее в текст. Располагая полной функциональной парадигмой, глагол *говорить* (1) может представлять речевое действие и в актуальном значении, в его конкретной длительности и наблюдаемости (*Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит?* – репродуктивный регистр речи), и в узуальном, повторяющемся (*Кот ученый свои мне сказки говорил* – информативный регистр речи), и в обобщенном, вневременном (*Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи варит* – генеративный регистр речи). Абсолютивное употребление говорить (1) с модальным оттенком умения, способности (*Ребенок уже говорит*; *По-английски она читает, но не говорит*) замкнуто рамками информативного регистра в его описательно-характеризующей разновидности.

Глагол *говорить* (2), с его неакциональной семантикой, морфологическими и функциональными ограничениями, реализует свое значение только в полипредикативной конструкции, представляющей информативный регистр.

Основные словари, варьируя Ушаковскую разработку, помещают случай (2) на 5-е место в ряду неравновесных значений, выделяемых у глагола *говорить*. Мера сходств и различий позволяет предложить иную группировку.

Первые четыре пункта словарных статей (в 4-томном, с более четкой дифференциацией, – три пункта) представляют по существу одно значение – речевого действия лица. Вряд ли достаточно оснований разносить по разным значениям примеры

Говорить об успехах товарищей и *Говорить о новых открытиях* (2-е и 3-е зна-чения в Словаре Ожегова-Шведовой). Кстати, заимствовав ушаковскую формулиров-ку 3-го значения, Словарь Ожегова упустил ту конструкцию, к которой она относится: *Высказывать мнение, суждение о ком-чем-н.* – в Словаре Ушакова это значение выделено было не для обозначения просто делиберата, была замечена особая, авторизующе-квалификативная конструкция: *О нем говорят как о подающем надежды писателе*, "скрепом" которой служит формула *говорить о ком-чем как о ком-чем*, включающая ее в ряд синонимичных авторизованных построений, соединяющих модель мнения, оценочного суждения с моделью квалификативной: *Говорят, что он способный писатель*; *Считается, что он способный писатель*; *Он считается способным писателем*; *Его считают способным писателем*; *По мнению многих, он способный писатель*; *Многие находят его способным писателем* и т.д.

Не оценив связи формулировки и ее иллюстрации, Словарь Ожегова потерял из виду эту конструкцию для себя и для других словарей, а вместе с тем утратил четкость оснований деления общего пространства глагола *говорить*.

Конструкция с формулой *говорить о... как о...* всплывает лишь в материалах к Интегральному словарю [16] (словарная статья "Говорить" Анны Зализняк), где находят место и пример "*Мне о вас говорили как о порядочном человеке*" (Войнович) с толкованием "сообщать", и пример "*Ненависть к инакомыслию говорит о том, что инакомыслие существует*" (Аксенов) с толкованием "означать". Но качественное различие между значениями глагола *говорить*, обусловленное степенью синтаксической сложности организуемых ими конструкций и предназначенностью их к определенным коммуникативным типам речи, – эта сторона дела остается за рамками лексикографических интересов словарников.

Надо признать, что конструкция *говорить о... как о...* (обозначим ее *говорить* (3)) не облегчает классификационные решения. Четкое противопоставление *говорить* (1) и *говорить* (2) как акционального и неакционального глаголов не поддерживается случаем *говорить* (3), поскольку в последнем глаголе на значение речевого действия накладывается авторизующая, компликативная функция. Дело становится яснее, если обратиться к таким коммуникативным категориям, как модус и диктум. С этой точки зрения, *говорить* (1) – диктальный глагол, *говорить* (2) – модусный, а *говорить* (3) объединяет в себе диктальное и модусное значения. Это последнее перевешивает, не оставляя возможности глаголу *говорить* (3) участвовать в текстах репродуктивного регистра. Семантика глагола, его синтаксические функции и коммуникативные возможности оказываются в неразрывном взаимодействии. Видеть и принимать в расчет это взаимодействие – значит получить новые важные импульсы к идентификации, исчислению и систематизации лексических значений. Вместе с тем это стимулы к постижению новых закономерностей грамматической организации речи. Ведь за рассмотренными особенностями семантики и грамматики глагола *говорить* – целый ряд аналогичных соотношений, когда на базе конкретного акционального глагола развиваются отвлеченные, компликативные значения с ущербной парадигмой и ограниченными коммуникативными возможностями. Ср., например:

Художник ***показывает*** *свои новые картины*	*– Выставка* ***показывает*** *возросшее мастерство художника*
Лаборант ***демонстрирует*** *опыт*	*– Полученные результаты* ***демонстрируют*** *новые свойства материала*
Оппонент ***подтвердил*** *свое мнение*	*– Успех защиты* ***подтвердил*** *правоту диссертанта*
Коллеги ***объясняются*** *после дискуссии*	*– Появление трещин* ***объясняется*** *недоброкачественной сваркой*

и т.д.

В качестве другого примера сопоставим два значения глагола *выходи́ть*: *Люди* ***выходят*** *на площадь* (1); *Окна* ***выходят*** *на площадь* (2).

(1) *Из шатра, толпой любимцев окруженный,* ***Выходит*** *Петр* (Пушкин); ***Выхожу*** *один я на дорогу* (Лермонтов); *Ранними летними росами* ***Выйдем*** *мы в поле гулять* (Блок);

(2) *При доме находился большой сад; одной стороной он* ***выходил*** *прямо в поле за город* (Тургенев); *Окно* ***выходило*** *прямо в сад* (А. Платонов); *Мой дом стоит в лесу. Мой лес в окно глядится. Окно* ***выходит*** *в лес* (Окуджава).

В словаре Ушакова второе значение выделено как одно из 13 значений глагола *выходить* (с пометой *сов. нет*). В Словаре Ожегова второе значение не отмечено (поскольку *выходить* отослано к *выйти*, а у *выйти* этого значения нет). В 4-х томном Словаре, кроме (1), соотносительного со значениями сов. *выйти*, дано (2): *Быть обращенным куда-л., в какую-л. сторону.* Словарь Ожегова-Шведовой повторяет структуру этой статьи, добавляя ко (2) значению ограничения по лицу *(1 и 2 л. не употр.)* и указывая семантический круг субъектов: о строении, его частях, об участке местности.

Здесь, как и в предыдущем примере, с точки зрения категориально-грамматической и коммуникативно-функциональной, существенна противопоставленность акционального глагола в (1) и неакционального во (2).

Выходить (1) представляет глаголы движения, перемещения в пространстве. Действие это совершается живыми существами, поэтому первый компонент модели предложения с подобным глаголом – обычно имя субъекта одушевленного (в любом из трех лиц). На основе своего рода метонимии или скрытой каузации принято это действие приписывать и некоторым техническим средствам передвижения (*машина, поезд, пароход выходит*, но не *самолет, велосипед*). По смысловой потребности глагол перемещения сопровождается компонентами со значением пространственных ориентиров (начальной и/или конечной точки, пути движения), возможен целевой компонент.

Выходить (2) представляет глаголы, выражающие локативные отношения между предметами, применительно к достаточно узкому кругу предметов, пространственно ориентированных, имена которых и выступают в роли субъекта предложения. Имя предметного ориентира в винительном или дательном падеже с предлогами (*на улицу, в сад, к морю, под арку*) составляет предикат вместе с лексически ослабленным глаголом *выходить* (2): сам глагол информативно недостаточен, а именная синтаксема-директив без этого глагола может служить предикатом: *Дом – в тихом месте, окна – в сад*; *В лакейской... еще прохладно, ...окно ее на север* (Бунин). Компоненты со значением отправной точки и целевым невозможны. Отсутствует видовая пара, неупотребительны 1 и 2 л субъекта, императив, деепричастие.

Словообразовательная коррелятивность *выходить* (1) с другими префиксальными глаголами движения (*Люди выходят..., проходят, заходят, приходят, уходят* и др.) чужда глаголу *выходить* (2), одинокому в словообразовательном пространстве, так же как и возможность номинализации (*выход людей на площадь*, но не **выход окон в сад*).

Неакциональность значения, неполнота грамматической парадигмы, словообразовательные ограничения порождают и ограничения в функциональной парадигме глагола. В отличие от *выходить* (1), способного участвовать во всех коммуникативных регистрах речи, *выходить* (2) организует предложения, участвующие лишь в описательно-характеризующем тексте, репродуктивном, если картина предстоит взору наблюдателя, информативном – вне хронотопа наблюдателя.

Как и в первом примере, регулярность наблюдаемых соотношений подтверждается

аналогиями в парах полисемичных глаголов:

Туристы ***пересекают*** *площадь*	–	*Рельсы* ***пересекают*** *площадь*
Солдаты ***окружают*** *деревню*	–	*Деревню* ***окружают*** *леса*
Стадо ***спускается*** *к реке*	–	*Сад* ***спускается*** *к реке*
Пастух ***ведет*** *коров к реке*	–	*Дорога* ***ведет*** *к реке*

и т.д.

Глагол-предикат последнего предложения в комплекте своих значений представляет разные категориальные разряды, различающиеся и возможностями своей коммуникативной реализации, ср.:
(1) *Пастух ведет коров к реке* – глагол акциональный (каузация перемещения), с полной грамматической и функциональной парадигмой;
(2) *Дорога ведет к реке* – глагол неакциональный, выражает локативные отношения, парадигма ограниченная, модель предназначена для информативно-описательного регистра;
(3) *Учитель ведет опрос учеников* – неакциональный вспомогательный глагол, компенсатор при девербативе, парадигма ограниченная, информативный регистр;
(4) *К беде неопытность ведет* – неакциональный глагол-компликатор, выражающий каузативные отношения между двумя пропозициями, парадигма ограниченная, генеративный регистр.

Еще на одном примере поднимемся по ступенькам от мельчайших элементов смысла слова к его речевому функционированию. В.В. Виноградов, отмечая несвойственность глагольным суффиксам многозначности, пишет: "Лишь суффиксы *-и(ть)* и *-е(ть)*, с помощью которых производятся глаголы от имен прилагательных, выражают грамматическое противопоставление двух разрядов: д е л а т ь к а к и м (*темнить*) и д е л а т ь с я к а к и м (*темнеть*)". Там же иллюстрация из Достоевского: "И позвольте вас спросить, почему вы давеча *остолбенели* на месте: что во мне такого *остолбеняющего*?" [1, с. 54].

Итак, два соотносительных смыслоразличительных форманта слова образуют от одних и тех же адъективных основ два семантико-грамматических разряда глаголов:
(1) *темнеть, светлеть, чернеть, белеть, синеть, зеленеть, толстеть, стройнеть, бледнеть* и др.
(2) *темнить, светлить, чернить, белить, синить, зеленить, толстить, стройнить, бледнить* и т.д.

Глаголы первого разряда непереходные, неакциональные, они не называют собственно действия, но обозначают а) зримое изменение признака предмета (неодушевленного или одушевленного), а также среды, пространства, либо б) зрительно воспринимаемый наблюдателем признак предмета, названный в адъективной основе; см. примеры:

1а) ***Светлеют*** *небеса* (А.К. Толстой); *Уже* ***темнело*** *и на небе показывались там и сям звезды* (Чехов); *Над равниной* ***побелело*** (Блок); ***Почернел***, *искривился бревенчатый мост* (Ахматова); *Между тем на улице* ***потемнело***, *стало накрапывать* (Пастернак).

1б) ***Белеет*** *парус одинокий В тумане моря голубом* (Лермонтов); *Так, руки заложив в карманы, Стою.* ***Синеет*** *водный путь* (М. Цветаева); *Казалось – сейчас* ***Забелеет*** *прозрачный подснежник* (Ахматова); *Над рекой, где* ***чернеет*** *камыш, Ты летишь над обрывами* (Заболоцкий).

Глаголы второго разряда переходные, каузативные, обозначают воздействие лица, явления, предмета (его наличия, присутствия) на объект, каузирующее в нем возникновение или изменение признака, обычно визуального характера:
Забыла волосы ***чернить*** *И через три дни поседела* (Грибоедов); *Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них,* ***белили*** *стены* (Гоголь); *В эти*

же дни в домах ***чернили*** *парадные сапоги, б е л и л и ретузы...* (Лесков); *И солнце* ***Золотило*** *кудри* (Блок); *Драпировка. . еще больше* ***темнит*** *кабинет* (Куприн); *Не сможешь* ***затемнить*** *– мне вспыхнувшего – дня* (Бальмонт).

В современной разговорной речи глагол *темнить* употребляется еще и в качестве оценочно-квалифицирующего коммуникативное поведение говорящего как уклончивость, нежелание или невозможность быть искренним, ср.:
– Я еще не знаю. – Ты что-то ***т е м н и ш ь****, сестренка* (В. Конецкий); *Почему комбинат т е м н и л и не признавался в том, что бумага отгружена, выяснилось при раскредитовке вагона* ("Книжн. обозрение", дек. 1993 г.)

Все эти глаголы объединены семантикой зрительно воспринимаемого признака (к нему же восходит и последний случай переносного употребления *темнить*) и, следовательно, косвенным указанием на присутствие перцептора-говорящего. В литературе отмечалось, что глаголы и глагольные конструкции со значением сенсорного восприятия по своему семиологическому характеру заключают в себе наряду с предметно-понятийной отнесенностью элементы лично-пространственного дейксиса. Позиция же перцептора по отношению к наблюдаемому процессу сигнализирует принадлежность текстового фрагмента к разным коммуникативным регистрам речи.

Предложения с глаголами первого разряда, на *-е(ть)*, демонстрируют преимущественно репродуктивный (изобразительный) регистр, характеризующийся "присутствием" перцептора в хронотопе происходящего. Время глаголов – чаще настоящее актуальное либо перфектно-результативное, обращенное к моменту наблюдения. Глаголы в прошедшем и – реже – в будущем времени сигнализируют разрыв с моментом речи, но сохраняют одновременность процесса и его восприятия, как бы передвигая позицию наблюдателя в соответствующий актуальный для него нарративный план.

Если речь идет о признаке итеративном, узуальном, кумулятивно-качественном, сам хронотоп признака перестает быть единым и обозримым, перцептор как бы поднимается над ним и обобщает многократный опыт наблюдения или знания. Ср.: *Память о солнце в сердце* ***слабеет*** (Ахматова); *Масляные краски с годами* ***темнеют*** (Даль); *Надо мной чтоб, вечно* ***зеленея****, Темный дуб склонялся и шумел* (Лермонтов); ***Темнело*** *по вечерам только к полуночи* (Бунин).

Дистанцированность перцептора от конкретного, актуального явления, переход с уровня сенсорного восприятия на уровень знания, логического осмысления – показатели иного коммуникативного регистра, информативного.

Не обозначая действия, глаголы на *-е(ть)* функционируют в предложениях, характеризующих признаки, свойства, состояния, а потому участвующих не в повествовательных, а в описательных, фоновых фрагментах текста, и в репродуктивно-описательной, и в информативно-описательной разновидностях коммуникативных регистров.

В качестве предикатов рассматриваемые глаголы на *-е(ть)* организуют монопредикативные двукомпонентные модели. Поскольку носителем признака изменения цвета часто оказывается окружающая наблюдателя среда, пространство, атмосфера, носитель признака, или субъектный компонент предложения, обозначается именем пространственной семантики в номинативе или в локативных формах (*Над равниной п о б е л е л о*; *Небеса* ***светлеют***; *В небесах* ***светлеет***; *За окном, на дворе, в комнате* ***темнеет***). Неназванность субъектного компонента (***Темнеет***.), в условиях его очевидности, избыточности, создающая при неразличении языка и речи иллюзию односоставности предложения, значима и синтаксически (потому что в речемыслительном акте не может быть признака, приписываемого ничему), и коммуникативно (потому что неназванность эта возможна только по отношению к хронотопу наблюдателя, следовательно, способствует дифференциации коммуникативных регистров).

Разряд глаголов на *-и(ть)*, с каузативной семантикой, создает более сложную конструкцию, по сути полипредикативную, поскольку в ней участвуют компоненты со

значением субъекта-каузатора (активного, произвольного или непроизвольного) и объекта воздействия, который вместе с тем является субъектом-носителем каузируемого свойства, а сам глагол-предикат заключает в себе значение и процесса воздействия, и признака, присваиваемого предмету ("делать предмет каким"), при этом *делать* имеет разное наполнение: это может быть и имя конкретного, наблюдаемого физического действия (*чернить волосы, белить стены, полотна*), но может быть и опустошенное, вспомогательное слово.

Какова же позиция наблюдателя в условиях взаимодействия двух ситуаций? Визуальный характер каузируемого признака предполагает взгляд перцептора, он может наблюдать и процесс воздействия, в том случае если это конкретная акция личного субъекта, но существенно то, что прямое наблюдение возникающего признака неотделимо здесь от знания его источника, от понимания причинно-следственной связи явлений. Осмысление и выражение говорящим каузативных, причинно-следственных (как и других логических) отношений – показатель информативного регистра в его повествовательной разновидности – при предикатах действия, и в описательной разновидности – при предикатах-характеристиках. Фрагменты информативного регистра организуются и квалификативно-оценочным предикатом типа разговорного *темнить* в вышеприведенных примерах.

Обратим внимание еще на одну грамматическую деталь. В моделированной формуле В.В. Виноградова различие между каузативным (*темнить*) и некаузативным (*темнеть*) значениями записано как *делать каким* и *делаться каким* Делаться в этом случае выступает в фазисном, инхоативном значении (*=становиться каким, начинать быть каким*). Но эта формула соотносима только с группой 1а (*Светлеют* небеса *=делаются, становятся светлыми* или *более светлыми*; *Темнело =становилось темно или темнее*). С группой 1б она не соотносится (*Белеет* парус – не: *делается, становится белым*). Вместе с тем сами глаголы группы 1а не соединяются с формантом *-ся*: глаголы непереходные и неакциональные, а изменение качества или состояния замкнуто в сфере субъекта-его носителя.

Глаголы же группы 1б почти все располагают парными вариантами *белеть-белеться, чернеть-чернеться, синеть-синеться* и т.п., почти совпадающими по смыслу: ***Равнины белеют*** *под снегом,* ***Чернеется*** *лес впереди* (Некрасов). Замкнутый в носителе, лишенный внутренней динамики, этот признак существует лишь постольку, поскольку он воспринимается наблюдателем, формант *-ся* здесь избыточен, и потому возвратный глагол в паре менее продуктивен, но признак выявляет себя, обнаруживает себя и усиливается реализоваться этой обращенностью вовне, к иной субъектной сфере.

Оппозиции переходность/непереходность, акциональность/неакциональность обусловливают для каждой из групп глаголов возможность/невозможность страдательных форм, глагольных и причастных. Визуальная наблюдаемость признака исключает или делает редким употребление глагола в 1 л. Ср. в стихотворении Блока, где лирический герой воображает себя кленом:

Зеленею*, таинственный клен,*
Неизменно склоненный к тебе

Анализ рассмотренных групп глаголов позволяет убедиться в том, что категориальная семантика глагола (разных ступеней обобщения), заложенная еще в его морфемном составе, предопределяет и ряд морфологических особенностей глагольного слова, и его синтаксические возможности в рамках предложения, и его функциональную парадигму, потенции в отношении коммуникативных регистров речи, организующих композицию текста. Оппозиция акциональность/неакциональность занимает ключевое положение среди функциональных категорий глагола.

Оптимальная структура словарной статьи еще не выработана, но очевидно, что намечаются четыре аспекта характеристики в "Словаре" глагольных лексем:

1. Категориально-семантическая дифференциация глаголов, задающая их роли в определенных моделях предложения и набор их грамматических форм.
2. Семантико-синтаксическая характеристика глаголов. Система синтаксем, описанная в Синтаксическом словаре [11] позволяет исчислить семный состав глаголов, предопределяющий их обязательные и факультативные связи с именными формами и, следовательно, компонентный состав организуемых ими предложений.
3. Коммуникативно-регистровые характеристики выявляют предназначенность глаголов и их моделей предложения к употреблению в определенных коммуникативных типах речи (или коммуникативно-типологические ограничения).
4. Субъективно-оценочные и стилистические характеристики регулируют функционирование глаголов в плане экспрессии, коммуникативной целесообразности, прагматики и стилевой маркированности.

Словарь будет научно-справочным изданием для широкого круга пользующихся языком и изучающих язык. Вместе с тем он представит новое семантико-грамматическое исследование русского языка.

Теоретическое значение Словаря можно видеть в том, что в нем 1) реализуется недостающий в лексикографии тип словаря, с новым способом лексикографической параметризации слова и 2) в грамматико-семантической структуре глаголов выявляются новые закономерные взаимодействия разных уровней языка и речи от лексики до текста.

Словарь должен показать, что лексическая система языка не замкнута в лексике, она определяется причинно-следственными связями с морфологией, синтаксисом и коммуникативно-речевыми свойствами категорий, разрядов, групп, к которым принадлежат лексические единицы. Словарь впервые не просто констатирует и описывает факты языка, но ставит вопрос и предлагает решения о причинных связях в языковой системе и ее функционировании.

Системность и функциональность как имманентные свойства языка или как принципы его изучения выступают не в качестве альтернативы, а в глубоком, необходимом друг другу и исследователю взаимодействии, подчиненном высшему принципу – коммуникативному назначению языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Виноградов В.В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.
2. *Виноградов В.В.* О некоторых вопросах теории русской лексикографии // ВЯ. 1956. № 5.
3. *Щерба Л.В.* Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
4. *Шмелев Д.Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
5. *Караулов Ю.Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.
6. *Булыгина Т.В.* Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
7. Семантические типы предикатов. М., 1982.
8. *Степанов Ю.С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.
9. *Золотова Г.А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
10. *Золотова Г.А.* О перспективах синтаксических исследований // ИАН СЛЯ. 1986. № 6.
11. *Золотова Г.А* Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, М., 1988.
12. *Арутюнова Д.Н.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
13. *Шведова Н.Ю* Лексическая система и ее отражение в толковом словаре // Русистика сегодня. М., 1988.
14. Теория функциональной грамматики. Л., 1987. 1990, 1991, 1992.
15. *Мельчук И.А., Жолковский А.К.* Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
16. *Апресян Ю.Д.* Интегральный словарь // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.

17. *Апресян Ю.Д.* Типы коммуникативной информации для толкового словаря // Язык: система и функционирование. М., 1988.
18. *Апресян Ю.Д.* Словарная фиксация синтаксических свойств лексем: взаимодействие словаря и грамматики // Wiener Slawistischer Almanach, Bd 25–26. Wien. 1990.
19. Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 127. Ст. Лексикология.
20. *Виноградов В.В.* О стиле "Пиковой дамы" // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2.
21. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Ушакова Д.Н. М., 1935–1940.
22. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. 22-е издание. М., 1990.
23. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1993.
24. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Евгеньевой А.П. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981–1984.
25. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. М.; Л., 1948–1965.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. Г.И. КУСТОВА, Е.В. ПАДУЧЕВА

СЛОВАРЬ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ

В статье содержится описание и лингвистическое обоснование экспертной системы "Лексикограф", разрабатываемой в ВИНИТИ межинститутской исследовательской группой, в которую, кроме авторов, входят Е.В. Рахилина, Р.И. Розина, М.В. Филипенко, Н.М. Якубова, Т.Е. Янко (программное обеспечение системы осуществляется И.С. Красильщиком и Е.Н. Хасиной), см. нашу первую публикацию [1][1].

В основе системы лежит идея представления словарной информации в виде лексической базы данных (БД) реляционного типа: информация о лексеме распределяется по признакам (полям), имеющим фиксированный набор значений; в результате пользователь может осуществлять поиск любой степени логической глубины в заданном множестве дескрипторов.

Система состоит из двух компонентов – собственно БД и экспертная часть. Основное внимание обращается на семантическую информацию о слове. Таким образом, речь идет, в сущности, о семантическом словаре, представленном в виде реляционной базы данных.

Для удобства разработчиков, БД поделена на несколько разделов. В данной работе речь идет о разделе "Глагол", который находится в стадии разработки. Раздел "Предметные имена" близок к завершению, см. [2] (в разработке этого раздела принимал участие В.А. Плунгян).

Словарная статья в Базе данных "Глагол" имеет следующие поля: 1) **заглавная лексема** (с примерами ее употребления в предложении); 2) **морфологическая характеристика** (по Грамматическому словарю [3]); 3) **актанты**; 4) **таксономическая категория**; 5) **толкование**; 6) **аспектуальная характеристика**; 7) **свод значений**.

Поле **актанты** и поле **толкование** в свою очередь делятся на подполя.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

Узловым семантическим признаком слова является его **таксономическая категория** (Т-категория); различаются: действия, процессы, состояния, происшествия и т.д., приблизительно по З. Вендлеру [4]. Т-категория играет такую же роль для семантики слова, как часть речи – для грамматики.

Система Т-категорий имеет иерархическую структуру; например, внутри Т-категории **процесс** различаются субкатегории **процесс предельный** (*таять*) и **процесс непредельный** (*кипеть*); с другой стороны, категорию **действие в его целостности** (в которую входят только глаголы СВ) можно объединить с категорий **действие в развитии** в более общую категорию **действие**.

Все существенные семантические характеристики глагола – парадигма частных видовых значений, падежная рамка и мн. др. – так или иначе связаны с его категориальной принадлежностью и, в конечном счете, предопределены ею. Способом представления Т-категории глагольной лексемы, ее структурным воплощением в нашей БД, является **формат толкования**. Каждой категории соответствует особый

[1] В 1993 году работа поддерживалась Российским фондом фундаментальных исследований.

формат, и, соответственно, все глаголы с одинаковым форматом толкования принадлежат к одной и той же категории (или субкатегории).

Предпосылкой форматирования является расчленение толкования на отдельные синтаксически независимые компоненты – аналогично толкованиям в [5] и особенно в [6] (и в противоположность синтаксически связным толкованиям в модели "Смысл ↔ ↔ Текст"). Компоненты имеют предикативную форму, например: 'Субъект действует'; 'Идет процесс в Объекте'; 'Объект перемещается' и под. Форматирование толкования достигается за счет того, что каждый его компонент представляется как значение некоторого **параметра** (один из вариантов идеи форматированного толкования реализован в [6], где компоненты толкования глаголов речи идентифицируются как исходная предпосылка, диктум или иллокутивная цель; ср. также частично форматированные толкования в [7], [8]). Примеры параметров: деятельность, результат, каузация, каузатор, процесс, предел, исходное состояние, новое состояние, экспозиция и под. С точки зрения БД, параметры – это названия подполей поля **толкование**. С точки зрения семантики глагола, параметр – это тип семантического компонента в семантическом разложении глагола и, соответственно, определенный аспект обозначаемой глаголом ситуации.

Толкование – это упорядоченный набор семантических компонентов, представленных как значения параметров. **Формат толкования** задается обязательным наличием в толковании определенных параметров.

Как уже говорилось, формат толкования глагола предопределен его принадлежностью к той или иной Т-категории. Так, для глагола Т-категории Действие обязательным (категориальным) будет набор параметров "деятельность" и "результат (соответствующий цели Субъекта)"; для глагола происшествия – "исходное состояние" и "новое состояние".

Кроме категориальных (форматообразующих) параметров, обязательных для толкования глагола данной Т-категории, в толковании могут быть факультативные параметры, т.е. такие, которые для каких-то слов или классов слов данной Т-категории принимают нулевое значение. Значение категориального параметра не может быть нулевым (т.е. компонент, характеризующий ситуацию по этому параметру, обязательно должен присутствовать в толковании); в самом деле, ситуацию, в которой отсутствует целесообразная деятельность и результат, нельзя назвать действием; ситуацию, в которой не происходит изменения состояния Объекта или Субъекта, нельзя назвать происшествием и т.д. Между тем параметры, факультативные для данного формата, у каких-то слов или подклассов слов данной Т-категории могут не участвовать в толковании. Например, параметры "каузация" и "процесс" являются факультативными для некоторых подклассов глаголов действия.

Так, в толковании конативов (типа *ловить*), в несов. виде, не участвуют параметры "каузация" и "процесс". Дело в том, что *ловить* значит 'прилагать усилия с целью'; т.е. не предполагается даже частичная каузация результата, что отличает конативы от обычных действий, типа *пришивать* ⟨*пуговицу*⟩ или *варить* ⟨*суп*⟩.

Параметр "каузация" не принимает участия в толковании происшествий, обозначаемых некаузативными глаголами (*выздороветь, заснуть, забыть*). Для многих форматов факультативным является параметр "экспозиция".

Толкование включает компоненты двух типов – **метакомпоненты** и **квалификаторы**. Метакомпонент содержит тот же предикат, что и название параметра; добавляется только аргумент, например: 'Субъект действует', 'Идет процесс: в Объекте / в Субъекте', 'Объкт/Субъект пребывает в состоянии', и под. В толковании той или иной глагольной лексемы метакомпонент обычно сопровождается квалификатором, который раскрывает конкретное содержание деятельности, процесса, состояния и т.п. Например, квалификатор может фиксировать вид процесса в Объекте – 'Объект перемещается', 'Объект деформируется', 'Объект нагревается'; содержание деятельности Субъекта; участие Инструмента и т.д.

Такого рода многоступенчатость толкования – и, в силу этого, его избыточность – является намеренной и обусловлена задачами нашей БД: данная структура толкования возникла из необходимости обеспечить эффективный поиск классов лексем и представить в эксплицитном виде семантические соотношения между лексемами разных классов.

Строя толкование лексемы, мы не стремимся (по крайней мере на данном этапе) к исчерпывающей полноте: толкование лексемы в БД должно отражать только **повторяющиеся** семантические противопоставления, т.е. только то, что **объединяет** слова друг с другом. Что же касается семантических различий, которые уникальны для некоторой пары лексем, т.е. не являются "классообразующими", то они на данном этапе разработки БД в толковании этих лексем не эксплицируются. Так, глаголы *наполнить* и *заполнить*, в своих основных значениях, имеют одинаковые толкования; и вообще, их словарные статьи различаются только в поле **свод значений**. Аналогично для глаголов *приклеить* и *наклеить*. Глаголы типа *спилить* и *срубить* имеют совпадающие толкования и различаются только информацией в поле **АКТАНТЫ**: то, что на самом деле различает эти глаголы – способ действия, – в толковании этих глаголов не уточняется.

Ниже приведен пример словарной статьи.

1. ЛЕКСЕМА: *наклеить* 1

Почтальон наклеил марку на конверт

2. МОРФОЛОГИЯ: СВ 4а 0

3. АКТАНТЫ:

1) Сб	Агенс	Лицо
2) Об	Пациенс	Материальный предмет
3) Периф	Средство	Вещество; обычно не выражается
4) Периф	Место	Материальный предмет
5) (Периф)	(Инструмент)	(Материальный предмет)

4. Т-КАТЕГОРИЯ: действие {обычное}

5. ТОЛКОВАНИЕ:

экспозиция	:	до t < МН Об не находился на Месте;	⟨презумпция⟩
		Об мог свободно перемещаться	⟨фон⟩
деятельность:		в t < МН Об действовал с Целью	⟨импликация⟩
	:	воздействовал на Об с помощью Средства (и Инстр)	
каузация	:	Деятельность КАУЗИРУЕТ Процесс	
процесс	:	шел процесс с Об: синхронный: имеет Предел	
результат	:	началось и в МН имеет место состояние	⟨ассерция⟩
	:	Об находится на Месте;	
		Об имеет прочный контакт с поверхностью Места;	
		тем самым Об является деталью Места	
следствие:		Об не может свободно перемещаться	

6. АСПЕКТУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

НСВ *наклеивать*: действие {обычное}

7. СВОД ЗНАЧЕНИЙ: *наклеить* 2 – кумулятив от *клеить* 2, глагол создания: 'клея 1, изготовить'.

Примечание. В словарных статьях используются следующие сокращения и условные обозначения: помета НСВ в поле 6 означает, что данный глагол входит в видовую пару; другие типы аспектуальных коррелятов глагола имеют специальные обозначения – Proc., Res., Iter. и под.; МН – момент наблюдения; Сб – Субъект, Об – Объект, Периф – актант, не входящий в перспективу, (см. ниже). Факультативные актанты (и вообще факультативные компоненты толкования) помещаются в круглые скобки.

Кроме собственно семантической информации, толкование содержит пометы, касающиеся коммуникативного статуса компонентов: ⟨презумпция⟩, ⟨ассерция⟩, ⟨имп-

ликация⟩ (в обычном значении этих терминов; об импликации см. [9]). Дополнительно используются еще две пометы – ⟨фон⟩ и ⟨импликатура⟩. Эти пометы обозначают "ослабленный" коммуникативный статус: фон – это "ослабленная" презумпция, а импликатура – "ослабленная" импликация. Компонент с такой пометой имеет необязательный характер: соответствующее ему положение дел не входит непосредственно в состав ситуации, обозначаемой данным глаголом. Тем не менее оно тесно связано с этой ситуацией, почему и желательно его включение в толкование.

Фоновые компоненты (как и их "сильные" аналоги – пресуппозитивные компоненты) помещаются в поле "экспозиция". Примерами фоновых компонентов могут служить **фоновая деятельность** и **фоновая каузация**.

Фраза *Иван разбил чашку* предполагает, что Субъект что-то делал в тот момент, когда произошло описываемое глаголом событие; например, он мог идти и случайно задеть чашку, мог нести ее и нечаянно уронить, в результате чего чашка упала и разбилась, и т.д. Конкретный характер деятельности Субъекта, вызвавший непредвиденные последствия, конечно, не входит в содержание глагола *разбить* ⟨ненамеренно⟩, однако сам компонент 'Субъект действовал' должен быть включен в толкование; при этом он получит статус фонового.

Другой пример фонового компонента – фоновая каузация. Всякое изменение состояния происходит под действием определенной причины, хотя не всякий глагол изменения состояния является каузативным. Так, во фразах *Лужи быстро высохли, Трава пожухла* глагол не каузативный. Однако если причина происшедших изменений известна и важна для говорящего, она может быть эксплицирована при этих глаголах с помощью сирконстантов: *Лужи быстро высохли на солнце*; *Трава пожухла от жары*. Сочетаемость глагола с соответствующими обстоятельствами семантически мотивирована и должна предсказываться толкованием. В данном случае эта сочетаемость обеспечивается наличием в толковании фоновой каузации. У других подклассов глаголов изменения такой компонент отсутствует, а вместе с ним – и обусловленная этим компонентом сочетаемость. Ср., например, глаголы изменений, происходящих по законам природы: **Яблоки созрели от осени / от жары*, **Стемнело от вечера* (во фразах типа *Из-за жары яблоки созрели раньше времени* в сфере действия обстоятельства причины находится не глагол, а обстоятельство *раньше времени*).

Импликатуры – это не обязательные, а всего лишь вероятные следствия основной ситуации. Импликатуры, как и обычные следствия, помещаются в поле р е з у л ь т а т. Статус импликатуры имеет, например, компонент 'Субъект (или другое лицо) имеет Результат в своем распоряжении', входящий в толкование глагола *отрезать*, а также компонент 'ущерб Субъекту или другому лицу', входящий в толкование глагола *разбить* ⟨ненамеренно⟩. Импликатура второго порядка в семантике *разбить* – 'Субъект несет ответственность за причиненный ущерб'. Конечно, все эти семантические компоненты не являются обязательными для глаголов *разбить* и *отрезать*. Однако их включение в толкование этих глаголов – в "пониженном" статусе – представляется оправданным: полное семантическое описание должно предсказывать не только актанты глагола, но и менее обязательные элементы семантико-синтаксической структуры предложения – такие, как *мою* в контексте *Петя разбил мою любимую чашку* (где притяжательное местоимение обозначает субъекта ущерба), или как *себе* в контексте *Петя отрезал себе кусок торта* (где дополнение *себе* обозначает субъекта пользы). Именно компонент 'Субъект имеет Результат в своем распоряжении' в толковании глагола *отрезать, постелить, налить* и под. отвечает за возможность дополнения *себе* при этих глаголах и объясняет невозможность *себе* при других глаголах, у которых такой компонент отсутствует, ср.: *Петя отрезал себе торта*; *Петя постелил себе постель*; *Петя налил себе чаю*; но: **Петя забил себе гвоздь*; **Петя заправил себе постель*; **Петя посадил себе цветок*.

ИМПЛИКАТИВНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОЛЯМИ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

В принципе, информация во всех полях словарной статьи должна предсказываться информацией в поле **ТОЛКОВАНИЕ**. В самом деле, Т-категория, как следует из сказанного выше, выводима из формата толкования. Аспектуальная информация в поле 6 – наличие видовой пары и допустимый набор частно-видовых значений – также во многих случаях предсказывается толкованием. Например, глаголы состояния типа *знать*, как известно, не имеют актуально-длительного значения; глаголы постоянного свойства / соотношения (*весить, стоить*) не входят в стандартные видовые пары, и т.д. Есть, конечно, и ограничения, не выводимые из семантики; например, отсутствие парного НСВ у глаголов *очнуться, встрепенуться* – это лексическая случайность (lexical gap), см. [10]; то же можно сказать об отсутствии парного СВ у глаголов *утверждать, отрицать*.

Аспектуальная информация в поле **МОРФОЛОГИЯ** тоже выводима из толкования. В самом деле, из толкования, например, глагола *наклеить*, см. выше, однозначно вытекает аспектуальная принадлежность этого глагола к сов. виду. Уже первая попытка описания семантики вида методом толкований, осуществленная А. Вежбицкой, см. [11], показала, что толкование вида – это не что иное, как толкование лексического значения глагола данного вида. Перефразировки, предложенные Вежбицкой, являются толкованиями вида в том смысле, что они имеют структурные элементы, повторяющиеся в толкованиях всех лексем с одинаковым видовым значением. Именно на этом принципе основаны толкования видовых значений, разработанные М.Я. Гловинской, см. [12].

Тот же принцип неотделимости лексического значения от видового заложен и в нашу БД (точнее даже – лексическое значение неотделимо от видо-временного: глагол НСВ толкуется в настоящем времени, а глагол СВ – в прошедшем).

Впрочем, частичное преодоление этой неотделимости лексического значения глагола от вида достигается в нашей системе за счет формулирования правил, которые позволяют получить толкование аспектуального производного глагола по толкованию исходного глагола в видовой паре данного семантического типа, см. ниже.

Информация в поле **АКТАНТЫ** предопределена толкованием лишь частично, а частично содержит независимую семантическую и коммуникативную информацию. Каждый актант характеризуется по трем параметрам:

1) синтаксическая характеристика, т.е. поверхностный падеж; различаются: Субъект – подлежащее; Объект – прямое дополнение; и Периферийный актант (предложно-падежные формы косвенных дополнений и обстоятельств не фиксируются);

2) семантическая характеристика, т.е. глубинный падеж по Филлмору; различаются: Агенс, Пациенс, Место и под. роли;

3) таксономическая характеристика – 'лицо', 'материальный предмет', 'вещество', 'числовой параметр', 'ситуация' и под.

Избыточен только глубинный падеж: например, наличие в толковании компонента 'Субъект действует' означает, что Субъект данного глагола – Агенс. Синтаксическая характеристика и Т-категория актанта непосредственно из толкования не выводимы.

В толковании актант может быть назван своим поверхностным или глубинным падежом, а иногда и Т-категорией. Например, в толковании глагола *наклеить* актанты называются своими синтаксическими характеристиками (Субъект, Объект) и глубинными падежами (Средство, Место). Переменные для называния актантов в словарной статье не используются.

Сопоставление поверхностного падежа актанта с глубинным позволяет охарактеризовать глагол с точки зрения **коммуникативной перспективы** в смысле Якобсона-Филлмора (имеется в виду противопоставление центральных и периферийных падежей в якобсоновском "Учении о падеже" и понятие перспективы по Филлмору [13]).

У обычного глагола Пациенс является синтаксическим Объектом (т.е. выражается

вин. падежом) и, тем самым, входит в перспективу. Существуют, однако, глаголы со **сдвинутой перспективой**. Таковы, например, глаголы полного охвата типа *наполнять, заваливать*, см. [14]. У них Пациенс выражен периферийным актантом, а Место, семантически периферийный актант, выражается прямым дополнением, т.е. входит в перспективу и является, тем самым, синтаксически центральным актантом. Ср. соотношение глубинных и поверхностных падежей у глагола с нормальной перспективой *наливать* и у глагола полного охвата *наполнять*:

наливать воду в бассейн	*наполнять бассейн водой*
Субъект – Агенс (лицо)	Субъект – Агенс (лицо)
Объект – Пациенс (вода)	Объект – Место (бассейн)
Периф – Место (бассейн)	Периф – Пациенс (вода)

Сдвиг перспективы порождает характерное для этих глаголов семантическое приращение – семантику "полноты охвата", ср. известные примеры: *загрузить картошку в машину* не то же, что *загрузить машину картошкой*, поскольку во втором случае, когда *загрузить* употребляется как глагол полного охвата, явно сказано, что машина загружена полностью, см. [15, с. 279]; [13, с. 513].

Принятая трехчленная структура описания актантов дает также возможность представить в эксплицитном виде многочисленные регулярные семантические соотношения между актантами, состоящие в диатетическом сдвиге, в результате которого синтаксический Объект меняет свою таксономическую или ролевую характеристику: *полоть сорняки → полоть грядки, мести сор→ мести пол* (Пациенс → → Место); *пробить стену→ пробить дыру в стене* (Пациенс → Результат); *привязать веревку к столбу → привязать лошадь веревкой к столбу* (Пациенс → Средство), *зашить рукав – зашить рубашку, закрыть дверь – закрыть квартиру, застегнуть молнию – застегнуть куртку, настроить струну → настроить гитару* (часть-целое), ср. описание соотношений этого рода в [15].

Следует подчеркнуть, что "прогностический потенциал" поля **ТОЛКОВАНИЕ** не означает, разумеется, избыточности прочих полей словарной статьи. Во-первых, из толкования выводится все-таки не вся лексикографически существенная информация о лексеме; во-вторых, правила вывода, чаще всего, достаточно сложны, так что с практической точки зрения заведомо экономнее эксплицировать "внешние" (аспектуальную, ролевую и т.п.) характеристики лексемы в соответствующих специальных полях. Потенциальная возможность вывода одного рода информации из другого, на которой мы настаиваем, носит, конечно, сугубо теоретический характер.

ПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ

Пользование базой данных предполагается в нескольких режимах. Помимо семантической информации о каждом отдельном слове, пользователь может получать перечни всевозможных семантических классов глагольных лексем – в принципе, классы задаются любым признаком или любой конфигурацией (набором) признаков. Примеры классов: глаголы СВ, не входящие в видовую пару; физические действия, не допускающие инструмента (напр., *сорвать, сжать* можно только руками или зубами) или, наоборот, требующие его (ср. *пахать, резать*). Выразимы на языке БД и традиционные семантические классы, такие, как глаголы движения, глаголы речи, глаголы эмоционального состояния и проч.

Среди классов глаголов, выразимых на языке БД, различаются **субкатегориальные** и **тематические**. Субкатегориальные классы – это подклассы внутри определенной Т-категории; в тематический же подкласс могут входить глаголы разных Т-категорий; ср. такие тематические классы, как глаголы изменения местонахождения, глаголы речи и под.

Субкатегориальные классы порождаются, в частности, разными значениями параметров "предел", "каузация" и "процесс". Так, Т-категория Процесс включает субкатегории, различающиеся значением параметра "предел": Процесс предельный (*сохнуть, таять*) vs. Процесс непредельный (*кипеть, гореть*);

Т-категория происшествие включает субкатегории, различающиеся значением параметра "каузация": Происшествие обычное, с Субъектом (*упасть, заболеть, забыть*) vs. Происшествие каузированное, с Объектом (*Ветер порвал провода* = = 'Ветер имел место, в результате провода были порваны'; *Камень загородил вход в пещеру* = 'Камень переместился, в результате вход оказался загорожен').

Т-категория Действие включает субкатегории:

– Действие обычное (есть процесс в Объекте, синхронный деятельности Субъекта; *красить стену, подметать пол, мыть кастрюлю*);

– Действие-конатив (нет процесса в Объекте, синхронного деятельности Субъекта; *ловить бабочку, решать задачу, уговаривать приятеля*);

– Действие сверхкратное (процесс в Объекте сверхкраткий и/или несихронный деятельности Субъекта: *разбить бокал на счастье, бросить камень в пруд*);

– Действие абстрактное (деятельность Субъекта не специфицирована: *углубить яму*), и др.

Разные тематические классы глаголов порождаются, в частности, разными значениями параметров "деятельность" и "результат". Например, компонент 'прочный контакт' в поле р е з у л ь т а т задает класс глаголов прикрепления (т.е. каузации прочного контакта: *прибить, пришить, наклеить, привязать* и т.д.); компонент 'части Объекта (существуют)' или 'отверстие в Объекте (существует)', в том же поле, задает глаголы деформации (*разрезать, проколоть, пробить*); компонент 'Объект пребывает в функциональном состоянии: готов к использованию' задает класс глаголов каузации функционального состояния объекта (*настроить* (*гитару*); *выстирать* (*рубашку*); *вспахать* (*поле*) и т.д.); компонент 'Объект не существует' – глаголы уничтожения (*сломать* (*сарай*), *порвать* (*записку*), *сжечь* (*письмо*) и т.д.).

Среди множества семантических классов, задаваемых Базой данных системы "Лексикограф", для лингвиста представляют интерес так называемые **релевантные классы**. Релевантный класс – это такой класс (порождаемый набором или конфигурацией семантических компонентов), который характеризуется определенной общей особенностью поверхностного поведения входящих в него лексем. Например, релевантным классом является Т-категория: слова одной и той же Т-категории характеризуются одинаковой сочетаемостью с обстоятельствами цели, времени и многими другими общими свойствами. Обычно эта сочетаемость считается свободной; на самом же деле она предопределена Т-категорией. Релевантный класс образуют также глаголы полного охвата; глаголы, допускающие генитивный субъект; глаголы, подчиняющие косвенный вопрос, и мн. др.

В оптимальном случае нахождение релевантного класса позволяет не только получить список глаголов с определенной особенностью поверхностного поведения, но **объяснить** наличие у данной группы глаголов данного свойства. Например, презумптивный статус компонента "деятельность" у конативов, ср. *решить* (*задачу*), *уговорить* (факт, отмеченный в [16, с. 64]; так, *не решил* предполагает 'решал'; *не уговорил* предполагает 'уговаривал'), объясняется наличием в семантике этих глаголов компонента 'Субъекту удалось', который, в свою очередь, имплицирует компонент 'Субъект пытался', т.е. 'Субъект действовал'.

Базой для формулирования запроса пользователя может быть не только информация о классах слов, но и о том или ином параметре – толкования или актанта – как о совокупности признаков. Например, возможны запросы: полный список Т-категорий; допустимые значения параметра "каузация"; Т-категории актанта Агенс (или Па-

циенс); и под. Полученная таким образом информация позволит не только проверять и уточнять традиционные лингвистические представления, но и решать новые задачи. Одна из таких задач – исследование необязательных, "слабых" компонентов семантики лексемы. До сих пор подобные исследования касались отдельных слов или небольших групп слов (см. о глаголах со слабым компонентом 'способ движения' в [17, с. 31] или о неустойчивом оценочном компоненте в [18, с. 24]) и тормозились отсутствием достаточно представительного материала. Последовательное отражение неассертивных компонентов (фоновых, импликативных и под.) в соответствующих полях толкования позволит пользователю БД получить информацию о сотнях лексем и десятках семантических классов.

Еще один режим использования БД – проверка всевозможных гипотез о связи семантических характеристик слова с его поверхностными свойствами. Так, база данных дает возможность выяснить, верно ли, что в семантику глагола СВ всегда входит компонент 'наступление нового состояния', как предполагала А. Вежбицка [11]. (Ответ отрицательный, ср. глаголы *произойти, посветить, защитить*, которые включают идею прекращения старого состояния, но не начала нового; так *Плащ защитил меня от дождя* значит 'защищал, пока дождь не кончился').

ЭКСПЕРТНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ "ЛЕКСИКОГРАФ"

Второй компонент системы, лексическая база знаний (ЛБЗ), – это своего рода грамматика лексикона. ЛБЗ включает семантические правила и общие закономерности, которые позволяют манипулировать семантической и грамматической информацией, помещенной в БД. Мы исходим (опираясь, прежде всего, на работу [19]) из идеи о том, что, в принципе, любая особенность поверхностного поведения слова может быть выведена из его семантики. ЛБЗ должна содержать всевозможные обобщения этого типа, а также формальные правила, позволяющие делать такого рода выводы. Примером формального правила является правило, обеспечивающее толкованием глагол противоположного вида, входящий с данным в стандартную видовую пару.

Так, в предельной паре, чтобы получить по толкованию глагола СВ, например, *наклеить*, толкование парного глагола НСВ (*наклеивать*), нужно изменить в толковании СВ положение наблюдателя (НСВ, в его основном значении, актуально-длительном, предполагает синхронного наблюдателя) и изменить коммуникативные пометы; а именно: в поле "экспозиция" заменить 'до t, предшествующего МН' на 'до МН'; в поле "деятельность" заменить метакомпонент на 'в t, предшествующем МН, Сб действует с Целью', и в поле "результат" заменить параметр "результат" на параметр "Цель" с метакомпонентом 'в t после МН будет иметь место состояние'. При этом компонент "деятельность" получает коммуникативный статус ⟨ассерция⟩, а компонент "Цель" – статус ⟨импликация⟩. Предполагается, что порождающий потенциал системы будет увеличиваться по мере роста ее ЛБЗ.

На данном этапе ЛБЗ включает следующие разделы.

1) **Т-категории глагола**. Идея о связи видо-временных характеристик глагола с его семантикой высказывалась многими авторами; самую широкую популярность приобрела классификация Вендлера (ср. также подчиненную аспектуальным задачам семантическую классификацию глаголов Ю.С. Маслова). Однако классификация Вендлера не охватывает всей глагольной лексики и нуждается в уточнениях. Необходимо выявить полный набор Т-категорий русских глаголов, а также охарактеризовать исчерпывающим образом особенности поведения лексемы, вытекающие из ее принадлежности к данной Т-категории, ср. [20].

К настоящему моменту установлено, что принадлежность глагола к той или иной Т-категории предопределяет: набор основных актантов; возможность образования видовой пары и ее семантический тип; ограничения на набор частных видовых значений; сочетаемость с разными видами обстоятельств (цели, времени и под.); способность мотивировать маркированные способы действия. Так, глаголы, относящиеся

к Т-категории Деятельность (например, *играть на скрипке*), способны мотивировать делимитатив (*поиграть*) и производный инхоатив (*заиграть*).

Особую проблему составляет разграничение базовых и производных Т-категорий. Так, Т-категория делимитативов (обсуждавшаяся в работе [21]) производная, и потому не случайно, что ей не нашлось места в классификации Вендлера, рассчитанной на базовые категории.

2) **Семантическая сочетаемость**. Ограничения сочетаемости предопределяются не только Т-категорией, но и другими, более частными компонентами толкования. Например, у абстрактных глаголов физического действия типа *расширить* (с компонентом 'способ действия не специфицирован') затруднена сочетаемость с инструментом, [22]; так, недопустимо **расширить яму лопатой*, при правильном *копать землю лопатой*, хотя действие – расширение – производится, скорее всего, с участием инструмента. Предполагается, что все такого рода связи между семантикой и синтаксисом могут быть исчислены.

3) **Частные видовые значения**. В основном, ограничения на набор частно-видовых значений глагола (неполнота функциональной парадигмы по Ю.С. Маслову) выводится из его Т-категории, но могут играть роль и другие компоненты толкования; например, невозможность или затрудненность употребления глагола в актуально-длительном значении обусловливается компонентом 'процесс в Объекте: сверхкраткий', как у *ударять* или 'процесс в Объекте: несинхронный деятельности Субъекта', как у глаголов *стрелять, взрывать, отравлять, убивать*.

4) **Семантическая деривация**. Многим глаголам в нашей БД свойственна регулярная многозначность (см. у Ю.Д. Апресяна [15]). Ставится задача исчислить регулярные типы семантической деривации, а также выявить **предрасположение** тех или иных классов слов к тому или иному типу семантической деривации.

Основной источник регулярной многозначности – метонимический перенос, ср.: *Хозяйка покрывает диван пледом – Плед покрывает диван*; *В своей комедии он высмеивает интеллигенцию – Его комедия высмеивает интеллигенцию*; *Его лишают стипендии – Это лишает его возможности уехать*; *Он подтверждает свое согласие – Это подтверждает его виновность*. Как оказывается, переносы такого рода дают регулярное соотношение Т-категорий исходного и производных значений слова. Исходное и производные значения глагола образуют регулярные пары и даже тройки, которые в совокупности составляют **категориальную парадигму** глагола. Потенциальные парадигмы Т-категорий одного глагола, в принципе, могут быть исчислены, равно как и степень их реализованности у отдельных глаголов или у глаголов определенного семантического класса. Так, глаголы полного охвата имеют трехчленную категориальную парадигму, см. [14]: действие (*сторож наполняет бассейн водой*), процесс (*Вода постепенно наполняет бассейн*) и состояние (*Вода наполняет бассейн до краев*).

Метафорические переносы обычно считаются непредсказуемыми. На самом деле, однако, Т-категория потенциального метафорического деривата во многих случаях может быть предсказана. Например, у глагола физического действия следует ожидать в первую очередь образования значения, относящегося к Т-категории "происшествие" (*порезал хлеб → порезал палец*). Что действительно является случайным, так это Т-категории актантов семантического деривата (ср. *мальчик подпрыгнул* и *цены подпрыгнули*), а также закрепление окказионального метафорического употребления в языке.

В принципе, зная исходный набор семантических компонентов и их соотношение, можно исчислить все типы метафорических переносов, все теоретически возможные способы получения новых значений путем устранения тех или иных компонентов и изменения коммуникативного статуса оставшихся (такая задача ставится, в частности, в [23]). Однако наличие определенных механизмов образования метафорических зна-

чений само по себе, конечно, не гарантирует того, что все эти типы семантических дериватов (или хотя бы некоторые из них) обнаружатся у конкретной лексемы.

Полезным при описании семантической деривации оказывается также понятие тематического класса; ср. класс регулярных семантических дериватов, относящихся к тематическому классу 'создание Объекта': *выкопать картошку – выкопать яму*; *сварить яйца – сварить суп*.

Интересная лингвистическая проблема, к решению который мы надеемся подойти в дальнейшем, – это проблема зависимости свойств лексемы от положения того или иного компонента в ее семантической структуре, а не просто от наличия этого компонента. Само по себе наличие одинакового компонента у двух (или более) лексем еще отнюдь не гарантирует их принадлежности к одному и тому же релевантному семантическому классу. Последнее слово остается за позицией данного компонента в семантической структуре лексемы и за его коммуникативным статусом. Так, наличие в семантике глагола компонента 'Объект перемещается в Место' еще не означает, что это глагол движения. Такой компонент встречается и у глаголов полного охвата (*наполнить бочку водой*), и у глаголов сверхкраткого действия (*бросить камень в пруд*), и у глаголов происшествия (*уронить коробку на пол*), и у многих других (*послать письмо в Казань*).

Отсюда возникает, с одной стороны, чисто техническая сложность – как корректно сформулировать запрос, чтобы получить нужный класс глаголов; а с другой стороны – теоретическая проблема: как идентифицируются носителями (и исследователями!) языка семантические классы глаголов; от чего зависит восприятие данного глагола как члена того или иного класса.

Таковы задачи, которые ставит перед собой система "Лексикограф". Решение даже части этих задач позволит выйти на новый уровень системности в описании лексики (см. [24]), а лексическая база данных должна стать, по замыслу ее разработчиков, не только способом хранения информации, но и полезным инструментом лингвистического исследования и получения нового знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Paducheva E.V., Rakhilina E.V.* Predicting co-occurrence restrictions by using semantic classifications in the lexicon // COLING-90. Papers presented to the 13-th International conference on computational linguistics. V. 3. Helsinki, 1990.
2. *Красильщик И.С., Рахилина Е.В.* Предметные имена в системе "Лексикограф" // НТИ. Сер. 2. 1992. № 9.
3. Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
4. *Vendler Z.* Linguistics in philosophy. Ithaca, N.Y., 1967.
5. *Wierzbicka A.* Lingua mentalis. Sydney, 1980.
6. *Wierzbicka A.* English speech act words. Sydney, 1987.
7. *Иорданская Л.Н.* Попытка лексикографичекого толкования группы русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1970. Вып. 13.
8. *Зализняк Анна А.* Семантика глагола *бояться* в русском языке // ИАН СЛЯ. 1983. № 1.
9. *Карттунен Л.* Логика английских конструкций с сентенциальным дополнением // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
10. *Маслов Ю.С.* Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН СЛЯ. 1948. Вып. 6.
11. *Wierzbicka A.* On the semantics of verbal aspect in Polish // To Honour Roman Jacobson. The Hague; Paris, 1967.
12. *Гловинская М.Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
13. *Филлмор Ч.* Дело о падеже открывается вновь // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
14. *Падучева Е.В., Розина Р.И.* Семантический класс глаголов полного охвата: толкование и лексико-синтаксические свойства // ВЯ. 1993. № 6.
15. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. М., 1974.
16. *Апресян Ю.Д.* Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "Смысл-Текст" // Wiener Slawistischer Almanach. Bd 1. Wien, 1980. S. 64.
17. *Богуславский И.М.* Исследования по синтаксической семантике. М., 1985. С. 31.

18. *Зализняк Анна А.* Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München. 1992. С. 24.
19. *Wierzbicka A.* The semantics of grammar. Amsterdam, 1988.
20. *Падучева Е.В.* Таксономические категории глаголов imperfectiva tantum в русском языке // НТИ. Сер. 2. 1993. № 2.
21. *Flier M.S.* The scope of prefixal delimitation in Russian // The scope of Slavic aspect. Columbus, Ohio, 1985.
22. *Плунгян В.А., Рахилина Е.В.* Сирконстанты в толковании? // Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Białystok, 1990.
23. *Туровский В.В.* О соотношении значений многозначного слова // Семиотика и информатика. Вып. 26. М., 1985.
24. *Apresjan Y.D.* Systemic lixicography // EURALEX-92. Papers submitted to the 5th EURALEX International congress of Lexicography. Helsinki, 1992.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. Е.В. РАХИЛИНА

О ЛЕКСИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ

Как ни странно, история развития лингвистики – вообще говоря, гуманитарной науки – оказалась необычайно тесным образом связана с историей информатики и вычислительной техники. Общеизвестно, что идея машинного перевода, возникшая в конце пятидесятых годов в "пик" кибернетического бума, дала совершенно новый импульс лингвистической науке (причем, как теперь очевидно, прежде всего теоретической). Конечно, некоторые области прикладной лингвистики просто не могли возникнуть до рождения первых вычислительных машин, но гораздо более неожиданно, что при этом совершенно изменилась и, так сказать, общая парадигма науки – лингвистика стала казаться **точной** наукой. Появились и новые требования к лингвистическим работам – они вторили математике: определения должны быть эффективными, описания непротиворечивыми, и т.д. Неважно, что эти требования не выполнялись, и, как стало ясно гораздо позже, не могли выполняться, – важно, что они были, оставили свой след и даже в каком-то виде сохранились до сих пор именно в качестве критериев научности.

Постепенное (а в нашей стране скорее внезапное) появление новых машин – быстрых и вместе с тем обладающих огромными возможностями памяти – опять открывает новые прикладные области для лингвистики: прежде всего это базы данных, позволяющие классифицировать языковые факты. Снова потенциал машин дает надежду (или иллюзию), что с его помощью можно бесстрашно переплыть бесконечное лексическое море, море употреблений, различного рода сочетаний и т.п.: в машине бесконечное превращается в счетное и кажется обозримым – таким образом, для каких-то задач мечта о полноте языкового материала становится реальностью. Эти задачи, на наш взгляд, связаны с описанием лексики и созданием автоматических словарей.

Обратим внимание, что здесь тоже меняется **подход** к проблеме: если традиционная лексикография ориентировалась на описание отдельного слова как самостоятельного объекта исследования, то теперь на первый план выходит исследование классов слов, объединенных по одному или нескольким признакам. Задача описания слова (или группы семантически близких слов) уже осознана как неразрешимая в силу своей неограниченности; однако с помощью базы данных можно формулировать ее, так сказать, частные "подзадачи", причем многие из них имеют исчерпывающие решения. Простым примером такого рода может служить задача сопоставления значений некоторых двух признаков, например: верно ли, что все имена обозначающие части, могут выступать в генитивной конструкции (ср. *ножка стула, ручка двери*, но **нос лица*). База данных, содержащая некоторую семантико-синтаксическую информацию о каждой лексеме, позволяет сравнить класс лексем, обозначающих части, и класс лексем, допускающих в конструкции "часть-целое" родительный падеж. Заметим, что ни один из существующих словарей не даст возможности получить аналогичный результат: мы не найдем там ни последовательно представленной информации о частях, ни тем более помет о возможности генитива, т.к. в свете глобального лексикографического описания такого рода сведения окажутся слишком частными.

Как кажется, уже нет необходимости защищать лингвистическую информацию, подобную этой, доказывать ее право на существование и подчеркивать степень ее важности – проблема ясна; обратим внимание лишь на следующие два ее аспекта.

Первое. Автоматическая база данных, в отличие от словаря, действительно воплощает связь между словарем и грамматикой, провозглашенную одним из главных принципов современного лексикографического описания (ср., например, идею Интегрального словаря и под.). В любом словаре, даже и в словаре типа Толково-комбинаторного, грамматика пополняется в результате описания отдельных лексических единиц, то есть после их описания. Между тем, лексическая база данных есть как бы одновременно и словарь, и грамматика: она сообщает нечто о частных лексемах, но при этом характеризует и целые их классы.

Второе. Мы уже говорили о том, что объемы лингвистического материала, которыми оперирует пользователь лексической базы данных, очень велики, так как база данных – это инструмент для отражения **полной** картины того или иного языкового явления: правила и исключения для нее равны. Между тем, практика показывает, что исключения есть во всяком, даже самом регулярном правиле. Примером может служить, в частности, стандартный способ выражения смысла 'во время' для имен ситуаций: 'во время S_0' → *при* S_0, ср.: *при болезни, при броске, при сопротивлении, при даче* [*свидетельских*] *показаний*, и т.п. Ср., однако, **при битве*, **при влиянии*, **при лести* и др. запреты. Сплошная же классификация группы лексем по нескольким десяткам синтаксических признаков одновременно даст такую разнородную картину, что если бы мы решили разбить эти лексемы на классы так, чтобы в один класс попали слова с одним и тем же набором значений признаков, классов получилось бы примерно столько же, сколько лексем. Таким образом, степень сложности поведения лексемы, будучи зафиксирована машиной, становится до наглядности очевидной; по-видимому, это одно из самых убедительных свидетельств того, что поверхностные (в частности, синтаксические) свойства лексем не случайны: носитель языка не в состоянии запомнить все это множество фактов, и разнообразие возникает под действием общих семантических (в широком понимании этого термина) правил.

Замечательно, что лексические базы данных не только обосновывают необходимость поиска таких правил, но и создают исследователю фундамент для этого поиска – в некотором смысле, точку опоры, чтобы перевернуть существующую лексикографическую традицию.

Простейшая база данных представляет собой таблицу с двумя входами – предназначенная для описания лексики, в качестве входов она будет иметь, с одной стороны, лексемы, с другой – параметры некоторой классификации, т.е. признаки, значения которых приписываются лексемам в клетках таблицы. Минимальный набор значений признаков – два: "да" и "нет", или "+" и "–". Подобный формат оптимален для автоматических словарей сочетаемости: в таком словаре про каждую лексему из списка можно узнать, входит ли она в ту или иную конструкцию. Строго говоря, условия сочетаемости должны указываться максимально жестко, с точностью до конкретных форм лексем. Это значит, что такой словарь может отвечать на вопросы типа: сочетается ли данное существительное в винительном падеже с предлогом *в* (= входит ли в конструкцию *в* + *Acc*) или с прилагательным *красный*, но, вообще говоря, при совершенно аккуратной постановке задачи, не может давать ответ на вопрос, сочетается ли имя с прилагательными цвета, по той же причине, по которой некорректным окажется вопрос о сочетаемости с предлогами вообще. Другими словами, признак, по которому классифицируются лексемы в такой базе, не должен был бы содержать никаких переменных. Последовательное выполнение этого требования, однако, лишило бы лексические базы данных всякой привлекательности и в большой степени научной ценности. Поэтому мы вынуждены принимать априорные решения о гомогенности некоторых лексических классов, т.е. об общности их (в данном случае, сочетаемостного) поведения – например в какой-то момент признать гомогенным класс

прилагательных цвета – считая, что все прилагательные цвета одинаковым образом сочетаются с именами артефактов. Заметим, что при исследовании сочетаемости непредметной лексики такое решение вряд ли себя оправдает: мы "потеряем" такие сочетания, как *черная меланхолия, зеленая тоска, голубая мечта* и под.

Тем самым, уже приступая к созданию лексической базы данных, мы должны отдавать себе отчет в том, что никакие машинные возможности (объемы памяти, быстродействие, единый формат представления данных и под.) не избавят нас ни от проблемы языковой правильности, ни от многозначности, ни от сочетаемостной избирательности и что всякая реальная лингвистическая задача, в особенности если она касается огромных лексических массивов и семантико-синтаксических классификаций, практически никогда не может быть сформулирована абсолютно строго – в противном случае она теряет лингвистический интерес (впрочем, совершенно так же, как и не строго сформулированная задача – маневр между Сциллой и Харибдой здесь, как и всегда, не может быть предсказан заранее).

И все-таки, какого рода задачи могут решать подобные машинные классификации? В дополнение к традиционным задачам лексикографии, которые все доступны базам данных, отметим здесь исследование ф а к у л ь т а т и в н о й сочетаемости, которая обычно не учитывается словарями. Ср., например, задачу полного описания сирконстантов глагола, которая решается в глагольной базе системы "Лексикограф-эксперт" (руководитель работ Е.В. Падучева) [1]. Сочетаемостные типы отглагольных имен в большинстве своем довольно давно и хорошо известны, т.к. подпадают под классификацию так называемых лексических функций, разработанных для русского языка в рамках модели "Смысл ↔ Текст". Тем не менее, "сплошное" исследование поведения отглагольных имен в контексте лексических функций – база данных "Перифраз" (разработчики В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, М.В. Филипенко) – начато только в этом году. Результатами такого рода исследований, с нашей точки зрения, должны быть общие правила, объясняющие значения признаков в клетках таблицы – именно мотивированные правила контролируют лингвистическую интуицию исследователей, страхуют от случайных ошибок.

Другая задача – таблица сочетаемости конкретной лексемы – например, прилагательного *прочный* – дает материал для словарного толкования этого слова. Вообще говоря, исследование сочетаемостных особенностей всегда должно было бы быть предварительным этапом лексикографического описания: толкование должно объяснять, почему возможно *прочные замки*, но не **прочные ключи*. Тем самым, базой и одновременно стимулом для семантических обобщений по поводу слова *прочный* оказывается полный список имен с пометами о допустимости-недопустимости при них данного прилагательного.

До сих пор мы говорили о задачах, для решения которых требовалась простая классификация, т.е. классификация по одному или нескольким однородным признакам. Между тем, современные компьютеры позволяют строить и гораздо более сложные конструкции. Используются наборы разных признаков, пересечения и объединения их значений. Благодаря такому программному обеспечению можно усложнять лингвистические эксперименты, в частности, одновременно задавать несколько совершенно разных оснований классификации одной и той же группы лексем. Именно по этому принципу построена система "Лексикограф-эксперт. Предметные имена" (разработчики И.С. Красильщик, Е.В. Рахилина, при участии В.А. Плунгяна). В этой системе параллельно используется несколько стратегий классификации предметной лексики: мереологическая классификация (целое-множество; часть-элемент), таксономическая, устанавливающая иерархию родо-видовых отношений (типа *дом → постройка → сооружение* и под.). Кроме того, учитываются предикатно-аргументные отношения, "встроенные" в структуру имен: *ложка* ≈ 'приспособление ⟨чтобы⟩ ЕСТЬ'; *кислород* ≈ 'газ ⟨чтобы⟩ ДЫШАТЬ', и т.п. Пользуясь этой системой, мы можем получать самые разные "тематические" группы лексем: все имена, обозначающие части или мно-

жества, все предметы мебели, постройки, приспособления, все места обитания (связанные с предикатом ЖИТЬ), и т.п. (подробнее см. [2]).

В соответствии с общей идеей системы "Лексикограф", мы исходим из гипотезы, что все сочетаемостное поведение лексемы выводится из каких-то ее глубинных свойств. В этом случае базу данных можно рассматривать как один из вариантов моделирования этих свойств. Дальнейшая работа сводится к исследованию степени адекватности предложенной модели – т.е. принятого нами формата описания предметной лексики, и проверке самой гипотезы: насколько вообще верна идея выводимости поверхностных характеристик лексемы. Тем самым, база данных служит здесь не только практической лексикографии, но и теоретической лексикологии.

Рассмотрим теперь некоторые конкретные задачи описания предметной лексики русского языка, решаемые с помощью системы "Лексикограф"[1].

Основная трудность описания такого рода лексем – в том, что в этой области пока нет никаких канонов, так сказать, лексикографических норм – в отличие, например, от предикатной лексики. В целом система ориентирована на то, чтобы отражать и предсказывать поведение слова в тексте (отсюда и ее статус э к с п е р т н о й системы по русской лексике), поэтому основным рабочим критерием необходимости для Базы данных той или иной лексикографической информации оказывается то, определяет ли эта глубинная информация какие-то поверхностные свойства лексемы, и прежде всего, ее сочетаемость.

Формат Базы данных "Предметные имена" представляет собой набор признаков, значения которых приписываются лексемам; ниже, после его краткого описания, мы приведем примеры лингвистических задач, которые могут решаться с помощью этой системы.

Формат Базы содержит 10 полей. Первые три охватывают грамматическую информацию о лексеме и отражают те сведения, которые содержатся в Грамматическом словаре А.А. Зализняка – род, одушевленность, тип склонения, акцентная парадигма. Затем следуют поля, отражающие семантико-синтаксическую информацию: мереологический статус и коррелят, класс, предикат и три его ограничителя. Мереологические поля определяют лексему как часть/множество/совокупность/элемент (значение признака "мереологический статус", или М-статус) какого-то другого объекта (имя этого объекта задает значение признака "мереологический коррелят", или М-коррелят): *ветка* – М-статус 'часть', М-коррелят 'дерево', *кузов* – М-статус 'часть', М-коррелят 'автомобиль', *оркестр* – М-статус 'множество', М-коррелят 'музыкант', *инвентарь* – М-статус 'совокупность', М-коррелят 'инструмент', и т.п.

В поле "класс" лексеме приписывает семантический класс из некоторой разрабатываемой в системе таксономической классификации; это может быть 'вещество', 'инструмент', 'емкость', 'отверстие', 'постройка', 'учреждение', 'зверь' и мн. др. Значения этого признака устанавливают родо-видовые отношения между лексемами.

Поле "предикат" соотносит предметное имя с предикатом, семантически связанным с данной лексемой – обычно это предикат функционирования описываемого объекта; значения основных трех актантов этого предиката (поля "ограничитель 1", "ограничитель 2", "ограничитель 3") описывают другие, более сложные, чем родовидовые отношения на множестве предметных имен. Ср.: *дом* – класс 'постройка', предикат 'жить', ограничитель 1 'человек', ограничитель 3 '=', (условный знак кореферентности значения поля 'класс"); *виноградник* – класс 'участок земли', предикат 'выращивать', ограничитель 1 'человек', ограничитель 2 'виноград 2', ограничитель 3 '='; *градусник* – класс 'прибор', предикат 'измерять', ограничитель 1 'человек', ограничитель 2 'температура', ограничитель 3 '=', *клетка* – класс 'сооружение',

[1]В настоящее время в Базе данных системы "Лексикограф" представлена предметная лексика стандартного учебного словаря объемом 10–13 тыс. слов – это составляет почти 4 тыс. входов, к концу года список должен быть расширен до объема, соответствующего однотомному толковому словарю в 60 тыс. слов и в конечном счете приблизится к 25 тыс. входов.

предикат 'содержать', ограничитель 1 'человек', ограничитель 2 'животное', ограничитель 3 '=', и под. Легко видеть, что в совокупности значения признаков по достаточно простым правилам "складываются" в некоторую общую схему толкования: *дом* – 'постройка, в которой живет человек'; *виноградник* – 'участок земли, на котором человек выращивает виноград 2', и т.д. Эта схема очень огрубленно представляет значение каждой конкретной лексемы – огрубленно прежде всего потому, что в любой базе данных изначально заключена идея неиндивидуализированного описания объектов за счет пренебрежения частными, несущественными для заложенной в базу системы признаков различиями. Этот "недостаток" окупается возможностью автоматического поиска списков лексем по достаточно сложным комбинациям семантико-синтаксических признаков: пользуясь Базой мы можем не только получать списки всех имен, обозначающих части, множества, имена родства, названия предметов мебели и под., но и, например, имена множеств и совокупностей, имеющие при этом дефектную парадигму числа (Pluralia tantum или Singularia tantum), имена частей, не являющихся при этом частями тела или, например, частями механизмов и проч. Такого рода списки необходимы для решения лингвистических задач, опирающихся на "сплошное" исследование лексического материала. Интересно, что множество задач такого рода как бы навязывается самой признаковой базой системы. В качестве иллюстрации укажем некоторые из них.

Начнем с мереологических признаков. В русском языке есть лексемы, которые претендуют на статус частей и есть грамматические конструкции, которые выражают отношение часть-целое, например, генитивная конструкция (ср. *ножка стула*), притяжательная конструкция (ср. *кошкин хвост*), конструкция с относительным прилагательным (ср. *березовые ветки*), предложные конструкции (ср. *пальцы на руке, платье с рукавами, туфли на каблуках* и др.). Как связаны между собой эти два обстоятельства – почему в одних случаях конструкция запрещена, а в других нет? Какими другими семантико-синтаксическими свойствами[2] должны обладать лексемы, входящие в отношение часть-целое, чтобы это отношение можно было выразить данной конструкцией? И – в другую сторону: каковы должны быть те "языковые свидетельства" (по терминологии А. Вежбицкой, см. [5]), которые дают право лексикографу написать в словаре, что данные две лексемы действительно входят в отношение часть-целое или элемент-множество и т.д.? Рассматривая проблему под этим углом зрения приходится усомниться, например, в такой простой истине, что остров является частью суши – не с точки зрения внеязыковой, энциклопедической реальности, а с точки зрения языкового членения мира, которое, впрочем, и призвано быть отраженным в словаре.

Таксономическая классификация нужна для решения любой сочетаемостной задачи – описание ограничений на употребление имен естественно вести именно в терминах семантических классов. Между тем есть лингвистическая задача, которая сама "контролирует" процесс создания семантической классификации предметных имен – это задача описания сочетаемости предметной лексики с отыменными прилагательными. По одной из известных теоретических гипотез, выдвинутой в свое время Е.А. Земской (последнюю по времени версию см. в [6]) и некоторыми другими лингвистами (ср., например, [7]) и с известными оговорками поддержанной Ю.Д. Апресяном (см. [8, с. 211–212]), сочетаемость имен с такими прилагательными определяется семантическими отношениями в паре из двух имен, одно из которых затем выступает в этой конструкции в виде отыменного прилагательного. Так, легко образуют эту конструкцию пары 'вещество',– 'емкость' (ср. *коньячная бутылка, молочный бидон*), 'материал изготовления', – 'артефакт' (ср. *хлорвиниловая пленка, железная труба*) и мн. др. Система "Лексикограф" позволит проверить эту гипотезу, выявить все продуктивные для данной конструкции семантические типы пар, определить словарные исключения из общих семантических

[2]Некоторые аспекты этой проблемы обсуждаются в [3 и 4].

правил. С другой стороны, само по себе решение этой задачи дает ключ к построению и коррекции семантической классификации предметных имен и тезаурусных отношений между ними: значение семантического класса 'емкость' или 'пространство' мы должны приписывать лексеме *море* в зависимости от того, ведет ли себя эта лексема в конструкции с отыменным прилагательным по модели емкостей или по модели пространств.

О роли, которую играет встроенный в семантику предметной лексемы функциональный предикат хорошо известно, в частности, из статьи З. Вендлера [9] о прилагательном *good*: *хороший/удобный дом* – это дом, в котором удобно **жить**, а *хорошая балерина* – это балерина, которая хорошо **танцует**, – именно этот предикат попадает в сферу действия оценочных и других качественных прилагательных (подробнее см. [10]) и определяет в этих случаях сочетаемостные возможности имени и способ интерпретации полученной конструкции.

Однако если постулировать предикат в семантической структуре существительного, интересно проследить зависимость между его свойствами и свойствами существительного. Рассмотрим, например, видо-временные характеристики такого предиката. В работах Е.Я. Шмелевой (см. прежде всего [11]) показано, что при описании русских имен деятеля необходимо различать имена деятеля, выступающие в **актуальном** значении (*предъявитель* – 'тот, кто в данный момент предъявляет что-л.'), **перфектном** (*освободитель* – 'тот, кто освободил кого-л.'), и в значении **свойства** или **функции** (*выдумщик* – 'тот, кому свойственно выдумывать', *точильщик* 'тот, в чьи функции входит точить что-л.' – другими словами, 'тот, кто **обычно** делает нечто'). Понятно, что такое различие отражается на поверхностных свойствах имен деятеля, между тем лексикографически оно закрепляется именно в различных видо-временных формах встроенного в имя глагола. Система "Лексикограф" заставляет определять видо-временные характеристики встроенного предиката для каждой лексемы, в толковании которой такой предикат имеется. Таким образом выделяется, например, группа имен-результатов, таких как *зола, копоть, пар, ожог, дыра, след* и под. (диагностическим контекстом для них является конструкция "Х от У-а" в значении 'Х – результат функционирования У', ср. *зола от костра, пар от чайника, след от гвоздя*) – имена-результаты продолжают список "перфектных" имен русского языка.

Проблематика лингвистических задач, связанных с актантной структурой встроенного предиката наследуется из опыта описания предикатной лексики, накопленного в рамках Московской семантической школы. Если рассуждать в русле принятой и глубоко разработанной в этой школе концепции семантических и синтаксических валентностей лексемы (см. ставшие классическими работы [8, 12, 13]), то слово *строитель* потому управляет лексемой *город* в словосочетании *строитель города*, что оно как бы наследует семантическую структуру исходного предиката *строить*. При этом сам предикат *строить* двухвалентен: 'кто строит что', так что если его первую валентность ('кто строит') заполняет само имя *строитель*, то вторая – объектная – остается свободной и "обеспечивает" правильность словосочетания *строитель города*. Таким образом, с одной стороны, синтаксическая модель управления имени оказывается мотивирована его семантикой и, прежде всего, семантикой "встроенного" предиката, а с другой стороны, если в семантике этого предиката оказывается свободная валентность, то естественно ожидать, что она будет как-то "реализована" в тексте. В переводе этого рассуждения на язык нашей Базы данных можно было бы сказать, что каждой заполненной строке признака "ограничитель предиката" должен быть приписан способ или способы поверхностного выражения этого семантического признака – точно так же, как это делается для модели управления глагола. Это практическая лексикографическая задача, решение которой можно в какой-то степени контролировать с помощью нашей системы. Например, можно отслеживать количество актантов встроенного предиката или устанавливать стандартные модели соответствий между типом семантической валентности и

способом ее выражения (имеются в виду такие достаточно распространенные модели, как выражение первой валентности посессивным отношением, ср. *мой дом* – 'в котором я живу') и отклонения от этих стандартных моделей.

Между тем последовательное выполнение этой программы ставит перед исследователем и неожиданные теоретические проблемы. Оказывается, что в очень большом числе случаев свободная семантическая валентность не подкрепляется никакой поверхностной реализацией. Так, и *пассажир*, и *всадник* обозначают людей, использующих некоторое средство передвижения – транспорт или лошадь. Но в первом случае мы можем выразить это средство – *пассажир трамвая*, а во втором – нет: **всадник лошади*, ср. также **всадник вороного*, **всадник крапчатой* и т.п. Точно так же *гражданин* – этот человек, который живет в некотором государстве, отсюда *гражданин Дании, Норвегии, России*. Но *иностранец* тоже называет гражданина некоторого государства (только отличного от государства, в котором живет говорящий), – тем не менее, сочетания типа **иностранец Дании, Норвегии* оказываются запрещены. *Инспектор* – это должностное лицо, посланное некоторым учреждением или организацией инспектировать какой-либо объект/учреждение и т.п. Однако при этой лексеме, как правило, поверхностно выражается только то учреждение, которое организует инспекцию, ср. *инспектор гороно/главного санитарного управления*, но не **испектор шахты/фабрики*. Воин воюет с кем-то, но мы не можем непосредственно при этой лексеме выразить, с кем; грабли сгребают что-то, но это "что-то" не входит в синтаксическую модель управления лексемы *грабли*. Семантические правила, регулирующие и запреты такого рода, могут быть сформулированы только после того, как будут выявлены все лексемы, имеющие подобные особенности. Система "Лексикограф" располагает возможностями их системного поиска и исследования.

В кратком обзоре мы рассмотрели далеко не все направления, по которым развивается и будет развиваться в ближайше время система "Лексикограф". Нам кажется, что осуществление этого проекта может дать интересные результаты и в практике, и в теории современной русистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Падучева Е.В., Розина Р.И.* Семантический класс глаголов полного охвата: толкование и лексико-синтаксические свойства // ВЯ. 1993. № 6.
2. *Красильщик И.С., Рахилина Е.В.* Предметные имена в системе "Лексикограф" // НТИ. Сер. 2. 1992. № 9.
3. *Рахилина Е.В.* К основанию лингвистической мереологии // Семиотика и информатика. Вып. 30. 1989.
4. *Воронцова М.И., Рахилина Е.В.* Предметные имена и предложные конструкции // Знак (сборник статей по лингвистике и семиотике памяти А.Н. Журинского). М., 1994.
5. *Wierzbicka A.* Lexicography and conceptual analysis. Ann. Arbor, 1985.
6. *Земская Е.А.* Относительные прилагательные как конструктивный элемент номинативной системы современного языка // Грамматические исследования Функционально-стилистический аспект. М., 1991.
7. *Павлов В.М.* Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования. Л., 1985.
8. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. М., 1974.
9. *Вендлер З.* О слове *good* // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X, М., 1981.
10. *Рахилина Е.В.* Прилагательные сквозь призму существительных и vice versa // НТИ. Сер. 2. 1991. № 9.
11. *Шмелева Е.Я.* Названия производителя действия в современном русском языке (словообразовательно-семантический анализ). Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1984.
12. *Мельчук И.А.* Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст". М., 1974.
13. *Богуславский И.М.* Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

© 1994 г. А.Н. БАРАНОВ

ЗАМЕТКИ О *ДЕСКАТЬ* И *МОЛ*

1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ В ПРОБЛЕМУ

Ощущение и осознание своего внутреннего индивидуального "Я" относится к числу важнейших концептуальных констант европейской культуры и европейской ментальности, сложившейся как равноденствующая целого комплекса различных исторических факторов и культурных влияний. Отсюда такое обостренное – даже болезненное – внимание европейского социума к проблемам психоанализа, расщепляющего единое и цельное "Я" и снимающего покров тайны и сакральности с внутреннего, ощущаемого в норме как единство, самосознания. Собственно, в европейской философской традиции сознание долгое время выступало как объект "внешнего" определения – "мое Я" как отличное от "других Я".

Лингвистика сначала весьма слабо отреагировала на эту волнующую проблему. Однако в тех областях изучения языка, которые оказались ближе к социальной практике – в дискурс-анализе, этнометодологии, исследовании бытовой коммуникации (conversational analysis) – "расщепление" говорящего было неизбежным. Оно пошло по нескольким направлениям. С одной стороны, были введены Е. Гоффманом категории "негативного" и "позитивного общественного лица", а также установлена неодномерность сущности говорящего ("автор идеи/принципал vs. автор оформления мысли vs. субъект говорения/аниматор") [1; 2]. С другой стороны, стало абсолютно ясным, что и взаимодействие между говорящим, адресатом и третьими лицами далеко от простой смены роли говорящего и слушающего [3].

Тенденции к декомпозиции говорящего в определенный момент дошли до семантики и синтаксиса, дав рефлексы в теории цитации, в исследованиях косвенной, прямой и "непрямой" речи [4], а также в работах по анализу "эгоцентрических" категорий [5]. Русские частицы *мол* и *дескать* относятся к тому классу лексических единиц, которые также связаны с феноменом расщепления говорящего[1]. В данной статье предпринимается попытка выявить некоторые важные концептуальные оппозиции, которые существенны для употребления этих единиц и которые одновременно определяют в той или иной мере структуру нашего "языкового Я" – "языковой личности" – как одной из ипостасей "Я когнитивного".

2. *МОЛ* И *ДЕСКАТЬ* КАК РЕФЛЕКСИЯ "СВОЕГО" И "ЧУЖОГО"

Первое противопоставление касается сущности *мол* и *дескать* как показателей цитации. Как это ни удивительно, но в целом ряде контекстов эти две единицы могут употребляться непосредственно одна после другой: (1) *Он печально улыбнулся и константировал: дескать мол, все там будем*; (2) *Замахал Петрович руками: да ты, дескать мол, совсем спятил*! Между *дескать* и *мол* запятые отсутствуют – это указывает на слитность произнесения обсуждаемых единиц в данных контекстах.

[1] До самого последнего времени частицы *мол* и *дескать* выпадали из поля зрения исследователей. Однако сейчас наблюдается явное повышение интереса к этим лексемам, ср. [6; 7; 8]. В стадии подготовки находится также работа французского русиста из Университета Париж-7 Р. Камю.

Обратный порядок следования – сначала *мол*, а затем *дескать* нежелателен. Такие случаи если и не запрещены полностью, то вызывают явное ощущение стилистической аномалии: (1') ??*Он печально улыбнулся и констатировал: мол дескать, все там будем*; (2') ??*Замахал Петрович руками: да ты, мол дескать, совсем спятил*!

Таким образом, *мол* и *дескать* семантически явно асимметричны, хотя оба связаны с цитацией – с цитацией слов (как в 1) или цитацией действий (как в 2). В последнем случае, по-видимому, более правильно говорить о смысловой интерпретации действий.

Всякое цитирование есть ни что иное, как одновременное понимание реальности другого в реальности себя. Этот первый шаг рефлексии, отражающий наше осознание и признание коммуникативных прав другого человека через наши собственные коммуникативные права, характеризует семантику *дескать*. Частица *мол* оказывается, на первый взгляд, как бы зеркальным отражением *дескать*. Она фиксирует осознание близости чужого. Однако поскольку *мол* маркирует свое не в своем, а в чужом, то оно оказывается устроенным более сложно – в этом, собственно, и асимметрия *мол* и *дескать*. *Мол* – это дважды рефлексия: если *дескать* может пониматься как цитация в точном смысле (осознание чужого в своем), то *мол* свидетельствует об осознании своего в чужом, которое находится в своем! Это уже не первый, а второй шаг рефлексии в понимании различий себя и другого.

С этой точки зрения контактная сочетаемость обсуждаемых единиц в последовательности *мол-дескать* нежелательна потому, что, согласно *мол*, далее должно идти "свое", а вводится с помощью *дескать* вовсе даже "чужое". Между тем, согласно, *мол*, контекст цитирования, отчуждения должен быть задан ранее. Следующая непосредственно после *мол* частица *дескать* в принципе означает, что рефлексия должна быть продолжена – в "своем, находящемся в чужом, которое находится в своем", надо опять найти чужое. Еще один шаг рефлексии, если не обсурден, то очень сложен. С другой стороны, последовательность *дескать-мол* ничему не противоречит: *дескать* фиксирует существование области "чужого", а *мол* выделяет в ней фрагмент "своего". Иными словами, в последовательности *дескать-мол* частица *мол* семантически согласована с *дескать*, поскольку предусматривает нахождение в области чужого ("свое в чужом"), а в последовательности *мол-дескать*, наоборот, наблюдается семантическое рассогласование, поскольку *мол* не может включать в свою сферу действия область чужого.

3. СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ "СВОЕГО" и "ЧУЖОГО"[2]

Разумеется, категории "своего" и "чужого" – это своего рода метафоры, позволяющие отсылать к некоторым типам когнитивных состояний, которые инициируют и сопровождают произнесение соответствующих частиц. И как таковые они должны быть переосмыслены в собственно семантических терминах. Вся проблема в том, что мы не в состоянии толком описывать сами когнитивные состояния – нет ни метаязыка, ни реального понимания когнитивных процессов, определяющих мышление человека и использование естественного языка. Поэтому и здесь мы вынуждены изъясняться на языке намеков как бы он ни назывался – теорией толкований в лексической семантике, аппаратом фреймов или семантическими сетями.

Важнейший "семантический намек", лежащий в основе процедуры цитирования и интерпретации "своего" и "чужого" – это идея коммуникативной ответственности. Произнося речевой акт как "свой", мы берем на себя ответственность за то, какие изменения он произведет в реальности и, конечно, в сознании адресата. Произнося же

---

[2] Этот фрагмент статьи обсуждался на семинаре по анализу частиц русского языка в Лаборатории формальной лингвистики Университета Париж-7. Я благодарен участником семинара – прежде всего Д. Пайару и Р. Камю – за заинтересованное обсуждение. Очень важные замечания были сделаны также И. Кобозевой, С. Кодзасовым и М. Щур.

высказывание как "чужое", мы снимаем с себя, по крайней мере, часть коммуникативной ответственности. Этот эффект широко используется в аргументировании. Так, в известном допросе Христа Пилатом на вопрос Пилата "Ты ли царь Иудейский?" Христос отвечает "Ты говоришь (это)". Скрытая в анафоре цитация позволяет Христу частично снять с себя ответственность за приписываемые ему слова.

Рассматривая семантику *мол* и *дескать* в рамках идеи коммуникативной ответственности можно утверждать, что *дескать* отражает нежелание говорящего брать на себя ответственность за чужое (в целом или частично), а *мол* – напротив, свидетельствует о том, что за какие-то фрагменты чужого он готов разделить ответственность с автором цитаты.

При таком подходе существенной оказывается выявление сферы действия своего и чужого и, соответственно, сферы разделения ответственности и отказа от нее. Возможные области действия с теоретической точки зрения определяются самим устройством языкового знака (план выражения, форма выражения смысла, сам смысл и проч.) и правилами его функционирования в коммуникации. Следует иметь в виду, что во многих случаях сфера действия ответственности оказывается неопределенной. Более того, далеко не всегда сам говорящий четко осознает, что он имеет в виду, однако относительно "чистые" случаи имеются, и они достойны разбора. Рассмотрим основные типы контекстов такого рода, не претендуя на описание всех комбинаторно возможных вариантов.

Содержание/смысл цитируемого. В подобных контекстах *мол* указывает на то, что говорящий разделяет ответственность за смысл, а *дескать* – наоборот, функционирует как маркер нежелания отвечать за слова другого. Ср. (3а, б), (4а, б).

(3) **а.** *Ну, поругались мы, сильно поругались. Он все так повернет, что ничего понять нельзя. Разозлился я, а тут еще выпили... Вообщем, я ему говорю: я,* ***мол****, с тобой не согласен. Другими словами, конечно... А он как закричит: к ментам побежишь – тебе не жить!* [братья Вайнеры] **б.** *Или она была в него слишком влюблена, или этот франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну много спорить, а взяла и подписала ему бумажку.* ***Мол****, и так далее, и в случае чего я никаких претензий к нему не имею и, ладно, с него денег требовать не буду.* [М. Зощенко][3].

(4) **а.** *– Когда вы его видели в последний раз? – Давно уже... В прошлую пятницу поднималась по лестнице и смотрю – он на площадке стоит и что-то бормочет. Я ему говорю, иди, мол, домой проспись, а он мне в ответ что-то вроде: вы мне,* ***дескать****, все опостылели, сидите у меня на шее... Ну я плюнула, повернулась и ушла.* [допрос свидетеля – братья Вайнеры]. **б.** *Вытащили они меня на борт. Лежу. Обступили Вижу – и собеседник мой тут И тоже меня отчитывает, бранит – зачем,* ***дескать****, я указал ему схватиться за мину.* ***Дескать****, это морское хулиганство с моей стороны.* ***Дескать****, за это надо посылать на подводные работы от трех до пяти лет.* [М. Зощенко].

Хорошо видно, что контекст и ситуация далеко не всегда четко противопоставляют содержание и способ выражения содержания, условия произнесения и проч. Так, если в (3а) и (4а) явно указывается на то, что изложение содержания иное, чем было в цитируемом выражении – так сказать, в "антецеденте цитаты", то в примерах (3б) и (4б) это уже менее очевидно и как бы "недоопределено" говорящим. Важно, что во всех рассмотренных случаях примеры с *мол* отражают готовность говорящего разделить ответственность за некоторые аспекты содержания, а цитации с *дескать* явно указывают на желание говорящего отгородиться от содержания цитируемого. При

[3] Здесь и далее в некоторых случаях используется корпус примеров по *дескать* и *де*, собранный Р. Камю.

этом остальные компоненты структуры цитации могут оставаться "недоопределенными" со стороны говорящего.

Способ выражения содержания. Если в первом случае в центре внимания был смысл сообщаемого, то здесь уже – способ его оформления, выражения. Использование *мол* в этих употреблениях указывает на готовность разделить ответственность за форму выражения. Отношение к содержанию может быть как явно отрицательным (пример 5а), так и просто неопределенным (5б) – это фактор контекста, а не значения *мол*.

(5) **а.** *Пока идеология сильна, идеологизированного человека невозможно поймать за руку. Даже если и найдется смельчак, который с карандашом в руке возьмется доказывать, что эта грандиозная электростанция не окупает себя, тот ему ответит, что вы,* ***мол****, не учитываете ее более важного пропагандистского значения.* [Ф. Искандер] **б.** *Как обход* [дело происходит в сумасшедшем доме], *так Ленин заявляет, что враги коммунизма специально засадили его лысину волосяным покровом, дабы неузнанным он оставался для партии и рабочего класса. И террор умоляет усилить в Италии, во Франции и в Израиле. Легче,* ***мол****, будет нам в мутной водичке рыбоньку всемирной диктатуры ловить.* [Юз Алешковский]

С другой стороны, используя *дескать*, говорящий в таких контекстах остраняется от формы выражения мысли, не специфицируя специально своего отношения к содержанию. Контекст же может указывать на то, что содержание, скорее принимается (ср. (6а), где цитирующий разделяет идею существования группы людей, называемых *болото*), но вполне возможна, например, и неопределенность, ср. (6б).

(6) **а.** *Нас гораздо больше, чем тех, кто добивается развала. Эту мысль ... хорошо подкрепляет и мнение ... Гарри Каспарова, который ... пишет, что демократическое большинство никогда не решало судьбу общества. Есть некое число "активистов" процентов 10–15, максимум 20, которое все определяет, остальные,* ***дескать****, "болото", оно качается. По словам гроссмейстера, судьбу народа решает особый слой людей – элита. Сюда он относит демократический актив, предпринимателей, кооператоров, которые в настоящее время... обогащаются за счет обдирания как липку трудового народа. Для них мы, конечно, болото.* ["Правда", 19.11.1991] **б.** *Ждала его минут двадцать: он очередную аспирантку консультировал. Любят они его без памяти, а эта – Рита, кажется – просто млеет. Я смотрю в его сторону – он не реагирует. Делаю ему знаки – не видит. Что же, думаю, одной идти? Наконец, он рукой так взмахнул,* ***дескать****, разговор окончен, встал и ко мне подходит.* [Б. Васильев]

Содержание и способ его выражения. Два рассмотренных типа контекстов легко комбинируются вместе, давая возможность при использовании *мол* взять ответственность и за смысл, и за форму его выражения (ср. 7), а при использовании *дескать* – отгородиться как от первого, так и от второго (ср. 8): (7) *Хотел я крикнуть, спасите,* ***мол****, братцы, рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую буковку. Хрип какой-то один. Контузия, видать, не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.* [Юз Алешковский]; (8) *Пытаясь нажить себе спекулятивный капитал, подсовывают социальную увертку:* ***дескать****, народ "обижают". Скажем так: народ не обижают, это просто невозможно. Так даже сказать нельзя.* [Яковлев А.]

Разумеется, выделение двух структурных компонентов цитации – содержания и способа выражения содержания недостаточно для исчерпывающего описания. Совершенно ясно, что этим структура цитации далеко не исчерпывается. Кроме того, возможно и дальнейшее внутреннее членение и содержания, и способа его выражения. Однако для иллюстрации механизмов "работы" *мол* и *дескать* сказанного достаточно. Упомянем лишь еще одну большую сферу функционирования цитации – прагматические условия произнесения высказывания. В этой области наиболее часто затра-

гивается уместность произнесения антецедента цитаты – выражения, которое цитируется – и позиция автора цитаты.

Уместность антецедента цитации. Особенность уместности проявляется в том, что она выделяется как таковая только при употреблении *дескать*. Дело в том, что поскольку эта категория представляет собой одну из базовых предпосылок нормального функционирования коммуникации, то *мол*, разделяя ответственность за уместность, просто дублировало бы соответствующее прагматическое установление. Куда естественнее усомниться в уместности, отгородившись от нее с помощью *дескать*:

(9) *Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундуке трясется и планы решает – как жить будет да чего ей стряпать, да не мешало бы,* ***дескать****, в баньку сходить – три года не хожено.* [М. Зощенко] Говорящий здесь как бы отказывает автору цитаты в праве произносить принадлежащие ему слова из-за наличия более актуальной задачи – поспеть вовремя.

Позиция автора цитаты. Позиция автора цитируемого выражения непосредственно связана с уместностью произнесения, однако не равна ей. Позиция определяется не одним отдельно взятым высказыванием или действием, а комплексом высказываний или действий, направленных на достижение конкретной цели. *Мол*, как и в предыдущем случае, не специфицирует таких контекстов, а *дескать* указывает на отстраненность говорящего от цели автора цитаты или способа достижения этой цели: (10) *Хозяйка, мадам Зефирова, начала горячо извиняться –* ***Дескать****, погорячилась и кинула тень на такое избранное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу.* [М. Зощенко]; (11) *Вот что рассказывает история о любви. Она, в общем, весьма немного рассказывает об этом чувстве.* ***Дескать****, да, действительно, чувство это, кажется, имеется Истории,* ***дескать****, приходилось иной раз сталкиваться с этой эмоцией.* ***Дескать****, бывали даже кое-какие исторические события и случаи на этой почве. И совершались кое-какие дела и преступления.* [М. Зощенко]

В примерах (10), (11) говорящий не может верифицировать само содержание цитаты, поскольку находится как бы вне шкалы истинности-ложности автора цитаты или цитируемое в принципе не подпадает под категорию истинности. Он пытается отграничить себя от позиции, выбранной автором цитаты: в (10) – это абсурдность самого участия в "коммунальном" споре или сомнение в искренности автора цитаты, а в (11) – невозможность выраженного в цитациях подхода к любви как к рациональному состоянию, допускающему "научный" анализ.

* * *

Легко видеть, что рассмотренные варианты сфер действия почти повторяют известное по Е. Гоффману расщепление говорящего на автора идеи, автора способа оформления мысли и субъекта говорения. Это следует из комплекса оппозиций, соответствующих рассмотренным контекстам: "автор идеи vs. автор оформления мысли/субъект говорения" (сфера действия "содержание/смысл"); "автор оформления мысли vs. автор идеи/субъект говорения (сфера действия "способ оформления содержания"). Косвенно из этих оппозиций выделяется и субъект говорения. Когнитивное расщепление при использовании *мол* и *дескать* идет еще глубже, выделяя в говорящем нечто вроде "коммуникативного стратега" (ср. позиция автора цитаты и уместность). Вряд ли это исчерпывающий список.

4. КОНТЕКСТЫ "КОММУНИКАТИВНОГО ВЫСВЕЧИВАНИЯ"

Главнейший вопрос любого семантического анализа – проблема сочетаемости. Для *мол* и *дескать* это не просто проблема, а проблема проблем. Как мы видели, противопоставление единиц *мол* и *дескать* носит "мировоззренческий" характер: это противопоставление точек зрения на цитацию. При использовании *мол* говорящий дает понять, что он готов нести ответственность за те или иные аспекты плана содержания цитации. *Дескать* – направлено ровно в противоположную сторону. Его использование – знак полного или частичного отмежевания и даже несогласия с цитируемым. Но, как известно, мировоззрение всеядно. *Мол* и *дескать* с комбинаторной точки зрения тоже всеядны: они неплохо заменяют друг друга. Обнаружение контекстов несовместимости должно опираться на конкретную модель значения этих единиц.

Предложенная интерпретация значений *мол* и *дескать* заставляет подозревать, что проблемы с взаимозаменимостью могут возникать лишь в момент "высвечивания" контекстом тех или иных составляющих языкового знака или условий его употребления. Рассмотрим некоторые случаи такого рода.

Коммуникативное "высвечивание" содержания. Этот тип контекстов представлен прежде всего а в т о ц и т а ц и я м и, в которых существенным оказывается именно изложение самого мнения говорящего, а не способ его выражения: (3) *Ну, поругались мы, сильно поругались. Он все так повернет, что ничего понять нельзя. Разозлился я, а тут еще выпили... Вообщем, я ему говорю: я,* ***мол*** *(?дескать), с тобой не согласен. Другими словами, конечно... А он как закричит: к ментам побежишь – тебе не жить!* [братья Вайнеры]; (12) *Вот, гляди, сколько гречки стоптал, сколько вреда наделал, – сказала она. Я отвечаю, что,* ***мол*** *(?дескать), ничего, пользы больше принес.*

Разумеется при высвечивании содержания возможна ситуация, когда говорящий, наоборот, не хочет брать на себя ответственность, тогда естественнее употребить *дескать*: (13) *Я против Семенова: груб он очень. Вчера заходит к нам и говорит: все вы,* ***дескать*** *(?мол), малышня и мелюзга...* [А. Гайдар]; (4а) – *Когда вы его видели в последний раз? – Давно уже... В прошлую пятницу поднималась по лестнице и смотрю – он на площадке стоит и что-то бормочет. Я ему говорю, иди, мол, домой проспись, а он мне в ответ что-то вроде: вы мне,* ***дескать*** *(?мол), все опостылели, сидите у меня на шее... Ну я плюнула и повернулась и ушла.* [допрос свидетеля – братья Вайнеры]

Коммуникативное "высвечивание" способа выражения содержания. В целом ряде случаев для выражения некоторого смысла используется не вполне конвенциональный знак – жест неопределенного содержания, или предмет, которому в ситуации приписывается некоторое "ситуативное" значение. В этих случаях при коммуникативном высвечивании способа выражения содержания говорящий, отмежевываясь от выбранного способа выражения, использует именно *дескать*: (14) – *Ой! если бы ты мне за язык взялся, я бы тебе полную кисть руки оттяпала. Я не люблю, когда меня на язык хватают. Начала тут Фекла Тимофеевна на пол сплевывать –* ***дескать*** *(?мол), может и палец-то черт знает какой грязный, и черт знает за что брался – нельзя же такие вещи строить – не гигиенично.* [М. Зощенко]; (15) *Ты, говорит, погубила моего отца. И через это я окончательно лишилась его деньжонок. И теперь достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, ты первый для меня преступник, и уйду я (...) Покачал я прегорько головой,* ***дескать*** *(?мол), откуда мне такому-то разжиться капиталом...* [М. Зощенко]; (16) *Некоторые иностранцы для полной выдержки монокль в глазах носят.* ***Дескать*** *(?мол), это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы не случилось.* [М. Зощенко]

В подобных ситуациях при использовании хорошо известного знака с конвен-

циальным смыслом *дескать* оказывается несколько хуже по сравнению с *мол*, поскольку последнее указывает на то, что цитирующий разделяет общепринятый способ интерпретации значения знака: (5в) *Он поманил меня пальцем: иди,* ***мол*** (?*дескать*), *сюда. А сам за спиной руку держит. Ну, подошел я – смотрю ему прямо в глаза, а он – мнется, видать, не решил еще, что делать...* [братья Вайнеры]; (17) *Иваненко показал мне большой палец: отлично,* ***мол*** (?*дескать*), *сыграл.* [В. Борисенко]

"Анафоризация" цитации – "антивыделение". В некоторых контекстах цитация сильно редуцируется, заменяясь на комплекс анафорических элементов, скрывающих само содержание антецедента цитаты. Такое умолчание возможно прежде всего при "согласии по умолчанию": цитирующий в подобных случаях, скорее, склонен взять на себя ответственность, чем отстраниться от цитаты. Именно поэтому в примерах типа *Делай, мол, то-то и то-то...*; *Так, мол и так...* частица *мол* оказывается несколько лучше, чем *дескать* – ср. ?*Делай, дескать, то-то и то-то*; ?*Так, дескать, и так.* Последнее допустимо лишь в том случае, если происходит отстранение не от содержания действия, а от самого факта приказа. Ср. также (3б) *Или она была в него слишком влюблена, или этот франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну много спорить, а взяла и подписала ему бумажку.* ***Мол*** (?*дескать*), *и так далее, и в случае чего я никаких претензий к нему не имею и, ладно, с него денег требовать не буду.* [М. Зощенко]; (18) *Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать – о боге. Иной раз воспарится в мыслях – черт не брат. Мироздание – это,* ***мол*** (?*дескать*), *то-то и то. Зарождение первейшей жизни – органическая химия.* [М. Зощенко]

5. СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ *МОЛ* И *ДЕСКАТЬ*

Общая картина распределения семантических сфер действия *мол* и *дескать* связана с их переменными в семантической экспликации, тип которой определяется конкретным подходом к описанию плана содержания лексемы. Пока очевидно, что в толковании *мол* и *дескать* в любом случае должна быть представлена переменная, сфера действия которой определяется отношением "свой/чужой". Как показывает анализ, в область отношения "свой/чужой" могут попадать самые разные компоненты цитации, поскольку для *мол* и *дескать* вполне естественно и начальное, и конечное, и срединное положение. Варьирование позиции отражает гибкость и избирательность *мол* и *дескать*. Они могут вводить всю цитацию в целом (*...Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие –* ***Дескать/мол****, не пора ли одернуть...*), а могут выделять отдельные ее компоненты. В последнем случае в цитации выделяется фрагмент, который получает особый коммуникативный статус: он оказывается выделенным с точки зрения оппозиции "свой/чужой", ср. (6а) *... Есть некое число "активистов" процентов 10-15, максимум 20, которое все определяет, остальные,* ***дескать****, "болото", оно качается...*

В последнем примере в сферу действия *дескать* попадает *болото*, поскольку именно от него хочет "отгородиться" говорящий. Аналогичная ситуация в примере (19) *Подхожу, рапортую по-военному. Так, мол и так, совершилась,* ***дескать****, Февральская революция, вы,* ***мол****, старованенький, и молодой князь, ваше сиятельство, в совершенном расстройстве чувств по поводу имущества.* [М. Зощенко] Здесь сфера отчуждения в *дескать* относится либо к самому названию "Февральская революция" (сфера действия "вперед"), либо к самому факту совершения (сфера действия "назад"), а область "разделения ответственности" в *мол* распространяется на "старованенький" (вряд ли на "вы"). Интересно, что перемещение *дескать* в (19) в начальную позицию не очень хорошо, поскольку теряется идея скепсиса по отношению к новому не очень понятному явлению.

Возможность "дозирования" сферы действия порождает интересные эффекты употребления рассматриваемых единиц. Например, по отношению к глаголам, эксплицирующим иллокутивную силу высказывания, в нормальной ситуации использование *дескать* не вполне естественно, ср. ... *скажите, мол/?дескать, ему чтобы помог...*; *согласитесь, мол/?дескать, ведь все не так просто...*; *разрешите, мол/?дескать, вас поздравить...*; ср. также (20) *Поп едва сказать хочет: – Позвольте, мол/?дескать, то есть как это бога нет? То есть как это идолопоклонство?* [М. Зощенко]

Дело в том, что "отчуждение" от иллокутивного глагола переводит диалог как бы на метауровень: начинается уже обсуждение некоторых общих принципов коммуникации – соотносится ли грамматическая и лексическая форма выражения иллокутивной силы с реальным намерением автора цитаты. Отрицание имплицитной нормы оказывается сильнее, чем отрицание эксплицитного, обсуждаемого. Такое отрицание обязательно требует дополнительных пояснений, ср. (21) – *Он, дескать, просит. Знаем мы эти просьбы. Откажешь ему, так он сам возьмет...*

Варьирование сферы действия, естественно, создает многозначность. Так, в некоторых случаях оказываются возможными в принципе запрещенные сочетания *мол-дескать* в позиции непосредственного контакта, ср. (22) *Он обиделся и стал меня уверять, что я, мол,* [пауза], *дескать, не так его понял. А понял-то я его распрекрасно.* Если пауза отсутствует, то (22) невозможно (см. выше). Пауза разделяет сферы действия *мол* и *дескать*: *мол* направлено на "я", а *дескать* – на "не так его понял". Только при таком распределении сфер действия допустимо сочетание *мол-дескать* в непосредственном контакте.

6. *МОЛ* И *ДЕСКАТЬ*: ПУТЬ К СОГЛАСИЮ ИЛИ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА?

Приведенная интерпретация семантических механизмов функционирования *мол* и *дескать* позволяет объяснить целый ряд их особенностей поведения в контекстах коммуникативного воздействия. В общем случае *мол* явно менее конфликтно, чем *дескать*. Верно и обратное – в контекстах нейтрального описания *дескать* используется существенно реже, что объясняется значительным конфликтным потенциалом этой частицы. *Дескать* требует аргументации, а *мол* позволяет объективизировать изложение, взяв на себя ответственность за форму изложения цитации и не "доопределять" своего отношения к содержанию. Однако именно поэтому при введении тезиса аргументации и желании изложить его достаточно точно по форме естественнее употребить *мол*, ср. (23) *Меня насторожила фраза в докладе Горбачева на последнем пленуме ЦК о том, что нынешняя модель социализма,* ***мол*** *(?дескать), "в течение многих десятилетий навязывалась партии". Вроде бы партия уже не творец этой модели, а жертва. Легче всего обвинять одного Сталина, но он лишь венец тоталитарного айсберга.* [Д. Волкогонов]

Здесь мы имеем дело с известным риторическим эффектом – эксплицитное указание на уверенность в пропозиции *P* прагматически более слабо, чем просто нейтральное произнесение *P*, ср. *Он не виноват* vs. *Я уверен, что он не виноват*, поскольку эксплицитное выражение уверенности предполагает дискуссию. *Мол* оказывается более убедительным в аргументации и в тех случаях, когда говорящий пытается навязать некоторый нетривиальный способ интерпретации ситуации, ср. (24) – *На самолете лететь, это надо нервы да нервы. Вот он поднимается – тебе сразу конфетки дают. – Конфетки? – А как же.* ***Мол****, забудься, не обращай внимания. А на самом деле, это самый опасный момент.*

Мол в (24) позволяет говорящему представить связь между смыслом "отвлекают внимание" и "конфетки дают" как конвенциональную и совершенно очевидную. В соответствие со значением *мол*, говорящий здесь берет на себя ответственность за

форму выражения содержания – за связь "конфеток" с "отвлечением" внимания. *Дескать* здесь вполне возможно, однако риторически оно менее удачно, поскольку оно конфронтационно и может вызвать у адресата вопрос относительно оправданности такого способа выражения такого смысла.

Явная конфронтационность *дескать* тесно привязывает его к контекстам передразнивания, в которых говорящий явно отказывается от ответственности за цитацию. Ср. *Она опять за свое: дескать, не-хоо-чуу!* В этом примере использование *мол* несколько хуже – ?*А она опять за свое: мол, не-хоо-чуу!*

Таким образом, хотя из значений *мол* и *дескать* вполне можно сделать вывод, что первая единица менее конфликтна и способствует достижению согласия, а вторая, наоборот, конфронтационна и способствует возникновению и поддержанию когнитивного конфликта, прагматические условия употребления оказываются шире собственно семантических правил и подчас позволяют использовать согласие для выражения несогласия.

7. ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Область когнитивного расщепления не ограничивается только сферами действия категорий "своего" и "чужого". При последовательном проведении и принципа отождествления (свой-я) и принципа отчуждения (чужой-не я) говорящий вообще может исчезать. В первом случае он как бы растворяется в одном из персонажей повествования, а во втором – настолько сильно отталкивается от чужеродного субъекта, что просто выходит за рамки коммуникации. Таким образом, последовательность в отчуждении и "освойствлении" в любом варианте приводит к элиминации позиции говорящего. Для *мол* к последовательному отождествлению приближаются, во-первых, контексты разделения ответственности и за содержание, и за способ выражения содержания (см. выше), а также уже разбиравшиеся ситуации риторической "объективизации" при цитировании. В последнем случае после отождествления почти сразу следует отказ от него, что значительно усиливает риторический эффект, ср. (25) *Заклинание печати, что, **мол**, увидев пустой магазин, пересильте себя и улыбнитесь, осуществляется с трудом.* [М. Жванецкий] Для *дескать* последовательное отчуждение также приводит к выражению позиции не говорящего, а одного из персонажей описываемой ситуации. Так, в (26) *дескать* явно принадлежит попу, а не цитирующему: (26) *И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про бога: нету, **дескать**. Сами-то не верите. Или сомневаетесь.* [М. Зощенко]

Интересно, что если в (26) заменить *дескать* на *мол*, то точка зрения явно изменится – тут уже, скорее всего, будет выражаться мнение самого говорящего (цитирующего). Остается открытым вопрос о "лексичности" эффекта смены точки зрения. Как кажется, более естественно считать, что это проблема текста как такового, а не проблема значения *мол* и *дескать*. Текст допускает различные типы отождествлений рассказчика с персонажами, а *мол* и *дескать* лишь подсказывают стратегию такого отождествления.

8. *ДЕСКАТЬ* И *ДЕ*

Как бы не представлялось нам головоломным соотношение между *дескать* и *мол*, оппозиция "*дескать* vs. *де*" еще более загадочна. Впечатление от их дистрибуции сначала оставляет впечатление полной безнадежности, однако все-таки удается выделить несколько контрастивных контекстов, указывающих на существование определенных семантических различий между *де* и *дескать*. Первый тип контрастивных пар относится к чисто позиционным особенностям употребления. Как показывает анализ, *де*, в

отличие от *дескать* и *мол*, невозможно в позиции абсолютного начала и абсолютного конца предложения, ср. варианты (26): (26') а. *И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про бога: нету, дескать/мол/??де.* б. *И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про бога: Дескать/мол/??де, нету.* Между тем, позиция внутри предложения вполне нормальна для всех этих единиц: (27) *Он стал объясняться долго и нудно: я, мол/де/дескать, никогда против большевиков не был. Наоборот, всегда их поддерживал.*

Второй четко выделяющийся тип контрастивных контекстов – цитатная интерпретация действий, т.е. те случаи, когда говорящий приписывает определенный смысл действию некоторого лица. В этом случае действию как бы сопоставляется антецедент цитаты. Интересно, что в примерах такого рода *де* отчетливо нежелательно: (28) *Он руками развел: ну, ты, дескать/мол/??де. удивил!* (29) *Он подмигнул мне: вот, дескать/мол/??де, где надо деньги доставить!*; (30) *Владимир Петрович по горлу пальцем щелкает: давай, дескать/мол/??де, примем по чуть-чуть...*

Такое малое число контрастивных контекстов заставляет ограничиться лишь общими предположениями, гипотезами об отличиях семантики *де* от *дескать*. Изучение употреблений *де* дает пока одну правдоподобную версию: эта единица, в отличие от *дескать* и *мол*, функционирует как "коммуникативный разделитель", маркирующий границы темы и ремы в цитации (а может быть, и компоненты коммуникативных выделений других типов).

При таком подходе неначальное положение *де*, например, в (27) вполне объяснимо, поскольку эта единица разделяет тематическую и рематическую составляющие: (27) *Он стал объясняться долго и нудно*: [*я*]T *де*, [*никогда против большевиков не был*]R. *Наоборот, всегда их поддерживал.* Возможное изменение местоположения *де* отражает варианты коммуникативного членения высказывания, ср. (27') *Он стал объясняться долго и нудно*: [*он никогда против большевиков,*]T *де*, [*не был*]R. *Наоборот, всегда их поддерживал.*

Если *де* действительно функционирует как маркер коммуникативной организации смысла высказывания, то понятно, почему невозможны начальные и конечные употребления этой единицы: в этих случаях *де* оказывается за пределами актуального членения.

Контексты цитации действий объясняются с этой же точки зрения. Дело в том, что цитация действий задает явную структуру коммуникативного членения – [действие]T vs. [интерпретация действия]R – которая конкурирует с актуальным членением внутри цитации (АЧ более низкого уровня). Ср. (28) [*Он руками развел*:]T [[*ну, ты,*]T ??*де*, [*удивил!*]R]R. Эта конкуренция, по-видимому, и создает эффект неудовлетворительности использования *де*.

Более сложной оказывается ситуация с типами коммуникативного выделения, не совпадающими с актуальным членением. Так, в примере (31) *де* разделяет *пусть* и последующее предложение: (31) *Пусть де они сначала докажут, что я там был.* Коммуникативное выделение *пусть*, несомненно, присутствует, внося эксплицитный контраст в соотношение между гипотетическим положением дел и его реализацией. В этом случае гипотетичность приобретает семантические и прагматические черты топикальной составляющей.

* * *

Когнитивное разложение субъекта – весьма опасный процесс, который может привести к дисфункции целого. Известно, что психоанализ, используемый не в терапевтических целях, порождает устойчивые неврозы и психологические кризисы. Язык в определенной степени смягчает опасность злоупотреблений, "включая" компенсаторные механизмы неопределенности и недоопределенности. И, действительно, случаи "коммуникативного высвечивания" сфер действия *мол* и *дескать* на компонентах языковой структуры цитации довольно редки. Как правило, контекст допускает множественные интерпретации и редко позволяет устранить неоднозначность. Удел исследователей единиц типа *мол* и *дескать* – маркеры незначительной грамматической или семантической аномальности "?", "??", а отнюдь не желанная звездочка* – знак явной неправильности.

Такая глубина защиты не только затрудняет семантический анализ, но и создает эффект внешней беспорядочности использования *мол* и *дескать*, особенно характерной для чисто разговорных употреблений этих единиц (ср. обилие *мол* и *дескать* в стилизациях обыденного диалога в рассказах М. Зощенко). В то же время "порядок беспорядка" языка оказывается кладом потенций для смыслоразличения. Язык в принципе способен различать мельчайшие тонкости самоосознания говорящего субъекта. Частицы *мол* и *дескать* лишь небольшая часть этого гигантского потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Goffmann E.* Interaction Ritual. N.Y., 1967.
2. *Goffmann E.* Forms of talk. Oxford, Blackwell, 1981.
3. *Carlson L.* Dialogue games. An approach to discourse analysis. 1–2. Dordrecht, 1982–1985.
4. *Roncador M. von.* Zwischen direkter und indirekter Rede. Nichtwortliche direkte Rede, erlebte Rede, logophorische Konstruktionen und Verwandtes. Tübingen. Niemeyer, 1988.
5. *Падучева Е.В.* Говорящий: субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
6. *Арутюнова Н.Д.* Чужая речь: частицы *де, дескать, мол*, (доклад). 1989.
7. *Колодезнев В.М.* О значении частиц *мол, де, дескать* // РЯШ. 1969. № 1.
8. *Иванчикова Е.А.* Частица *дескать* в контексте прямой речи // Зборник матице српске за филологију и лингвистику. XXVII–XXVIII, Нови Сад, 1984–1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

Из истории науки

© 1994 г.

К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Р. ЗИНДЕРА

8 января 1994 г. исполнилось 90 лет доктору филологических наук, профессору Санкт-Петербургского университета Льву Рафаиловичу Зиндеру. Его имя широко известно среди лингвистов России и других стран не только благодаря его научным трудам, но и в связи с многолетней педагогической деятельностью.

Область научных интересов Л.Р. Зиндера – германистика и общее языкознание, в первую очередь – общая и экспериментальная фонетика. Являясь учеником и последователем Л.В. Щербы, Л.Р. Зиндер развивает основные направления, обозначенные его учителем. Общелингвистические взгляды Льва Рафаиловича определяются той особой важностью, которую он придает речевой деятельности человека, стремлением выявить характер связей между системной организацией языка и многообразием речевых реализаций. В общелингвистическом плане Л.Р. Зиндер исходит из того, что характер материи, используемой в языке для плана выражения, безразличен, поскольку ведущим является план содержания, имеющий социально-психическую природу. Однако тот факт, что человеческий язык обязательно является звуковым, должен непременно учитываться при построении теории функционирования языка в обществе. Именно поэтому Л.Р. Зиндер уделяет столько внимания фонетическому аспекту речевой деятельности. Его книга "Общая фонетика" вышедшая двумя изданиями, является неоценимым путеводителем в сложной и многоаспектной по своей природе сфере общелингвистического описания звуковых свойств языка. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время нет ни одного специалиста в области общей и частной фонетики, который не был бы знаком с этой книгой и не почерпнул бы из нее совершенно необходимых сведений. Научная и педагогическая жизнь Л.Р. Зиндера самым тесным образом связана с кафедрой фонетики и методики преподавания иностранных языков Санкт-Петербургского университета, где он работал вместе с Л.В. Щербой и его учениками, затем был заведующим этой кафедрой, а в настоящее время, являясь профессором кафедры, продолжает занятия со студентами и аспирантами. Благодаря его авторитету и личному обаянию кафедра сумела сохранить атмосферу бескорыстного научного поиска и доброжелательности по отношению ко всем, кто заинтересован в этом поиске.

Л.Р. Зиндер – один из активнейших ученых, работающих в области прикладной лингвистики. Здесь можно упомянуть большую работу по созданию специальных таблиц, необходимых для оценки качества радио- и телефонной аппаратуры (именно эти таблицы использовались при проверке качества микрофона, которым пользовался Ю.А. Гагарин во время первого в мире полета человека в космос); с прикладными задачами связаны и исследования в области статистики звуковых элементов, и многочисленные экспериментально-фонетические работы, подходы к решению проблем автоматического распознавания и синтеза речи. Нельзя не упомянуть и такого важного направления интересов Льва Рафаиловича, как проблема реабилитации речи и слуха у больных с поражением соответствующих функций.

Именно интерес к прикладным направлениям языкознания позволил Л.Р. Зиндеру создать в 1958 г. при Ленинградском университете кафедру и отделение математической лингвистики, определить основные пути специализации студентов этого отделения и обеспечить подготовленными лингвистическими кадрами те предприятия, которые в них особенно нуждались.

К числу тех проблем, которые интересуют Л.Р. Зиндера, можно отнести и теорию

письма, и методику преподавания иностранных языков, и методику преподавания введения в языкознание.

Предлагаемая читателю статья Л.Р. Зиндера дает полное представление и о его теперешних научных интересах, и о его исследовательской концепции, она вносит свой вклад и в историю отечественной науки о языке.

Л.В. Бондарко

© 1994 г. Л.Р. ЗИНДЕР

БОДУЭН, ЩЕРБА И ИСТОКИ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ТРУБЕЦКОГО

С именем Н.С. Трубецкого у каждого фонолога ассоциируется прежде всего его "Основы фонологии" ("Grundzüge der Phonologie") [1], но, говоря об истоках теории Н.С. Трубецкого в связи с именами А.И. Бодуэна де Куртенэ и Л.В. Щербы, правильнее начать с "Polabische Studien", увидевшей свет еще в 1929 г. и гораздо менее известной широким кругам лингвистов.

В этой книге имеется глава "Das phonologische System des Polabischen", начинающаяся с упоминания Бодуэна и Щербы как основателей психофонетики и с выражения сожаления о том, что это направление в науке о языке мало известно среди славистов. Вместе с тем к первому же абзацу этой главы помещена следующая сноска: «При этом я должен подчеркнуть, что мои взгляды на "психофонетику", или фонологию отнюдь не покрываются взглядами Б. де К. и Л.В.Щ.» [2].

Уже в самом начале главы мы находим иллюстрацию к этой цитате. Как известно, по Бодуэну де Куртенэ и Щербе, в языке имеются только фонемы, а фонетика и фонология являются лишь разными аспектами одной лингвистической дисциплины; вспомним слова Бодуэна: "... можно разделить грамматику на три большие части: 1. фонологию (фонетику), или звукоучение, 2. словообразование в самом общем значении этого слова и 3. синтаксис" [3].

Иную точку зрения отстаивает Трубецкой в цитируемой главе; здесь, в отличие от "Основ фонологии", он не упоминает Соссюра, но соссюровские идеи уже сквозят в следующих словах: "Звук, – пишет он, – относится к речи, он – физическое, акустическое явление... фонема относится к языку и представляет собой социально-психологическое явление. Фонетика, которая изучает природу звуков речи, является естественной дисциплиной...; напротив, фонология, которая занимается представлениями звуков или фонемами, является частью грамматики" [2, с. 142]. Держась этой позиции, Трубецкой, соответственно, строго разделил описание звукового строя полабского языка на две главы: первая называется "Das phonetische System des Polabischen"; она посвящена детальному анализу полабских звуков и других фонетических явлений. Не касаясь фонологической (смыслоразличительной) функции звуков, Трубецкой стремится дать артикуляторную и акустическую характеристику всех гласных (монофтонгов и дифтонгов) и согласных полабского языка.

В целом первая глава занимает 70 страниц, то есть почти половину объема всей книги, в которой насчитывается 167 страниц.

Вторая глава – фонологическая "Das phonologische System des Polabischen" – гораздо короче первой, в ней всего 27 страниц. Начинается она с вышеприведенной ссылки на Бодуэна и Щербу. За этим следует раздел "Звук и фонема", в котором прежде всего дается правило, определяющее делимость звукосочетания. Членимость последнего имеет место только в том случае, если каждый из сочетающихся звуков встречается и в сочетании с разными другими звуками. Обращения к смыслу мы здесь не находим.

Далее идет правило парадигматической идентификации фонемы, согласно которому достаточным доказательством сопринадлежности двух звуков к одной фонеме является то, что они находятся в отношении дополнительной дистрибуции; критерий смыслоразличения и в этом правиле не фигурирует.

Иначе дело обстоит с правилом определения факультативного варианта – весьма важного открытия Трубецкого не только для диахронической, но и для синхронической фонологии. Это правило стоит того, чтобы процитировать его здесь: "Если определенный звук речи во всех словах, где он встречается, может заменяться определенным другим сходным звуком, без того, чтобы изменять значение слова, или же звучать как ошибка, то эти два звука речи являются факультативными фонетическими вариантами и объединяются в языковом сознании в одну единственную фонему" [2, с. 116].

Во второй главе очень интересен раздел "Коррелятивные свойства фонем", в котором мы имеем начало развития теории дифференциальных признаков. "Очень часто, – говорит здесь Трубецкой, – все различие между двумя звуками речи заключается в двух противоположных фонетических признаках, в то время, как все остальные фонетические признаки в обоих звуках примерно одинаковы" [2, с. 126]. Он еще не называет эти признаки релевантными и иррелевантными, но, конечно, это то же самое. Не приходится сомневаться, что сама идея самостоятельности отдельных признаков фонемы (кинем и акусм) была подсказана Трубецкому Бодуэном, который писал: "Однако же фонемы не представляют вовсе дальше уже не разложимых единиц; они являются результатом совокупного действия нескольких органов речи в нескольких местах произносительного аппарата... При этом с точки зрения слуховой, акустической, получается единичное впечатление" [4].

Заканчивается вторая глава установлением системы гласных и системы согласных полабского языка; приводятся соответствующие таблицы.

Новаторской является третья (последняя) глава – "Das morphonologische System der Polabischen Sprache". И в данном случае нет сомнения в том, что Трубецкой вдохновлялся идеями Бодуэна (здесь – теорией фонетической альтернации), но это не умаляет его большой заслуги. Никто, конечно, не станет отрицать, что именно Трубецкой является создателем морфонологии – новой лингвистической дисциплины, связывающей фонологию с морфологией. Ему принадлежит первое определение морфонемы, которое приводится в Travaux du Cercle linguistique de Prague [5]; как правильно указывает Трубецкой, «Улашин ввел слово "морфонема", но он употребляет его совсем в ином смысле, в значении нашего термина "фонема"» [5, с. 85] (см. также [6–7]). Морфонема по Трубецкому – это ряд чередований фонем.

Во второй части этой главы дается обзор полабских морфонем, или рядов чередований фонем.

Завершая рассмотрение книги о полабском языке, я могу сказать, что в ней уже намечены все важнейшие положения фонологической теории ее автора – Н.С. Трубецкого, выдающегося представителя передовой русской интеллигенции, мирового ученого и замечательного человека.

"Основы фонологии", конечно, не являются просто продолжением фонологической главы "Полабских штудий"; это творение зрелого оригинального ученого, которое сыграло громадную роль в развитии мировой филологической науки второй половины XX века. Содержащиеся в ней идеи, особенно, теория оппозиций и связанных с ней дифференциальных признаков, получили широкое распространение не только в разных областях лингвистики, но и в литературоведении [8]. До появления этого фундаментального труда Трубецкого даже о теории фонемы знали только те, кто был както связан с Бодуэном и Щербой. Во всяком случае, только они писали об этой теории. "Введение" в книге Л.В. Щербы "Русские гласные в качественном и количественном отношении", изданной еще в 1912 году [9], оставалось (и в значительной мере остается и сейчас) мало знакомым не только западным языковедам, как правило, не

знающим русского языка, но и у нас в России. Между тем, в этом "Введении" впервые в мировой науке была систематически изложена теория фонемы. Это отметила Э. Фишер-Йёргенсен, которая в книге, специально посвященной истории фонологии, писала: "Ясно, что наиболее разработанная теория фонемы была развита в России Л.В. Щербой, и что он оказал влияние на Пражскую школу" [10].

Даже сам термин "фонема" (не в соссюровском смысле) долго оставался неизвестным на Западе; до 30-х годов нашего века его не было даже в крупнейших энциклопедических словарях Запада, в то время как статья И.А. Бодуэна де Куртенэ "Фонема" была напечатана еще в 1899 г. в "Большой польской энциклопедии" на польском языке, а статья С. Булича "Фонема" на русском языке – в 1902 г. в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза–Ефрона (т. XXXVI).

Все это говорит о том, сколь важным для развития науки было появление "Основ фонологии". В этой книге влияние Соссюра на Трубецкого становится явным: Трубецкой часто упоминает его и ссылается на него. На центральном положении концепции Соссюра, согласно которой в языке нет ничего, кроме противопоставлений, построена система и типология фонологических оппозиций, а в конечном счете – и теория дифференциальных признаков[1].

Различение релевантных и иррелевантных признаков (дифференциальных и интегральных) и выведение отсюда определения фонемы как пучка дифференциальных признаков требует разъяснения. Каждый звук речи характеризуется определенной артикуляцией всех активных произносительных органов; звук образуется совокупностью всех интегральных признаков; один из них – дифференциальный – отличается тем, что он используется для различения какой-нибудь пары фонем в данном языке. Все это имел в виду Трубецкой[2], но недостаточно настаивал на этом, а потому и был неправильно понят. Позднее Р. Якобсон и его соавторы своей теорией дифференциальных признаков еще более усугубили недоразумение, что и вызвало справедливую критику. В 60-х – 70-х годах появился ряд экспериментально-фонетических работ, показавших, что дифференциальные признаки (ДП) гораздо более сложное явление, чем казалось создателям бинарной классификации ДП [11–13]. Трубецкой не учел значение фактора восприятия для опознания (идентификации) фонемы; на это, кажется, первым обратил внимание С.И. Бернштейн.

"Основы фонологии" хорошо всем известны, но я все же позволю себе остановиться на некоторых моментах, преимущественно связанных со взглядами Бодуэна и Щербы. Начну с того, что процедура фонологического анализа по форме сходна с той, которая принята Щербой в "Русских гласных..." [9]: от членимости звукового сочетания к идентификации фонемы. Что же касается метода анализа, то он у Трубецкого и Щербы принципиально различен.

Щерба начинает с ассоциативного анализа, но, как всегда, кончает обращением к смыслоразличительному критерию. Сопоставляя слова *сан* и *сон*, он пишет: «... мы узнаем элементы *s* и *n* в слове "сан" как тождественные с начальным и конечным элементом в слове "сон"», и далее продолжает – "здесь однако нужно иметь в виду одно обстоятельство: не все проходящие через сознание представления попадают в светлую его точку – большинство остается у порога сознания... Так как основной интерес речи лежит в смысловых представлениях, то звуковые нормально не находятся в светлом пункте сознания... Но дело в том, что элементы смысловых представлений оказываются зачастую ассоциированными с элементами звуковых представлений..., *а* в словах *корова*, *вода* ассоциировано с представлением субъекта; *и* в словах *корову*, *воду* с представлением объекта и т.д. и т.д. Благодаря подобным смысловым ассоциациям, элементы наших звуковых представлений получают

---

[1] В связи с этой теорией с бодуэновскими кинемами и акусмами см. выше с.127.

[2] "Одно и то же звуковое образование может быть членом как фонологической (дистинктивной) оппозиции, так и недистинктивной... Это возможно только потому, что каждое звуковое образование содержит несколько акустико-артикуляторных особенностей.. [1, с. 85].

известную самостоятельность" [9, с. 6–7]. Важно отметить, что, по Щербе, именно это и заставляет членить слоги *ва, да, ву, ду* на два элемента, две фонемы.

Трубецкой пошел иным путем; он объяснял членимость слога на фонемы через оппозиции. "Имеются, – говорит он, – фонологические единства, которые могут разлагаться на ряд еще более мелких фонологических единств, следующих один за другим во времени. Единства [mɛ:] и [by:] в немецких Mähne – Bühne относятся к этому типу: из оппозиций Mähne – gähne и Mähne – mahne вытекает, что [mɛ:] = = [m + ɛ], а из Bühne – Sühne и Bühne – Bohne вытекает, что [by:] = [b] + [y:]" [1, с. 33]. Трудно понять, как Трубецкой, который стремится к логичности фонологических построений, забыл в данном случае, что противопоставление, как и всякий другой вид различия, вовсе не влечет за собой членения. Ввиду этого его объяснение членимости звуковой последовательности следует признать несостоятельным.

Второе, что я хочу отметить, это – некоторая противоречивость теории нейтрализации фонологических противопоставлений и выведение из нее теории архифонемы. Во-первых, нейтрализация, означающая по Трубецкому утрату различения каких-нибудь двух единиц, возможна только тогда, когда эти единицы билатеральны. Примером их могут служить русские омонимичные слова *рог* и *рок*; оба произносятся – /rok/ и поэтому никакой носитель русского языка не может сказать, какое из этих двух слов он услышал; вне контекста их различить невозможно; это и означает, что различие между *ними нейтрализовано. Фонема же – единица односторонняя, она* лишена плана содержания, сама по себе она ничего не именует; поэтому понятие омонимии к фонемам неприложимо [14].

Третье мое замечание относится к понятию архифонемы. Трубецкой не заметил того, что он, анализируя функционирование архифонемы в речи, по существу, оперирует фонемой, как автономной, не имеющей омонимов, единицей. Исходя из того, что архифонема непроизносима (невозможно произнести вместо [g], [k] просто заднеязычный смычный, чтобы он не был ни глухим, ни звонким), Трубецкой говорит, что заместителем архифонемы в позиции нейтрализации становится один из членов соответствующей оппозиции. Для него нет сомнений в том, что в обоих словах – *рог* и *рок* – мы имеем фонему /k/. Из этого вытекает, что Трубецкой фактически признает, что в реальной речи никаких единиц, кроме фонем, не существует.

Итак, то, что Трубецкой называет нейтрализацией, это – не неразличение чередующихся фонем, а ограничение в дистрибуции одной из них, обусловленное определенными фонетическими закономерностями, действующими в данном языке. Нейтрализуются значимые единицы языка – слова и морфемы. Любопытно, что сам Трубецкой связывал нейтрализацию с ограничением дистрибуции, но не довел этой мысли до логического конца. В главе VI "Сочетания фонем" – говорится: "Снятие фонологических оппозиций это, конечно, важнейшее, но отнюдь не единственное важное явление в области учения о сочетаемости (Kombinationslehre)... Во многих случаях, может быть даже в большинстве случаев, недопущение фонемы в определенной фонетической позиции вовсе не вызывает снятия какой-либо оппозиции. Тем не менее это недопущение остается очень важным явлением, которое может иметь значение для типологии соответствующей системы фонем. Поэтому все правила ограничения употребления отдельных фонем и их комбинаций должны тщательно формулироваться при описании фонологической системы" [1, с. 218–219].

Принимая введённое Трубецким понятие нейтрализации, представители Московской фонологической школы (МФШ) отказываются признать его архифонему, но, не имея возможности отрицать, что в конце слова *рог* /k/ представляет собой вариант фонемы /g/, а не какой-нибудь другой, они по существу стоят на той же точке зрения, что и он.

Несмотря на все сказанное выше, архифонема не нечто выдуманное Трубецким; надо только помнить, что это не линейная, а психофонетическая единица, которую вслед за Щербой следует понимать как модель фонетического чередования, существующего в сознании носителя данного языка, позволяющую ему идентифицировать морфему, несмотря на различия, наблюдаемые в ее фонемном облике. Мы

отождествляем морфему *рок*, звучащую с /о/ и /k/ (*у коровы сломан один рог*), то с /а/ и /g/ (*у коровы большие рога*), так как в нашем сознании существуют модели чередований – /о/ || /а/ и /g/ || /k/.

Щерба писал об этом в посмертно изданной статье следующее: "Наконец, изучение чередования фонем данного языка обнаруживает реальную базу так называемого этимологического чутья в данном языке. ... Я имею в виду чутье говорящих на данном языке людей, которое является действительным языковым фактором, обуславливающим узнавание морфем и слов как тождественных и в тех случаях, когда фонетического тождества уже нет" [15].

Далее, я хочу выразить свое несогласие с выделением делимитативной функции звуковой стороны языка [8, с. 40–41], которое невольно спровоцировал Трубецкой. Сам он считал разграничительную функцию необязательной и второстепенной. В последней главе "Основ фонологии" – "Учение о разграничении" – он писал: «Эти две функции звуков, дистинктивную и делимитативную, следует строго различать. Дистинктивная функция для языка как такового обязательна; отдельные звуковые комплексы, которые соответствуют значимым единицам, должны обязательно быть различными, чтобы их не смешивать; чтобы каждый из этих звуковых комплексов был в достаточной степени определенным в своей индивидуальности, он должен состоять из определенных "звуковых знаков" (Schalmalen) в определенной последовательности. Это не может быть иначе, это связано с существом человеческого языка. Напротив, внешнее отграничение наделенных смыслом звуковых комплексов не является безусловно необходимым» [1, с. 241].

Из этой цитаты мы видим, что Трубецкой хотя и выделял делимитативную функцию, но он неповинен в ее преувеличении, и если некоторые авторы склонны преувеличивать эту функцию, то Трубецкого в этом упрекнуть нельзя. Его вина только в том, что он неуместно употреблял самый термин "функция". Прежде чем критиковать Трубецкого, надо уточнить значение этого термина. В нематематическом смысле он означает то, для чего служит данный предмет или какая-нибудь иная единица. Так, часы служат для того, чтобы показывать время, а то, что они тикают, к их функции отношения не имеет; кварцевые часы тоже показывают время, но не тикают. Заводные часы тикают, потому что так устроен их механизм; это их свойство, а не функция.

Примером функции из области языковых явлений может служить категория падежа имени существительного в русском языке, функция которой – указывать синтаксическую роль данного слова в предложении: *Книга лежит на столе. Он читает книгу.*

Обращаясь к трактовке звукового облика слова, мы можем сказать то же, что и о часах. Если в слове *книг* /kn'ik/, в отличие от слова *книга* /kn'iga/, мы имеем в конце фонему /k/, а не /g/, то это определяется не тем, что глухой согласный должен обозначать конец слова (/k/ часто встречается и в интервокальной позиции), то есть не его функцией, а свойством, вытекающим из соответствующего правила живых чередований согласных в русском языке. Что касается того, насколько необходимы пограничные сигналы для узнавания границ слов, то сам Трубецкой писал следующее: «Стоит ли какой-нибудь из "звуковых знаков" (реализованных фонем) в конце одного или в начале непосредственно следующего за ним наделенного значением звукового комплекса (=слова или морфемы), это большей частью недвусмысленно угадывается из всего контекста. Возможность недоразумения большей частью довольно незначительна, особенно потому, что при восприятии каждого языкового высказывания заранее настраиваются на определенную, узко ограниченную сферу понятий и требуется учитывать только те лексические элементы, которые связаны с этой сферой» [1, с. 241–242].

Сказанное здесь Трубецким подтверждается экспериментальными данными. В одной статье, относящейся к концу 60-х годов, говорится: "Изложенные выше результаты исследования объективных характеристик так называемых пограничных сигналов в русской речи, а также и восприятия границ слов носителями русского языка

заставляют критически пересмотреть учение о делимитативной функции звуков. ... Так, и в краевых позициях слов так называемые пограничные сигналы возникают не для того, чтобы разделять слова, а потому, что в таких позициях могут появляться такие фонетические факторы, которые обуславливают специфические фонетические явления. ... В речи на человека воздействуют такие сильные сигналы, как смысл значимых единиц – слов, служебных морфем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что носители русского языка, как показали наши опыты, столь не чутки к фонетическим пограничным сигналам, в тех случаях, когда такие сигналы имеются" [16].

Заканчивая имеющиеся у меня замечания, я могу сказать, что каковы бы ни были "неудачи" Трубецкого, они теряются в море драгоценных мыслей, содержащихся в его богатом научном наследии, и, в частности, в "Основах фонологии".

На этом можно было бы поставить точку, но хочется остановиться на одном моменте, лишь косвенно связанном с Трубецким – на вопросе об одной легенде, бытующей (трудно сказать, с какого времени) среди некоторой части наших языковедов; а именно – легенде о физикалистском характере учения о фонеме Льва Владимировича Щербы. Еще до ее возникновения она, по существу, была опровергнута известным фонетиком А.И. Томсоном. В 1913 г., вскоре после выхода в свет "Русских гласных..." он написал на эту книгу рецензию, в которой говорится: «Непонятно, что может выиграть фонетика от того, что Щерба вместо звуков речи оперирует понятием "фонема"» [17, с. 567]. Далее он цитирует щербовское определение фонемы: "Фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова..." [17, с. 567], после чего замечает: «По этому же вполне ясному определению "фонема" является неким фонетическим п р е д с т а в л е н и е м, которое способно ассоциироваться со смысловыми представлениями... . Но если вносить такие смысловые признаки... в чисто фонетическое исследование, как данное, то это было бы почти то же самое, как если бы в антропологической классификации учитывались признаки одежды. Это, однако, имеет принести только вред, как это и случилось у Щербы» [17, с. 567].

Другим невольным "разоблачителем" легенды до ее возникновения был основатель "Новомосковской школы" Н.Ф. Яковлев. В своей работе по фонетике кабардинского языка он строит весь фонологический анализ, отправляясь от следующих слов Щербы: "При диалектологических исследованиях самым трудным (и едва ли не самым важным) является не записывание разных тонких отличий, а констатирование того, какие отличия в данном языке важны, а какие не важны, с точки зрения смысла" [18].

Уверенный в своей правоте, Щерба стремился в лекциях как можно более доходчиво раскрывать смыслоразличительную (точнее говоря – словоопознавательную или конститутивную) функцию фонемы и всячески подчеркивал, что акустическое различие звуков недостаточно для различения их как языковых единиц. В одной лекции, читанной в 1918 году (сохранилась ее стенограмма), он говорил: "Вот, например, в итальянском языке есть два слова: *peska* и *pɛska*. Не знаю, уловили ли вы разницу между ними. Между тем для итальянцев эта разница в произношении очень заметна: в одном случае слово означает – он ловит рыбу, в другом – персик. В одном случае *e* (закрытое), в другом – ɛ (открытое). ... В русском языке есть это различие в произношении, например, *тень* и *в этот дом, с этот огурец*. Здесь два разных *e*: в тень и в этот; если прислушаться внимательно, то вы ясно эту разницу услышите. В итальянском эта разница гораздо меньше, но, однако, для нас она не важна, потому что она получается в силу чисто механических условий, в известных комбинациях, и никогда никакими смысловыми ассоциациями не может сопровождаться, а в итальянском это различие дифференцирует смысл" [19, с. 155–156]. Таким образом, Щерба выступал с опровержением легенды о себе еще до ее появления.

Не зная о легенде, но уже после ее рождения, Трубецкой разоблачал ее в "Основах фонологии". К словам: «"Фонологические единицы, которые с точки зрения данного

языка разлагаются на более мелкие следующие одна за другой фонологические единицы; мы называем ф о н е м а м и" он делает следующую сноску: «"В 1912 году Л.В. Щерба дал в "Русских гласных" следующее определение фонемы: "Фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова» [1, с. 34]. Трубецкой к этому заметил: «В этом определении (еще целиком соответствующем позиции ассоциативной психологии), как и в "Court expose de la prononciation russe" (1911 г.) Щербы, кажется, впервые была столь четко подчеркнута смыслоразличительная функция фонемы» [1, с. 155–156].

Приходится удивляться тому, что Трубецкой, справедливо считавший столь важной эту функцию, сам давал в "Основах фонологии" следующее правило определения парадигматической идентификации фонемы без ссылки на критерии смыслоразличения (оно фигурировало уже выше) в связи с разбором "Polabische Studien", но его стоит привести и здесь): "3-е правило: Если два акустически или артикуляторно родственных звука некоего языка никогда не встречаются в одном и том же звуковом окружении, то они являются комбинаторными вариантами одной фонемы" [20, с. 9].

Отсутствие такой ссылки почему-то не заметили критики Щербы, но заметил сам Щерба. В моем распоряжении имеется экземпляр брошюры Трубецкого "Anleitung zu phonologischen Beschreibungen", принадлежавший лично Льву Владимировичу. В ней на полях имеются собственноручные замечания Щербы, сделанные красным карандашом. Некоторые правила и замечания к ним я приведу: В 3-м правиле Щерба подчеркнул слово "родственных" и написал на полях – "Плохо!".

Далее, к этому правилу Трубецким сделано следующее примечание: "В данном языке имеется только один звук, который встречается исключительно в одном определенном фонетическом положении, и только один другой звук, который как раз в этом фонетическом положении не встречается. В таком случае оба звука являются комбинаторными вариантами одной и той же фонемы, во всяком случае, при условии, что они акустически и артикуляторно родственны между собой" [20, с. 9]. Щерба подчеркнул слова: "они акустически и артикуляторно родственны между собой" и на полях поставил вопросительный знак.

И последнее: "Например: в корейском *s* и *r* в ауслауте не встречаются, тогда как l возможен как раз только в ауслауте; так как *l*, будучи плавным, является с *r* более близким по родству, чем с *s*, то здесь только *r* и *l* могут считаться комбинаторными вариантами одной фонемы" [20, с. 9]. На полях Щербой написано: "Неубед".

Таковы факты. Спрашивается: кого здесь можно было бы обвинить в физикализме? Щербу или Трубецкого? Трубецкой ведь, конечно, знал щербовское определение фонемы.

Недовольство поборников легенды о Щербе вызвало еще и то, что он во "Французской фонетике", желая облегчить понимание абстрактного характера фонемы, подводил читателя к ее определению через понятие "типа". "Точно так же, – писал он, мы можем заметить что в словах *мел, сел, дед* и т.п. на самом деле мы произносим другое *е*, чем в словах *мель, сели, дети* и т.п. Первое ударенное *а* в словах *рада, сада, лада* и т.п. мы произносим по-другому, чем второе, неударенное, и т.п. Однако, все эти сходные между собой, но могущие быть различаемыми на слух звуки мы объединяем в русском языке в один звуковой тип *ы*, в один звуковой тип ... *э*, в один звуковой тип *а* и т.д." [21, с. 16]. И, по-видимому, для того, чтобы быть правильно понятым, Щерба делает вывод: "Эти звуковые типы и имеются в виду, когда говорят об отдельных з в у к а х р е ч и. Мы будем называть их ф о н е м а м и. Реально не произносимые различные звуки, являющиеся тем частным, в котором реализуется общее (фонема), будем называть о т т е н к а м и ф о н е м" [21, с. 17]. Чем же определяется это общее? – спрашивает Щерба, и отвечает: – Очевидно, именно коммуникацией, которая является основной целью языка, т.е. в конечном счете смыслом; еди-

ный смысл заставляет нас даже в более или менее разных звуках узнавать одно и то же" [21, с. 18].

Разве употребление слова "тип" в значении чего-то обобщающего не принято в науке? Может быть, оно неизвестно критикам Щербы?

Не нравится им употребление слова "звук" в фонологическом контексте. Однако не кому иному, как А.А. Реформатскому, принадлежат следующие, поистине золотые, слова: "Весь смысл фонологического аспекта в фонетике именно в том, чтобы не отдавать фонетику естествознанию, а понять звуки, явления физические, в качестве обязательного элемента языка как общественного явления" [22].

А.А. Реформатский, конечно, глубоко прав, но непонятно, почему он не увидел в лице Щербы единомышленника. Выше приводилась цитата из лекции Щербы, где он показывает противоречие между физическим и социальным характером фонемы, а также доминирующую роль смысла в ее определении. Можно дополнить ее цитатой еще из одной лекции: "Совершенно ясно, что весь язык сводится к смыслу, к значению. Нет смысла, нет значения – нет языка. ... Значит, когда мы говорим о звуках человеческой речи, то мы говорим, думая на самом деле не о звуках, а о звуковых представлениях" [19, с. 153]. Напомню, что Щерба писал об этом еще в "Русских гласных...": "Дело в том, что элементы смысловых представлений оказываются зачастую ассоциированными с элементами звуковых представлений... . Благодаря подобным смысловым ассоциациям, элементы наших звуковых представлений и получают известную самостоятельность" [13, с. 114–115].

Так по Щербе нужно понимать отношение между звуком речи и фонемой. Каждый фонолог, не примыкающий к МФШ, увидел в мысли Щербы понятное всем утверждение, что фонема, как единица не материальная, не может выполнять свою функцию в языке, не реализуясь в речи в звуке в физическом смысле ("фоне").

А.А. Реформатский и другие приверженцы теории МФШ не могут в соответствующих случаях употреблять термин "фонема", так как подразумевают под ним порядковый номер ее в морфеме. Тем не менее, им не уйти от того, что фонема звуковая единица. Как иначе можно узнать, что в слове /vos/ *воз* слышен звук /s/? А ведь по МФШ именно /s/, а не неизвестно какой звук является в этом случае вариантом фонемы /z/. Для других фонологических теорий вопроса в этом случае не возникает, поскольку вслед за Трубецким считается, что чередование *z//s* в русском языке образует не какую-нибудь фонему, а морфонему.

Понимая, что без "звука" фонологии не обойтись, Р.И. Аванесов предложил различать две единицы: фонему – звуковую единицу, служащую для опознания звуковой стороны слова (то есть фонему в общепринятом значении этого термина), и фонемный ряд. Но Р.И. Аванесов не отождествлял своей "фонемы" со щербовской; "... но нам представляется, – писал он, – недостаточной и общепринятая в настоящее время формулировка, согласно которой фонема ... обладает способностью дифференцировать, различать слова и формы... . Думается, что было бы точнее говорить о том, что фонемы различают не значения слов и форм как таковых, а лишь их звуковую оболочку..." [23, с. 423].

Р.И. Аванесов не заметил, что он в своем уточнении, по существу, говорит о фонеме как о физической единице, противопоставляя ее фонемному ряду, представляющему собой абстракцию от живых чередований, разумеется, не имеющую физического воплощения в потоке речи. Мысль о наличии в языке двух различных по своей природе звуковых систем кажется мне неприемлемой в методологическом отношении.

Из сказанного ясно, что обвинять Р.И. Аванесова можно не больше, чем П.С. Кузнецова, который своим "звуком языка" ничего нового не внес. Разница между его звуком языка и аванесовской фонемой состоит (не говоря о терминологической), в основном, в более физикалистской трактовке этого понятия.

Возвращаясь к легенде о Щербе-физикалисте, надо сказать, что с момента появления "Основ фонологии" некоторое время казалось, что она забыта. Но затем эта легенда получила как бы второе рождение. В работе, вышедшей в 1970 году, А.А. Реформатский не упоминает приведенные выше слова Трубецкого о приоритете Щербы в определении смыслоразличительной функции фонемы и отрицал этот неоспоримый факт. При этом А.А. Реформатский привел цитату из статьи одного из виднейших учеников Бодуэна и Щербы – С.И. Бернштейна, которая звучит так: "Выделение в понятии фонемы признака способности к различению значений знаменательных единиц языка восходит к И.А. Бодуэну де Куртенэ, который еще в 1868 году (Это значит 100 лет тому назад! – *А.Р.*) сформулировал его применительно к фонетическим чередованиям..." [22, с. 108].

А.А. Реформатский приводит много цитат из работ С.И. Бернштейна, но следующую цитату он не упоминает, а в ней сказано: "Вместе с тем С.К. Шаумян исходит из понятия словоразличения, которое введено в фонологию в качестве основного критерия фонемы не Бодуэном де Куртенэ, а Л.В. Щербой. Но об этом общепризнанном факте и о том, что именно Щербе принадлежит эта заслуга, – С.К. Шаумян странным образом забывает" [24].

Так возродилась легенда о Щербе. К сожалению, она жива и сейчас среди части наших языковедов, хотя за пределами страны она давно была разоблачена (см. выше ссылку на книгу Э. Фишер-Йёргенсен). Легенда эта распространена в московских и многих периферийных ВУЗ'ах, где не принято знакомить учащихся с теорией фонемы Л.В. Щербы. Незнакомы с ней и многие преподаватели. Вспоминается, как Л.Л. Буланин как-то на заседании спросил у одной известной русистки, в какой работе Щербы она читала такое определение фонемы, в котором нет указания на ее смыслоразличительную функцию. Она ответила: "Я сама не читала, но все так говорят". Вероятно, так, действительно, и говорят...

Особенно огорчительно, что даже люди, хорошо знающие фонологическое наследие Щербы, как бы забывают о нем. Я имею в виду статью В.К. Журавлева, в которой имеются такие строки: «Но в 1917 г. не существовало фонологии. Было лишь предложение Фортунатова строго отличать "физиологию звуков" от фонетики как лингвистической дисциплины» [25].

Что В.К. Журавлев понимает под "фонологией"? Можно ли понимать его слова так, что в трудах Бодуэна, относящихся еще к XIX веку, фонологии не было, как в "Русских гласных..." Щербы, вышедших в 1912 году? Действительно ли он думает, что слов Фортунатова о том, что фонетика – лингвистическая дисциплина, достаточно, чтобы считать это началом фонологии?

Можно с уверенностью утверждать, что Фортунатов не признавал фонемы, как не признавал ее его ученик А.И. Томсон. Не может быть, чтобы Фортунатов не знал упомянутой выше рецензии Томсона на Щербу, и что он не был согласен с содержанием этой рецензии. Едва ли Томсон решился бы так резко выступить с отрицанием понятия фонемы, если это противоречило бы взглядам его учителя – Фортунатова.

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что, называя Фортунатова предтечей фонологии, В.К. Журавлев неправ. Иначе как можно объяснить тот факт, что упоминаемые им ученики Фортунатова – Н.Ф. Яковлев, Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой, Р.И. Аванесов, В.Н. Сидоров и др. никогда на него не ссылаются.

Я, конечно, далек от того, чтобы умалять значение Фортунатова, о котором Л.В. Щерба писал следующее: "Филипп Федорович был гениальнейшим лингвистом своего времени, и только какие-то внешние обстоятельства помешали ему сделаться одним из вождей мировой науки о языке" [26].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Trubetzkoy N.S.* Grundzüge der Phonologie. Wien, 1938.
2. *Trubetzkoy N.S.* Polabische Studien. Wien, 1929.
3. *Бодуэн де Куртенэ И.А.* Некоторые замечания о языковедении и языке // Избр. тр. по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963. С. 65.
4. *Бодуэн де Куртенэ И.А.* Введение в языковедение. Избр. тр. по общему языкознанию. М., Т. 2. С. 253.
5. *Trubetzkoy N.S.* Sur la morphonologie //TCLP. 1929. N 1.
6. *Касевич В.Б.* Морфонология. Л., 1986.
7. *Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г.* Морфонология в описании языков. М., 1983.
8. *Касевич В.Б.* Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
9. *Щерба Л.В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912.
10. *Fischer-Jorgensen Eli.* Trends in phonological theory. A historical introduction. Copenhagen, 1975. P. 1.
11. *Зиндер Л.Р., Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А.* Акустическая характеристика различия твердых и мягких согласных в русском языке // Уч. зап. ЛГУ. 1964. № 325 (Серия филол. наук. Вып. 52).
12. *Бондарко Л.В.* Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем: Дис. ... докт. филол. наук. Л., 1969.
13. *Бондарко Л.В., Зиндер Л.Р.* О некоторых дифференциальных признаках русских согласных фонем. ВЯ. 1966. № 1.
14. *Зиндер Л.Р.* Общая фонетика. Л., 1979. С. 60–63.
15. *Щерба Л.В.* Очередные проблемы языковедения // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 57.
16. *Бондарко Л.В., Зиндер Л.Р., Светозарова Н.Д.* Разграничение слов в потоке речи // ВЯ. 1968. № 2. С. 80–81.
17. *Томсон А.И.* Л.В. Щерба. Русские гласные в качественном и количественном отношении // AfslPh. 1913. Bd XXXIV. Hf. 3–4.
18. *Яковлев Н.Ф.* Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 31.
19. *Щерба Л.В.* Из лекций по фонетике // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
20. *Trubetzkoy N.S.* Anleitung zu phonologischer Beschreibungen. Brno, 1935.
21. *Щерба Л.В.* Фонетика французского языка. Л.; М., 1937.
22. *Реформатский А.А.* О соотношении фонетики и грамматики (фонологии) // Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 399.
23. *Аванесов Р.И.* Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы // Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. С. 423.
24. *Бернштейн С.* Против идеализма в фонетике. ИАН ОЛЯ. 1952. № 6. С. 555.
25. *Журавлев В.К.* Ф.Ф. Фортунатов и лингвистическая революция XX в. // Вестник МГУ. 1990. (Серия 9: Филология. № 1). С. 28.
26. *Щерба Л.В.* Фортунатов в истории науки о языке // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 404.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1994

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

© 1994 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

О РАБОТЕ XI МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ

(Историческое языкознание)

По данным оргкомитета XI МСС, попавшим и в нашу печать, очередной съезд славистов собрал свыше тысячи участников из тридцати пяти стран. Реальность этих цифр подкрепляется внушительной программой съезда, изданной Словацким комитетом славистов, согласно которой на съезд, проходивший с 30 августа по 8 сентября (точнее – с 31 августа по 7 сентября) 1993 г. в столице Словацкой республики Братиславе, было представлено (заявлено) 1.134 доклада (включая письменные сообщения). Как это обычно бывает, жизнь внесла свои коррективы: довольно многие докладчики не смогли приехать по ряду причин, в том числе самых суровых (болезнь или смерть). Организаторы оказались на высоте; возникавшие пробелы в программе оперативно замещались тематически близкими докладами из числа письменных сообщений ("Skripty") и даже вновь заявленных докладов, на информационных стендах и в ежедневном печатном бюллетене заблаговременно сообщались все предстоящие изменения, для каждого доклада было зарезервировано "свое" получасовое время (20 мин. на доклад, 10 мин. – вопросы и выступления и даже – 5 мин. вслед за этим "na presun do inej miestnosti" в случае, если вы желаете срочно перейти для слушания другого доклада, место и время которого так же точно оговорено в программе). Текущая практика, правда, эту отменную теорию нарушала, порой – не без нашего участия; интересная дискуссия затягивалась, нерационально разделенные программой заседания представилось нам самим целесообразно объединить и т.д.

Кстати, еще раз о программе. В настоящем своем сообщении я ограничиваюсь тематикой исторического языкознания, сознавая, разумеется, что сколько-нибудь строгое разграничение при этом невозможно и малополезно, интердисциплинарность привлекает исследователей все больше (о потенциальных открытиях именно на стыках дисциплин специально говорил на съезде археолог В.В. Седов, который и сам докладывал об этногенезе славян "по данным археологии и гидронимии"). Но невозможна, к сожалению, и тематическая полнота, которой в данном случае препятствует ряд причин. Одна из них – программа. Если в памяти ветеранов славистических съездов пиком тематической хаотичности остался VIII МСС (Загреб, 1978), когда любая тема могла соседствовать на заседании с любой другой, обычно же от съезда к съезду сохранялось – пусть старомодное, но традиционно удобное – разделение тематики на большие секции по (1) славянскому языкознанию, (2) славянским литературам, (3) истории, этнографии, фольклору (возможные случавшиеся вариации здесь опускаю), в программе XI МСС эта привычная тематическая дихотомия или трихотомия славистики была весьма своеобразно (порой – несоразмерно) запрятана в пять основных тем, слишком тесно привязанных к чешско-словацкому региону: (I). "Великая Моравия и славяне в контексте европейской истории и культуры" (куда, оказывается, входил весь этногенез с древнейшей историей по

данным археологии, топонимии и этнолингвистики, вплоть до раннефеодальных государств, а также – начала письменности, литературных языков, духовная и материальная культура...); (II). "Гуманизм, ренессанс и барокко у славян" (здесь вновь можно встретить литературные языки, но и очень много другого); (III). "Славянское национальное возрождение в XVIII–XIX веках и его международный контекст"; (IV) "Славянские народы, их языки, литературы, устная словесность, культура и гуманитарные науки в XX веке" (очень сложная смесь семиотики – на первом месте! только потом – славянской филологии, сравнительного и прочего языкознания, предназначенного, заметим, для реконструкции того, что зашифровано выше под темой I; периодизация всего – "языков, литератур и культур", далее, как из мешка, – грамматика, лексикология, ареалогия, текстология, контакты, мировой контекст...); (V). "Славистика в системе гуманитарных наук, ее предмет, история, методы и результаты".

Как видим, вся съездовская программа как бы повернута в сторону культурной истории. При этом нарушен традиционный примат филологии, даже обычно – лингвистической филологии. Не было в сущности секций, а то, что в программе названо "заседаниями пленумов секций" (общим числом 15), оказывается реально подсекциями, на самом же деле последних, временами – о ч е н ь д р о б н ы х, оказалось не менее тридцати пяти. Среди них, кстати, уже не удалось обнаружить секции (или подсекции) "Лексикология и лексикография", хотя как пленарная таковая была обозначена, только почему-то с докладом С. Кароляка по аспектологии. При всем уважении к аспектологии (о последней еще скажем дальше специально) и к Кароляку, хотелось бы указать на это как на недостаток организации: в конце XX века, 70–80-ые годы которого неслучайно были названы "золотым веком лексикографии" (L. Zgusta, International encyclopedia of lexicography. Vol. III. Berlin, 1991. P. 3158), славистический съезд должен был предусмотреть специальную более тщательно подготовленную подсекцию, посвященную славянским словарям и словарному делу. Может быть, поэтому потом особо надо будет сказать о Комиссии лексикологии и лексикографии.

Известно, что большие съезды с их практикой одновременного (параллельного) заседания секций и подсекций труднообозримы. Как оказалось, это целиком относится и к XI МСС. Даже если опустить вкравшиеся неточности в связи с неявкой докладчиков, в с е х д о к л а д о в п о я з ы к о з н а н и ю по программе было свыше трехсот (плюс сто с лишним лингвистических письменных сообщений). Лично для меня этот большой съезд ограничился, кроме общепленарного открытия и закрытия, работой одной секции Iа "Этногенезология, этногенез и древнейшая история славян с археологической, исторической, топонимической и этнолингвистической точки зрения", где я прочел свой доклад "Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения", а также прослушал другие доклады и участвовал в обсуждении некоторых из них. Ввиду очевидного комплексного характера секции из двадцати восьми ее докладов лингвистическими оказалась только часть. Идя навстречу пожеланию болгарского коллеги И. Дуриданова, мы приняли в свою секцию его с близким тематически докладом "Заселение славянами Фракии по данным топонимии", числившимся по секции "Ономастика". Эта инициатива благоприятно сказалась на интенсивности наших дальнейших дискуссий. Но это было, пожалуй, все, что оказалось возможным сделать. Уже секция Iв "Методы реконструкции праславянского языка и славянской прародины", тематически, казалось бы, трудноотторжимая от секции Iа по этногенезу, заседала параллельно и отдельно и поэтому оказалась вне нашей (моей) досягаемости. В своих дальнейших суждениях о работе съезда, его докладах и докладчиках я основываюсь на впечатлениях от прочитанного (доклады в отдельных оттисках и сборниках к съезду, на этот раз весьма скудно доступных, сравнительно с опытом подготовки прежних съездов, возможно, по причине нынешних почтовых неурядиц; впрочем, рекорд "недоступности", боюсь, побил наш сборник докладов по языкознанию, значительная партия которого сразу после доставки в Братиславу исчезла при довольно темных обстоятельствах). В неменьшей степени я опираюсь также на информацию, предоставленную мне для моей нынешней цели коллегами, докладчиками и

активными участниками съезда – Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркиной, И.С. Улухановым, В.Н. Виноградовой, В.Б. Крысько, Н Н. Пшеничновой, Л.В. Вялкиной, С.И. Иорданиди и А.В. Бондарко. Приношу им свою благодарность за помощь в насыщении картины языкознания, причем не только исторического, на минувшем съезде. Старались помочь, как могли, и мои словацкие коллеги, когда я готовился выступить со своими впечатлениями еще в Братиславе, для чего археолог Т. Штефановичова представила мне полезный реестр докладов и выступлений в секции по этногенезу. Из-за моей преимущественной связи именно с этой секцией словацкие коллеги воспринимали меня почему-то как историка; при этом на просьбу представить мне отчеты о заседаниях и дискуссиях я получал, порой – невпопад, информацию о народном самосознании, возрождении и романтизме, новейшей политической и культурной истории... Как бы то ни было, хочу высказать искреннюю благодарность словацким участникам – организаторам и друзьям, самоотверженным помощникам и помощницам из "штаба" (так он назывался в обиходе!) во главе с Я. Дорулей. Именно они создавали и поддерживали ту незаменимую атмосферу доброжелательства в Братиславе.

Начав с секции Ia "Этногенезология, этногенез, etc.", выделю самое существенное оттуда в контексте съезда и историколингвистического славяноведения. Это прежде всего – важность лингвистических критериев в работах комплексного характера, безотносительная актуальность лингвистической типологии и лингвистической географии. Если речь идет об известных истинах, не следует думать, что они уже достаточно внедрены в исследовательскую практику, взять хотя бы естественную оппозицию инновационного центра и архаизирующей периферии ареала. В дискуссии по докладу Седова Дуриданов пытался искусственно противопоставить явно периферийное скопление архаичных славянских гидронимов среднеднепровского Правобережья у Седова – по Трубачеву и древний среднедунайский центр праславянства – по Трубачеву же, хотя в терминах естественного ареала никакого противоречия здесь нет. Историков, археологов, лингвистов – всех занимает проблема континуитета (преемственности) и дисконтинуитета. Согласно археологам, абсолютно преобладал дисконтинуитет (смена культур) и к северу от Карпат и к югу, на Среднем Дунае. Однако это еще не основание, чтобы в смене культур обязательно видеть смену этноса. Если языкознание располагает с в о и м и данными о преемственности языков в регионе, значение этих данных вполне автономно. Среди историков все еще сильна тенденция позитивистски прямолинейно воспринимать и обобщать случайные по большей части лакуны письменной истории (пресловутое длительное "неупоминание" славян на Дунае и др.). Вспоминается эмоциональное выступление в дискуссии польского историка Л.А. Тышкевича: "Samo regnavit feliciter . a potem co? A potem – nic!" (Само правил счастливо [слова средневековой латинской хроники о древнейшем государственном образовании западных славян]... а что потом? А потом – ничего!). Именно в таких случаях должна вступать в силу лингвистическая реконструкция (типологическая и этимологическая). Сказанное могло бы иметь прямое отношение к больному вопросу о Великой Моравии, ясность в котором нужна, но она труднодостижима, поскольку исследователи замыкаются в аргументации церковноисторической, текстологической, чрезмерно обобщая ее и примешивая, к сожалению, сюда также свои национальные чувства, которые, разумеется, не хотелось бы задевать. Лингвисты практически не участвовали в обсуждении узкого вопроса о названии и локализации Великой Моравии (хотя уже в двух лингвистических докладах на открытии съезда Великая Моравия фигурировала), и это притом, что историческое языкознание способно сказать здесь свое слово. А все дело в неправомерном отождествлении Моравии (историческая область по реке Мораве между Чехией и Словакией) и Великой Моравии. Кульминацией на съезде был доклад американского историка И. Бобы, который за последние двадцать лет стал знаменит своим тезисом о южном, паннонском расположении Великой Моравии. В дискуссии чешские и словацкие историки с редким единодушием отстаивали тождество Моравия = Великая Моравия, но запомнилось и резкое выступление старика Герберта Гальтона, который напомнил один неотразимый контр-

аргумент, сославшись на то, что Константин Багрянородный, впервые, кстати, упоминающий о Великой Моравии, помещает ее к ю г у от Τουρκοι, то есть "венгров" в его терминологии. И Бобу упрекают в том, что он не филолог, чего он и сам не отрицает, но я не услышал убедительной филологической критики в его адрес, в том числе и от филолога Х. Бирнбаума, выступившего со специальным докладом "Где был центр моравского государства?" Историко-лингвистическое, в духе пространственного релятивизма, дополнение к дискуссии формулируется довольно просто, как некая м и г р а ц и о н н а я т р а с с а, начало которой – чешко-словацкая Morava / Моравия, а конец – Великая Моравия на юге (ср. то, что можно сказать о Великобритании, Великороссии). В этом отношении многозначительна формулировка докладов Р. Вечерки "Позиция старославянского языка в сложной языковой действительности древней Моравии" и З. Кланицы (оба – Чехия) "Мифология древней Моравии". Моравия (она же – древняя Моравия) и Великая Моравия – это разные вещи.

В целом, как это видно, доклады и дискуссии по этногенетической проблематике имели бесспорно стимулирующий характер, причем затрагивались весьма разнообразные вопросы, ср. доклад В.В. Мартынова "Этногенез славян. Язык и миф" с уклоном в теонимию, древние имена божеств, вызвавший дискуссию как в плане этимологии этой лексики (выступил Л. Мошинский, который сам имел доклад "Проблема кельтских влияний на древнеславянскую теонимию"), так и в принципиальном плане желательности разработки диалектологии культуры, в том числе – диалектологии древней религии славян, иранцев. Заметным явлением был доклад Н.И. Толстого и С.М. Толстой "Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. **vesel-*)", вызвавший соответствующую дискуссию; лично мне видится интересной дополнительная поисковая возможность, представляемая для новых этимологических решений этнокультурной семантикой обрядовых текстов (случай **vesel* – **vesna*: исконное родство или народная этимология?).

Органически продолжил работу секции "Этногенезология, этногенез..." круглый стол по этногенезу словаков, о котором также необходимо сказать в связи с одним явлением, имеющим не только историколингвистический, но и национально-исторический аспект. Из околосъездовской научной литературы, как, впрочем, и из текущих материалов съезда (например выступление Р. Крайчовича на означенном круглом столе) обратила на себя внимание тенденция удревнять становление словацкого этноса; терминологически это выразилось в словоупотреблении starí Slováci "древние словаки", притом, что возведение "древних словаков" к этнической стадии *Sloviene / Slovania / slověne* вызывает определенное концептуальное сопротивление (ввиду этнической недифференцированности этих последних праславян?) Даже если опустить возможные политико-идеологические инспирации в подобных случаях, наше внимание вправе привлечь чисто научная сторона вопроса, включающая и историческое словообразование, и ареальный аспект, поэтому мне придется кратко повторить то, что я сказал на круглом столе и на пленарном закрытии съезда. Современные *Slovák – Slovenka* "словачка" уже по логике внутренней реконструкции восходят к древнему самоназванию всех славян – **slověninъ, *slověne*. Нынешние формы представляют собой западнославянский тип развития, ср. *Polak ← Polanin, Ślązak, Slezák ← *slęzaninъ/ne*. Особенно актуализировалось самоназвание славян на неславянском пограничье: *Slovenci, Slowińcy*, слов ѣ не новгородские. Внутри ареала, наоборот, сохранялось хуже, было как бы избыточным. Привычно считать Словакию ц е н т р о м славянства, но как тогда быть с отмеченным феноменом п е р и ф е р и й н о с т и самоназвания **slověne*? Умозаключение, к которому логично при этом прийти, кажется не лишенным интереса в славянско-словацком аспекте, одном из актуальных для нашего съезда. Ныне срединный, ареал словаков, в прошлом – этноса с самоназванием **slověne*, напоминающий амфитеатр, спускающийся к Дунаю (точный метафорический образ, который я услышал от А. Габовштяка в одной из бесед), был всегда открыт к дунайскому Югу, а с севера огражден не только горами, но и, наверное, давним

этническим рубежом. Отсюда столь же давняя традиция именования словаками, то есть "славянами".

Работа секции праславянского языка протекала относительно спокойно. Ф. Славский и Г. Лант не приехали; заявленный Славским доклад "Реконструкция праславянского словаря", кстати, отсутствовал и в корпусе печатных польских докладов по языкознанию. Польские докладчики В. Жепка и Б. Вальчак анализируют «Судьбы праславянской лексики в польском языке (по данным чтения "Праславянского словаря")» – так, как если бы наш более продвинутый ЭССЯ не существовал в природе (с польскими авторами это бывает). Из лаборатории нашего Этимологического словаря вышли, можно сказать, доклады Л.В. Куркиной "Панноно-славянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка" и Ж.Ж. Варбот "История славянского этимологического гнезда в праславянском словаре". Остальные доклады секции в основном были посвящены сравнительно-исторической морфологии, морфонологии и фонетике: У.Р. Шмальстиг "Итеративы продленной ступени в балто-славянских языках"; Г. Фаске "Праславянские группы *tert / telt* и изменение *е > о в серболужицком"; Й. Райнхарт "Празападнославянский глагол". Последний доклад обращает на себя внимание постановкой проблемы выделения ряда древних региональных, диалектных черт глагольной морфологии (празападнославянские аорист на *-ech*, 1 л.мн.ч. на *-my* и др.).

Доклад Х. Шустер-Шевца "Еще раз о датировке и результатах второй палатализации задненебных в славянском" тематически весьма близок к докладу Я.И. Бьёрнфлатена "Диалекты Псковской области в общеславянском контексте", запрятанному в секцию IVd "Славянский диалектный и этнографический мир с географической точки зрения": оба критически пересматривают исключения из II-ой палатализации на русском Северо-Западе (работы С.М. Глускиной и А.А. Зализняка). К ним примыкает доклад М. Энриетти "Вторая славянская палатализация в свете интерференции языков", почему-то в секции Ie "Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры"... Ясно, что лишь, собрав все три доклада в одно место, можно было бы организовать неплохую сессию по этому проблематичному явлению славянской фонетики.

Как было замечено, на съезд не приехали некоторые ученые старшего поколения; именно на съездах приходишь к мысли о смене поколений в науке. Неприезд других сделался уже традицией, способной удивлять только очень свежих участников. Зато вид 84-летнего, но неизменно бодрого проф. С. Урбанчика, посещавшего и утренние, и послеобеденные заседания, согревал наши души, как недостающий символ связи этих самых поколений.

Этимологическая проблематика почти не нашла отражения в программе съезда, где, как уже сказано, практически не оказалось и лексикологии с лексикографией (но ср., впрочем, очень полезный доклад У. Биргегорд о словаре Славинецкого). Исключение: доклад Э. Гавловой "Славянская этимология и омонимия" в секции Ie "Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры" (!). Впрочем, сюда примыкал и доклад Е.А. Хелимского о славянской христианской терминологии в венгерском. И все же информация по славянской этимологии присутствовала, она была рассеяна в докладах самой разной тематики и, что важно, в кулуарах съезда. То удалось получить 3-ий, последний, выпуск старославянского этимологического словаря, то неожиданно – выпуск 5-ый давно, кажется, прерванного полабского этимологического (К. Полянский), то подтвердится весть о подготовке кашубского этимологического словаря В. Борыся и Х. Поповской-Таборской, а в воздухе витает многократно повторяемый вопрос о судьбе выпуска 18 нашего Этимологического словаря славянских языков... Рядом с этимологией естественно вспомнить историческое словообразование, представленное в сущности только докладом И.С. Улуханова "Состояние и перспективы развития исторического словообразования славянских языков". Доклады Б. Креи и Г.П. Нещименко больше тяготели к сопоставительному словообразованию.

Типологический по своей теме доклад Г. Гальтона "Встреча алтайского и праславянского языков" отражал тоже уже традиционную тенденцию объяснения славянского языкового типа, в данном случае – силлабического сингармонизма, прямолинейной алтаизацией, хотя автор вынужден признать славянскую самобытность (три и более согласных в начале слова и слога в славянском). Помнится, на прошлом съезде славистов аналогичные адстратные поиски Гальтона встретили критику Д. Брозовича. Не знаю, может ли обрадовать любителей типологии и классификации славянских языков такая новость, как "боснийский язык" (bosanski jezik), язык мусульман Боснии и Герцеговины (речь, разумеется, все о том же сербохорватском...); заявлены два письменных сообщения на тему.

Корпус докладов по истории грамматического строя был дополнен уже в дни съезда с российской стороны докладом В.Б. Крысько "Развитие категории одушевленности в славянских языках: легенда и факты".

В докладе В.А. Дыбо и коллег "Праславянская акцентология и лингвогеография" достаточно сложный акцентологический аспект был дополнен пространственным планом. Привлекает внимание вывод об акцентологической полидиалектности, восходящей еще к праславянскому времени.

Вообще надо признать, что, в отличие от некоторых других проблемных областей, проблематика славянской диалектологии, лингвистической географии, ареалогии была представлена на XI МСС весьма широко, разветвленно и даже изощренно. Здесь можно было встретить такие достаточно новые постановки проблем, как "Просодический ландшафт славянства" (М.И. Лекомцева, Т.М. Николаева). В ряде докладов фигурировал славяно-балканский сопоставительный план. Достаточно сказать, что были зачитаны и обсуждены доклады по лингвистическим атласам нескольких различных типов: "История и современное состояние диалектов славянских языков на картах Общеславянского лингвистического атласа" (В.В. Иванов); "Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным Общеславянского карпатского диалектного атласа)" (Б. Видоески, С.Б. Бернштейн, Г.П. Клепикова, П. Лизанец, И. Рипка, Я. Сятковский); "Лексический атлас русских народных говоров в кругу славянских атласов" (И.А. Попов, Ю.С. Азарх, Т.И. Вендина, А.С. Герд, О.Н. Мораховская, З.М. Петрова). Отрадно сознавать, что эти инициативы исходят в немалой степени от российской стороны. Но сравни, впрочем, также доклад П. Кирая "Атлас словацких говоров в Венгрии". Время идет, рушатся тоталитарные режимы и унитаристские подходы, а лакуна болгарского отсутствия в Общеславянском лингвистическом атласе продолжает зиять. Нельзя не считаться с тем, что, например, в докладе В. Видоеского "Межъязыковой контакт (на диалектном уровне) как фактор диалектной дифференциации македонского языка" послужившие предметом спора славянские пункты в Северной Греции включены в ареал македонского языка (см. Реферати на македонските слависти за XI Меѓународен славистички конгрес во Братислава. Скопје, 1993, карта между страницами 48 и 49). Возможно, пути преодоления противоречий в трактовке болгаромакедонского диалектного региона надо искать на какой-то формальной основе, скажем, на базе типологическо-континуумного подхода, ср. о последнем съездовский доклад Н.Н. Пшеничновой "Тип диалекта (славянский языковой континуум)".

Но ареальный аспект демонстрировал на съезде свою плодотворность и в тех областях, где о нем редко вспоминают. Я имею в виду доклад нашего белорусского коллеги Г.А. Цыхуна "Ареальные аспекты формирования славянских литературных языков". Переходя, таким образом, к становлению славянских литературных языков, здесь позволительно выделить основополагающие интеграционные процессы, как категорию в принципе ареальную. Говоря о кирилло-мефодиевском книжно-письменном языке, уместно прибегнуть к такому понятию ареальной лингвистики, как (культурный) наддиалект (ср. в этом направлении доклад Р. Вечерки "Позиция старославянского языка в сложной языковой действительности древней Моравии"), охватывавший в какой-то мере славянские Балканы той эпохи, ср. отголоски деятельности

св. Кирилла еще на Брегалнице, то есть в Македонии (доклад македонской славистки Л. Славевой "Следы доморавской письменности в Македонии"). Народный язык церковной литургии и письменности целесообразно поэтому понимать как некий сублимированный культурный наддиалект, а не конкретный низовой народный диалект (ср. частично В. Вавржинек "Кирилло-мефодиевская миссия в культурном контексте современной Европы").

Едва ли можно упрекнуть в мелкотемье тех, кто занялся интереснейшим явлением на перепутье межславянской диалектологии и литературной истории – опытом индивидуального создания "ляшского" поэтического микроязыка О. Лысогорским (сюжет, привлекший двух разных докладчиков – А.Д. Дуличенко и Й. Марвана). Становлению литературных языков посвятили свои доклады Е.И. Демина и Л.Н. Смирнов. О русско-церковнославянском литературном языке докладывали П. Филкова, М.Л. Ремнева. Библейский и специально древнееврейский языковой компонент славянского литературного развития избрали темами своих докладов А.А. Алексеев, Е.М. Верещагин, Г.А. Лилич, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова.

Нельзя не отметить (хотя это уже выходит за рамки исторической лингвистики и вторгается в область синхронно-описательную) плодотворной работы, проделанной на съезде специалистами по глагольному виду. Здесь было бы справедливо назвать целый ряд докладчиков, но я позволю себе ограничиться нашим А.В. Бондарко, которому принадлежал доклад "Предельность и глагольный вид (к проблематике славянской функциональной аспектологии)", а также такая сверхурочная инициатива, как коллоквиум по актуальным проблемам славянской аспектологии с перспективой дальнейшего проведения международного аспектологического семинара в Польше (ориентировочно – в 1994 г.).

Балто-славянские языковые отношения, привлекавшие на прежних съездах славистов пристальное внимание и вызывавшие мощные скопления докладов на тему (существует даже комиссия по исследованию балто-славянских отношений при МКС), на сей раз трактовались достаточно спорадично, впрочем, в докладах таких именитых авторов, как Р. Эккерт ("Славянско-балтийские фразеологические соответствия в языке фольклора"), Р. Катичич ("Балтийские данные по реконструкции текстов одного праславянского обряда плодородия").

Эта спорадичность и мозаичность тем и докладов, заданная нам программой съезда, то есть как бы "запрограммированная", не могла не сказаться и на порядке изложения моего нынешнего отчета, в частности, возможно, на его полноте или, справедливее сказать, неполноте отражения, отчего не могла не пострадать адекватность информации о некоторых весьма почтенных разделах сравнительно-исторического и теоретического языкознания. Боюсь, что эта "неадекватность" информации коснулась в моем случае ономастики, целой секции, до которой я физически "не дошел", а там были заняты далеко не последние, можно сказать – лучшие, специалисты своего дела – Э. Айхлер, К. Рымут (он же – председатель комиссии по славянской ономастике при МКС), М. Майтан, В. Венцель и другие, с которыми меня связывают долголетние научные контакты и дружба. Но, как я уже сказал ранее, удалось только заслушать доклад Дуриданова, также уже называвшийся мной, переведя его к нам в секцию этногенеза. В секции ономастики велся бесспорно интересный разговор (а для тех, кто постоянно оперирует ономастикой и ономастической этимологией, это – п р о д о л ж е н и е разговора) о праславянских именных сложениях, славянско-неславянских передачах имен, ареальных ономастических ансамблях.

... Минувший съезд включал очень многое другое, на что моя компетенция не распространялась. Но глаза и уши воспринимали и запоминали и это "другое", позволяя иронически отмечать, что и этот съезд, в чем-то непохожий на остальные, чем-то опять-таки напоминает те остальные, значит, можно считать, съезд "состоялся". Приехало много разного народу, приехал enfant terrible предыдущих съездов (начиная, кажется, со своего скандального выступления на киевском, 1983 года) Ф. Томсон из Бельгии и привез свою ложку дегтя, поставив себе целью развенчание духовных

потенций Восточной Славии в целом... Но и это только оттенило то цельное, большое культурное переживание, которым добрую неделю жил большой славистический съезд на берегу Дуная на исходе лета 1993 года, жил духом единства и дружбы, а со сценических подмостков мирно, бок о бок звучали тщательно артикулируемые – еще кирилло-мефодиевские – слова Отче наш обоих обрядов, западного и восточного: ... отпусти – отпущаем – от неприязни – а́мен... / остави – оставляем – от лукавого – ами́нь.

РЕЦЕНЗИИ

***Баранов А.Н., Добровольский Д.О.* Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами).** Около 5500 немецких и 5500 русских терминов. I–II. "Помовский и партнеры". М., 1993. 760 с.

После выхода "Лингвистического энциклопедического словаря" [1], существенно обогатившего отечественную справочную литературу, трудно было ожидать скорого появления новых крупных словников обобщающего характера. Через короткое время такое событие тем не менее произошло, и лингвисты получили в пользование оригинальное издание в виде двухтомного переводного словаря лингвистических терминов, выполненного А.Н. Барановым и Д.О. Добровольским на основе разработанной самими авторами машинной базы данных с применением персонального компьютера. Ввод терминов производится на немецком (I том) и русском (II том) языках с указанием английских эквивалентов для каждого термина. По своей тематике, функциям, приемам исполнения и многим другим параметрам данный словарь занимает особую позицию среди уже имеющихся справочных изданий по лингвистике. Завершенность внешней формы словаря (оба тома заполнены по всей алфавитной сетке) не скрывает, однако, поискового характера этого крупного труда, в котором составители предлагают лингвистам разных школ и направлений словник "нового поколения", предназначенный для пополнения лингвистических знаний по мере их совершенствования и развития.

Новой является сама концепция терминологического справочника по лингвистике, учитывающая не только современное состояние этой науки, но и специфические особенности терминологизации лингвистических знаний. Облегчается также доступ к информации, ее системное и многопрофильное использование. Словарь удачно сочетает параметры переводного и толкового словника; как переводной словарь он сводит "под одну крышу" лингвистические термины трех языков (немецкого, русского и английского), вклад которых в языковедческую терминологию является, по признанию многих лингвистов, едва ли не самым значительным.

В. Абрахам, составитель словаря новейших лингвистических теорий [2], с сожалением отмечал в предисловии, что ему не удалось отразить в словаре, немецко-английском в своей основе, системы русской лингвистической терминологии, считающейся приоритетной в целом ряде областей языкознания. Рецензируемый словарь А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского ликвидирует эту лакуну и дает в руки лингвистов разных национальных школ ценный справочный материал, отражающий современный уровень лингвистических знаний в измерении трех языков. Соотнесение терминологических систем трех языков в рамках одного словаря является, несомненно, сложной задачей, требующей от составителей немалых усилий по переводу на русский язык терминов, еще не имеющих устоявшихся эквивалентов; в этом отношении словарь выполняет отчасти и нормирующую функцию, что существенно повышает его научный потенциал и практическую ценность.

Несомненно удачной следует признать структуру словарной статьи, которая полностью отвечает основному замыслу авторов – создать лингвистический словарь широкого профиля "с точной информацией о значении термина и его системных связях" (с. 5).

Разрабатывая свою модель словарной статьи, авторы сумели учесть чисто практические моменты, столь важные для справочных изданий, и сделали словарь максимально удобным для пользователей. Качественность разработанной модели словаря проявляется не только в принципах отбора информации, но и в структурировании текстового пространства статьи. Словарная статья получилась достаточно информативной, компактной и обозримой благодаря ее членению на информационные зоны. Максимальное количество таких зон в словарной статье может быть пять; они отделяются в тексте с помощью различных графических средств, что облегчает пользование словарем. Например:

«Abhängigkeitsgrammatik die /–/ грамматика зависимостей ◇ (теория формального описания синтаксической структуры языковых выражений, предложенная Л. Теньером; см. Dependenzgrammatik) ◆ dependency grammaer»; Зоны словарной статьи представляют собой блоки данных о термине. Первая зона содержит термин в исходной форме. Все его варианты, включая композитные образования и термины-словосочетания, оформляются в виде самостоятельных статей. Поэтому словарь столь велик по количеству включенных в него единиц. Такой принцип расположения материала ничуть не препятствует установлению содержательных связей с ближайшими терминами. Отказ от принципа терминологического гнезда представляется вполне оправданным, поскольку облегчает поиск нужной единицы и не вводит в заблуждение относительно иерархической зависимости терминов друг от друга. Вторая зона словарной статьи содержит информацию о наиболее существенных грамматических характеристиках термина, о грамматических особенностях его употребления и произношения. Эта информация при всей ее стандартности является для лингвистической терминологии чрезвычайно существенной: каждый термин получает полный и точный грамматический паспорт, облегчающий пользователю применение еще недостаточно устойчивого аппарата, восходящего к разным языковым источникам. В третьей зоне даются перевод или переводы терминов. Три первые зоны обязательны почти для всех терминов. Четвертая зона заполняется в случае необходимости дать более подробный комментарий, уточняющий значение и употребление термина. Пятая зона, выделяемая как и предыдущие зоны особым графическим знаком, отсылает к английским эквивалентам, к которым восходят многие термины современных лингвистических знаний, имеющих для составителей словаря неоспоримо приоритетное значение. Едва ли не центральное место по объему и насыщенности информации занимает в словарной статье зона комментария (4-я зона). Она отражает современный уровень представлений о научном содержании термина: кроме того, сюда введены сведения о происхождении термина (нередко с указанием его автора и тем самым лингвистической школы), о принадлежности той или иной лингвистической теории, в рамках которой он и должен интерпретироваться, о перекрестных связях с другими терминами. При необходимости в словарную статью включается иллюстративный материал, раскрывающий сущность называемого термином явления:

«Kodetheorie die /–/ теория языковых кодов ◇ (социолингвистическая концепция Б. Бернштейна, согласно которой различные социальные группы, говорящие на одном языке, пользуются различными кодами; см. также Defizithypothese, Sprachbarriere, kompensatorische Spracherziehung, einborierter Kode, restringierter Kode)».

«Gestalt die (=, -en) гештальт ◆ (когнитивная и психическая структура, определяющая человеческое восприятие и интерпретацию действительности и не *сводимая к простой сумме составляющих*; термин гештальт-психологии и когнитивной лингвистики; см. также Frame) ◆ Gestalt».

«Klammername der (-ns, -n) ◇ имя с опущенным срединным компонентом (например, Fischteichwiese → Fischwiese) ◆ blend, portmanteauword, telescoped word».

Четвертая зона словарной статьи является открытой для разного рода информации о содержательной стороне термина. Отбор этой информации составители словаря производят в зависимости от того, насколько важной и новой она может оказаться для пользователя. В этом отборе автора не удалось избежать некоторого субъективизма, поэтому часть терминов не получили толкования в четвертой зоне.

Благодаря выделению зоны комментария словарь оказывается способным выполнять не только функции переводного словаря: он сближается с толковыми лингвистическими словарями, конкурируя с ними по признаку бóльшей компактности представления наиболее важной информации, которая может быть расширена сведениями собственно толковых словарей. Комментариями сопровождаются в словаре прежде всего термины относительно новых лингвистических дисциплин, таких, как трансформационная порождающая грамматика, семантика, лингвистическая прагматика, теория речевых актов, прикладная лингвистика и лингвистические аспекты искусственного интеллекта, теория речевой коммуникации, стратификационная грамматика, теория валентностей, лингвистика текста, глоссематика, дескриптивная лингвистика и т.д. Наряду с указаниями на современные теории в словаре отмечаются и традиционные направления лингвистики, но весьма избирательно и менее информативно. Перечень этих направлений

очень невелик. Они представляют, например, такие области: ономастику, фигуры речи, теорию стихосложения, (экспериментальную) фонетику и др. Среди терминов традиционной тематики особый интерес представляет слой терминов, принадлежащих германистике, типа Artangabe die (=, -n) обстоятельство образа действия, сентенциальное обстоятельство образа действия и др.

Немецкий язык, выступающий базовым языком первого тома словаря, предопределил включение довольно большого числа терминов из области германистики, которая имеет длительную традицию и некоторую специфику терминообразования. Расширение базы данных словника за счет терминологии германистики вполне оправдано и не противоречит основному замыслу авторов словаря, создававших свой труд с ориентацией на современные теории лингвистики. Вместе с тем, значение терминов германистики раскрывается в словаре менее полно по сравнению с терминами современных лингвистических учений. Зона толкований ограничивается нередко самой общей информацией о термине. Для характеристики такого ключевого в германистике термина, как Rahmenkonstruktion, явно недостаточно одного только перевода – "рамочная конструкция". Отсылочные слова – Satzrahmen, Satzklammer, nominale Klammer, nominaler Rahmen, verbale Klammer, verbaler Rahmen также не вносят ясности в содержание этого термина, так как при них отсутствуют необходимые комментарии. В результате возникает замкнутый терминологический круг, в котором термины определяются друг через друга. При отборе терминов германистики перед составителями словаря, несомненно, стояла довольно трудная задача: выделить в огромной массе детально разработанных и чрезвычайно вариативных терминов германистики некий общий, стандартный фонд, отражающий основные разделы этой научной дисциплины и ее современное состояние. В этой части словарь, бесспорно, может служить надежным источником точных сведений и удовлетворять профессиональные запросы германистов разных школ и направлений. Вместе с тем, данный фонд терминов германистики нельзя считать исчерпывающим; в нем обнаруживаются явные лакуны, которые легко могут быть устранены при дальнейшем пополнении базы данных. Так, выпал из поля зрения авторов такой употребительный термин, как "Satzbau", отражающий разработанную в германистике версию "структуры предложения". Не зафиксирован в словаре и термин "Gebrauchstexte" "литература бытового назначения", весьма существенный для характеристики жанров немецкоязычной литературы. Несмотря на некоторую неполноту сведений из области германистики, бесспорна заслуга составителей в отборе терминологических единиц, в установлении их принадлежности и систематизации парадигматических связей между отдельными терминами – синонимических, антонимических, когипонимических, инклюзивных.

Первый том словаря содержит не только весомый корпус лингвистических терминов, но и важный теоретический раздел, в котором составители словаря высказывают свои суждения о сущности лингвистической терминологии и перспективах ее развития как составной части науковедения и лексикографии. Обширная лексикографическая работа, проделанная составителями словаря, со всей очевидностью демонстрирует своеобразие лингвистического знания, которое заключается в значительном "терминологическом разнобое" [3], в "перескакивании терминов со значения на форму и наоборот" [4], в обилии интерпретаций одного и того же термина, а также в наличии синонимов между терминами разных лингвистических парадигм. Составители словаря стремятся найти убедительное объяснение такого состояния лингвистической терминологии, опираясь на понятие "миры лингвистической терминологии", т.е. некие терминологические субсистемы или модули, не связанные только определенными школами и направлениями в языкознании, а представляющие собой, по всей видимости, диффузные системы, взаимодействующие друг с другом под влиянием различных факторов и пополняющихся по мере развития лингвистических знаний новыми терминологическими единицами. При этом справедливо подчеркивается, что "отсутствие соответствий между лингвистическими теориями и модулями лингвистической терминологии существенно осложняет работу исследователя, поскольку некоторые модули практически непереводимы в терминологические миры другого языка" (стр. 289).

Из краткого теоретического фрагмента, содержащего яркие и убедительные примеры из истории формирования на базе немецкого языка некоторых

лингвистических концепций (в частности, теории Л. Вейсгербера), становится понятной сложность терминологического представления лингвистических дисциплин при одновременном учете нескольких языков, фиксирующих различия национальных научных школ.

Не давая однозначного ответа на вопрос о том, сколько миров существует в лингвистической терминологии и как соотносится с ними уровневое строение языка (фонология, морфология, синтаксис, лексика), авторы словаря подчеркивают приоритет модульного представления лингвистических знаний. С его помощью может быть раскрыто все многообразие междисциплинарных связей лингвистики, ее выходы в философию, логику, физику (акустику), кибернетику, теорию информации, литературоведение, культурологию, историю и многие другие научные дисциплины, в сфере которых следует искать потенциальные источники пополнения метаязыка лингвистики. В приложении к словарю даются тезаурусные своды терминов отдельных дисциплин, в которых уже сложился устойчивый терминологический аппарат и обнаруживаются устойчивые тенденции к его дальнейшему пополнению и внедрению в общелингвистический фонд терминов – термины когнитивной науки, семиотики. прагматики, теории диалога, теории речевой коммуникации, логического анализа естественного языка. Материалы приложения к первому тому имеют самостоятельную научную ценность; они раскрывают перспективы развития терминоведения как науки, в сфере которой возможно применение когнитивного подхода; с когнитивной точки зрения словарь можно рассматривать не только как инструмент фиксации и хранения знаний, но и как инструмент онтологизации знаний, т.е. "как инструмент, обеспечивающий понимание знания, стоящего за термином, и его вербализацию" (стр. 30).

Второй том представляет собой обратный словарь с вводом терминов на русском языке и четырьмя информационными зонами: зоной перевода на немецкий язык, зоной грамматической информации, комментария, полностью совпадающего с толкованием терминов в I томе, и зоной английского эквивалента: «дерево зависимостей Abhängigkeitsbaum der/ -(e)s, Abhängigkeitsbäume (способ формального описания синтаксической структуры предложения; предложен Л. Теньером) dependence tree».

Русско-немецкий словник снабжен, как и первый том, чрезвычайно полезными дополнительными материалами. В него включены англо-немецко-русский индекс, который позволяет читателю через английский термин выйти на немецкие и русские соответствия, зафиксированные в основном корпусе словаря: assertion; Affirmation, Assertion, Behauptung, Bejahung, Bestätigung; подтверждение, утверждение.

Тематические указатели второго тома также облегчают поиск нужной лингвистической информации, упорядоченной в основном корпусе словаря в алфавитном порядке. Авторы выделили ключевые слова и сгруппировали вокруг них наиболее важные лингвистические понятия и термины-словосочетания. Например, в немецком тематическом указателе слово "Bedeutung" зафиксировано в 70 позициях – от "abgeleitete Bedeutung" до "wörtliche Bedeutung". В русском тематическом указателе информация, связанная с соответствующей основой "значен", также представлена по принципу "гнезда", где каждая терминологическая единица указывает на словарную статью базового словника.

По замыслу авторов второй том словника предназначен для понимания и перевода текстов на немецкий язык, в то время как первый том имеет более широкую базу для пользователей и позволяет синтезировать тексты лингвистической тематики. Вопрос о качестве синтезированных с помощью словника текстов на русском языке остается пока чисто теоретическим. Эти возможности словаря могут быть проверены лишь через практику пользования словарем людей с разным уровнем лингвистических знаний и информационных ожиданий. Однако уже сейчас очевидно, что при первом тираже в 1000 экземпляров данное издание уже в момент своего появления становится редкостью и не дойдет, к сожалению, до заинтересованных в нем читателей.

При подготовке новых изданий этого очень информативного и многофункционального словника желательно было бы расширить базу терминов традиционной лингвистической тематики и дать к ним более развернутые толкования. Некоторая дискриминация традиционных дисциплин языкознания отразилась в данном издании словаря в двух существенных моментах. Во-первых, часть традиционных терминов не получили в словаре комментария, они снабжены лишь переводами, видимо, в расчете на достаточную осведомленность

читателей. Тем самым, термины, включенные в словарь без содержательного комментария, могут быть истолкованы либо как принадлежащие к слою терминов, стоящих над всеми современными течениями лингвистики, либо как относящиеся к традиционным дисциплинам, которые специально не выделяются, но их существование подразумевается, нередко благодаря разного рода косвенным данным комментирующей зоны: «Architektonik die é/=/ архитектоника (формальное членение текста на части, главы, абзацы, предложения и т.п.; термин Э. Ризель) architectonics». Во-вторых, традиционные термины представлены избирательно; они охватывают главным образом наиболее универсальные лингвистические понятия и не отражают разнообразный набор частных дисциплин исторического, стилистического, риторического, функционально-грамматического, диалектологического профиля. Традиционная тематика могла бы быть отражена в словаре более широко и открыто, тем более что в ее недрах происходят существенные изменения, в результате которых терминологическая база постоянно пополняется новыми понятиями, ср.: natürliche Morphologie, Diasystem, Komprimierung, Entpersönlichung и т.д.

Следует отметить, что переводы немецких лингвистических терминов на русский язык дают в словаре множество примеров очень удачных переводческих решений, найденных составителями словаря. В перспективе они могут получить нормативный статус. Однако среди переводов встречаются и не вполне точные и неполные трансляты или явные буквализмы. Например, термин Spracherwerb может обозначать не только "овладение языком", но "овладение родным языком или любым первым"; термин Ausgleichssprache обозначает не столько "наддиалектный вариант", сколько "язык выравнивания" (как одна из стадий процесса унификации территориальных вариантов языка); Sprachpflege передается как "забота о языке", хотя в данном случае для переводческих целей подошел бы и перевод "культура речи".

Встречающиеся в словаре неточности имеют эпизодический характер и вполне допустимы для справочного труда такого большого масштаба. Бесспорное преимущество словаря заключается в возможности максимально учесть потребности самого широкого круга людей, заинтересованных в разного рода лингвистической информации, обработанной с учетом современного этапа развития лингвистики как комплексной науки. Словарь, безусловно, способен выполнять много функций и решать широкие коммуникативные, просветительные и нормирующие задачи, среди которых не столь абстрактным кажется желание авторов попытаться с помощью словаря "сформировать определенный тип знаний" и "ввести их в модель мира адресата". (стр. 302).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
2. *Abraham W.* Terminologie zur neueren Linguistik. 2, völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Tübingen, 1988.
3. *Адмони В.Г.* Структурно-смысловое ядро предложения. В сб.: Члены предложения в языках различных типов. Л., 1971. С. 35.
4. *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. М., 1976. С. 36.

Н.С. Бабенко

Рождественская Т.В. **Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв.** СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. 172 с.

Появление нового обобщающего исследования Т.В. Рождественской, доцента кафедры русского языка Санкт-Петербургского университета, хорошо известной в научном мире как неутомимый собиратель и вдумчивый интерпретатор древнерусской эпиграфики, важно уже хотя бы потому, что все выходившие до сих пор издания надписей осуществлялись историками, уделявшими весьма мало внимания лингвистической стороне публикуемых текстов, нередко – как убедительно показал в недавней статье В.Л. Янин в [1] – в ущерб пониманию смысла самих надписей. Т.В. Рождественская не только вводит в научный оборот множество не публиковавшихся ранее граффити XI–XV вв., которые сохранились на стенах храмов Новгорода, Ладоги, Полоцка, Галича, и предлагает на основе палеографических, языковых, археолого-архитек-

их датировку и прочтение, но и анализирует всю совокупность древнерусских эпиграфических текстов, оценивая эти источники как памятники древнерусской письменности и языка и определяя их место в истории письменной культуры Руси.

Рассматривая надпись как тип текста, автор описывает основные языковые особенности, обусловливающие своеобразие древнерусских надписей по сравнению с болгарскими (например, в древнерусских поминальных надписях употребляется глагол *преставитися*, тогда как в болгарских – *почити* или *усънути*, для древнерусских обычен перфект *пьсалъ*, для болгарских – аорист *писахъ*). Отмечается варьирование языковых средств в надписях, связанных с богослужебной сферой. Представляется правомерным вывод о том, что надписи-граффити являются особым типом текста в системе древнерусской письменности. Эпиграфические тексты могут быть, по словам исследовательницы, "рассыпаны" по всем ярусам жанров древнеславянской литературы (коль скоро мы принимаем весьма удачную, на наш взгляд, классификацию Н.И. Толстого [2]): среди них встречаются и цитаты из конфессионально-гимнографической литературы, и летописные известия, и бытовые сообщения, и фольклорные тексты. Вместе с тем нельзя не согласиться, что "надписи представляли собой более замкнутую структуру, чем берестяные грамоты" (с. 23).

Принципиально важно, по нашему мнению, положение о том, что "...предпринимаемые иногда поиски славянских докирилловских текстов, относящихся к IX в., а то и более раннему времени, кажутся лишенными исторической основы" (с. 32): по справедливому замечанию Т.В. Рождественской, "потребность в письменности как системе появляется тогда, когда стабилизируются признаки государства" (с. 32), – а потому не случайно отсутствие древнерусских текстов до X в. Вполне естественно, что, говоря о древнейших надписях, автор не обходит вниманием знаменитую Гнездовскую надпись, которая, как бы ни минимальна была ее лингвистическая информативность, остается самой ранней надписью, обнаруженной на территории России, и уже в силу этого не должна легкомысленно сбрасываться со счетов. Заметим лишь, что обе формы, избранные Т.В. Рождественской для передачи надписи – "гороухша" и "гороунша" (с. 29) – просто не могли существовать в X в. по причинам фонетического порядка (невозможность консонантных сочетаний [хш] и [нш]). Думается, что данное слово может быть интерпретировано только как притяжательное прилагательное *Гороуня* [3] (новое, всесторонне аргументированное обращение к этому чтению см. в [4]) – форма, не требующая никаких особых историко-фонетических или графических допущений; с содержательной стороны такое толкование дополнительно подтверждается вновь найденными аналогичными владельческими надписями на предметах: *Настокине, Фенищине, Недѣлекине, Попова, Матфѣева* [5, с. 113–117, 271].

Интересные наблюдения и выводы представлены в том разделе работы, который посвящен одноеровым написаниям типа *мецъницъ*, встречающимся в текстах до начала XII в. Констатируя, что подобные написания были распространены не только в Киеве, но и в Новгороде, который, по-видимому, имел непосредственные книжные контакты с Восточной Болгарией, Т.В. Рождественская заключает, что "...древнеболгарская кириллическая графика на раннем этапе распространения письменности на Руси, в частности в Новгороде, служила образцом еще до официального принятия христианства" (с. 44).

Центральное место в рецензируемой книге занимает вторая глава, содержащая тексты надписей, обнаруженных главным образом автором, и комментарии к ним. Всего в монографии приведено 86 граффити, что – даже с учетом более ранней публикации некоторых из них в труднодоступных, чаще всего дореволюционных изданиях – существенно пополняет источниковедческую базу истории русского языка. Воспроизведение текста надписей сопровождается тщательно выполненными прорисями, позволяющими судить об аутентичности предлагаемых транскрипций.

В свете активизации "новгородоведческих" исследований, инициированных находками берестяных грамот и их адекватной лингвистической интерпретацией (в трудах А.А. Зализняка), особый интерес представляет эпиграфический материал новгородских храмов, тем более что значительное количество публикуемых текстов относится ко второй половине XII и XIII в. – т.е. к важнейшему этапу в истории древнерусского языка, связанному с падением редуцированных. Отражение этого процесса наблюдается уже в надписи 1

этого процесса наблюдается уже в надписи 1 (XII/XIII вв.): *грѣшены* (vs. *погребьныи*), где *е*, вероятно, стоит на месте сильного [ь], а конечное *ы* обязано своим возникновением нередкому смешению *ы* и *ъ* (см. [6, с. 110]); к сожалению, это последнее положение, необходимое для объяснения рефлексации редуцированного, в книге опущено.

Важное значение имеют новые примеры древненовгородской флексии им. пад. ед. числа **о*-склонения *-е*: *Созоне* (надпись 3)[1], *Созонте* (4), *Иване* (13), *писале* (50), *Якимя* (с отражением псковского яканья), *Еване* (68), *Саве, шле, биле* (69). Особенно информативна надпись 8 (XII в.): Моисеи ψ *поповце* (с. 63), содержащая древнейший (хронологически предшествующий формам *Колбинць* и *Нездильце* [6, с. 133]) пример *-е* после [ц], возникшего по III палатализации, причем в слове *поповьць* (а не "поповиць", как предлагает Т.В. Рождественская), не засвидетельствованном историческими словарями, но обнаруженном нами также в "Летописи Авраамки" (*поповечь* 266) [7, с. 152]. Все эти примеры, наряду с пятью формами *князе* [6, с. 133], показывают, что мягкость конечного согласного основы не препятствовала в древненовгородском диалекте использованию окончания *-е* (подробнее см. [7]). Попутно заметим, что при разборе *-е*-форм (с. 100) автор допускает неверное цитирование уже приведенных выше надписей: *Василе писале* вместо реального *писале Василѣи* (надпись 50), *Гопиличе писале* вместо *Гопилече писало* (38).

Весьма знаменателен, на наш взгляд, вывод Т.В. Рождественской о вариативности флексий *-уь /-ови* у личных имен в дат. пад. ед. числа '...флексия -ови/-еви чаще оформляет канонические имена, являясь морфологической приметой церковнославянской традиции" (с. 140). Думается, это положение свидетельствует о том, что дополнительное распределение указанных окончаний, иногда ассоциируемое с т.н. "категорией лица" [8], в действительности являлось искусственной инновацией книжного языка ("семиотизацией формальных различий" [9]) и не было характерно для живой речи, которая вначале беспорядочно смешивала их, а затем, по говорам, закрепила различные варианты в качестве господствующих вне зависимости от семантики (русск. *Михаилу, волку, дому* – но укр. *Павлові, вовкові, гаєві*).

Поистине филигранный анализ провела Т.В. Рождественская при исследовании надписи 86 из Галича (20-е гг. XIII в.), отчасти уже публиковавшейся, но не получившей удовлетворительного истолкования. Наиболее загадочная фраза этой надписи гласит: *искали ляха въ плотеники и не нашли бы кладеное далъ* (с. 128). Установив, что надпись в целом представляет собой деловой документ (с упоминанием князя и "послухов"), автор проницательно сопоставила указанную фразу с конструкцией *рути в* + вин. пад. "подвергнуть конфискации имущества за чью-либо вину" [6, с. 168–174] и предложила следующую интерпретацию: "Предъявляли иск ляху (может быть, Ляху – имя собственное? – *К.В.*) за плотников, чтобы он отдал (их) долг, но не уличили его (ляха) в этом"; небесспорно здесь, как мы полагаем, значение "уличили": по-видимому, *наити* в данном случае синонимично *доискатися*, ср. в Псковской судной грамоте: *не доискался* "не выиграл дела" [10].

Исследовательница уделила внимание и другим надписям, уже служившим объектами дискуссий. Наиболее любопытна, по нашему мнению, надпись на стене Владимирского придела Софийского собора в Киеве, которая рассматривалась С.А. Высоцким [11], В.В. Колесовым [12] и (как оказалось, одновременно с Т.В. Рождественской) В.Л. Яниным и А.А. Зализняком [1, с. 25–26], но лишь после обращения к ней автора рецензируемой монографии получила достаточно удовлетворительную интерпретацию. В книге предлагается следующее чтение и перевод: *мати не хотѧчи дѣтича бѣжѧ гет / гь же не хотѧ человѣка бѣдами кажет / уомъ истоупивъ своего чиноу въсѣмъ грѣхомъ обы/чь боудеть аминь* "Мать, (даже) не желая, дитя наставляет, господь же, (даже) не желая, человека бедами наказывает. Ум, вышедший за свои границы (нарушивший свой порядок), станет причиной всех прегрешений. Аминь" (с. 144, 146). Поддерживая весьма удачное прочтение формы *бѣжѧгет* как *бѣжаеть* (с обозначением йота через *г*) – т.е. 3-го л. ед. числа наст. времени от неизвестного доселе лексикографам глагола III класса *бѣжати*, родственного *бѣдити*, считаем возможной более "решительную" трактовку его

[1] Далее в скобках указываются номера надписей.

семантики – "наказывает" (ср. *бѣдити* "мучить" [13]). Не вполне убедительно толкование прилагательного *обьчь* с помощью существительного "причина"; более вероятными представляются такие эпитеты, как "подверженный", "склонный" (по мнению А.А. Зализняка – "приобщен" [1, с. 26]). Т.В. Рождественской удалось определить источник обоих процитированных изречений – древнерусский переводный сборник "Разумы сложения Варнавы неподобного", изданный В.А. Семеновым по списку XIV/XV вв. (с. 148)[2]. Этот перевод был осуществлен, как полагает исследовательница, в середине XI в., причем, возможно, непосредственно в Киеве. Основными аргументами в пользу данных предположений являются датировка надписи второй половиной XI в. и изобилие в ней восточнославянских форм (хотѧчи, дѣтича, бѣжѧгет, обьчь). Однако если отсутствие редуцированных на конце словоформ *бѣжѧгет* и *кажет* вполне согласуется с новейшими представлениями о последовательности и хронологии падения редуцированных, начавшегося в конечных слогах не позднее XI в. [5, с. 265, 270], если передача [je] через *ге* тоже находит параллели в письменности XI в. (с. 143), то регулярное использование восточнославянских рефлексов йотовых сочетаний в тексте явно церковно-учительного характера весьма необычно для столь раннего периода и наводит на еретическую мысль о том, что церковнославянский в XI в. не был единственным языком древнерусской (киевской) книжности. Коль скоро рассматриваемая надпись (как и сам перевод "Разумов Варнавы") действительно относится к XI в., то не исключено, что неканонические памятники, подобные сборникам изречений, могли переводиться на язык, более близкий к обиходной речи киевлян, нежели канонические тексты. С другой стороны, нельзя отрицать и возможность перевода с церковнославянского на древнерусский, произведенного самим автором надписи; такое истолкование явилось бы аргументом в пользу характеристики языковой ситуации Киевской Руси как двуязычия. Однако сколько-нибудь далеко идущие выводы, касающиеся разбираемой надписи, следовало бы, вероятно, отложить до того времени, когда мы будем располагать ее фотографией. Пока что, к сожалению, при отсутствии хотя бы даже прориси единственным источником для суждений о языке надписи остается для нас транскрипция Т.В. Рождественской, которая демонстрирует дезориентирующую вариативность прежде всего в отражении редуцированных: *объчь* и *обьчь*, *въсѣмъ* и *вьсѣмъ* (с. 144, 146).

Тонкость и глубина палеографического и семантического анализа надписей, свидетельствующие о высокой филологической квалификации автора, к сожалению, не всегда предохраняют от малоудачных грамматических пассажей. Иначе как невнимательностью трудно объяснить некоторые парадоксальные утверждения относительно палатализаций (с. 133, 136, 140). Едва ли оправданно соединение в одном описании (под рубрикой "взаимозаменяемость букв *ъ, ь, о, е*" – с. 137–138) таких разнородных явлений, как графическое смешение в парах *ъ/о, ь/е* (м*о*ного, съгрѣших*о*, Аким*о*, к*о*нязь, провьди и др.), использование флексии *-о* (а не *-ъ*) в именах на *-ил-* в южнорусских надписях (*Гавърило, Манеило*, см. [7, с. 122–125]) и, наконец, употребление древненовгородского окончания *-е* (*Радъке, Еване*). Вызывает сомнения и попытка объяснить написания *Кононо, Давыдо, Акимо*, помимо влияния системы "бытового" письма (что, видимо, справедливо), еще и графическим воздействием греческих имен на *-ος* Не говоря уже о том, что греческие эквиваленты указанных имен как раз и не имели флексии -ος (Κόνων, Δαυίδ, Ἰωακειμ), такое объяснение представляется в принципе крайне искусственным в силу наличия многочисленных примеров с *-о* на месте -ъ не только в эпиграфике, но и в берестяных грамотах и не только в им. пад., но и чуть ли не в любой форме. Никакого отношения к новгородскому окончанию *-е* не имеют контаминированные надписи Софии Киевской (*Димитриосе, Оноуфриисе* – с. 138), по-видимому, механически соединяющие греческие формы на -ιος (Δημήτριος) с их общеславянскими субститутами на *-ии* (*Онуфрии*) и южнославянским по происхождению вариантом *-ие* (*Димитрие*).

---

[2] *Четкая параллель ко второму изречению*, обнаруженная Т.В. Рождественской в "Разумах Варнавы": *оумъ състоупивъ съ свое(г)о чиноу на всѣ грѣхы готовъ Ѣсть* (с. 148), – позволяет с уверенностью предпочесть чтение *уомъ* (с обратным порядком элементов диграфа, ср. [6, с. 98–100]) варианту *хромъ* [1, с. 25–26].

Итак, основной заслугой автора рецензируемой монографии следует признать введение в научный оборот и интерпретацию большого числа древних надписей, что значительно обогащает наши представления о древнерусской лексике, морфологии, синтаксисе. Находки Т.В. Рождественской, наряду с изысканиями археологов и историков, убедительно показывают, что в истории русской письменности существовал дорукописный период (с. 151), засвидетельствованный эпиграфическими памятниками X в. Весьма важен вывод, согласно которому древнерусские писцы, опираясь на кирилло-мефодиевские традиции, не слепо копировали древнеболгарские образцы, а старались приспособить кирилловскую графику к особенностям собственной речи (с. 152). Более развернутого обоснования требует, на наш взгляд, предположение о западнославянско-древненовгородских связях в области письменной традиции (с. 152).

Наблюдения Т.В. Рождественской позволили выявить палеографические особенности эпиграфического письма, сказывавшиеся, в частности, «в некотором хронологическом "запаздывании" определенных начертаний, в архаизации письма» (с. 152–153), – что, очевидно, имеет значение для датировки отдельных, кажущихся архаичными, надписей.

Исследование петербургского автора открывает новые перспективы для изучения устного воплощения церковнославянских текстов, характера их цитирования и вариативности. Тот факт, что "норма эпиграфического текста была менее жесткой, чем норма текста книжного" (с. 153), обусловливает существенную роль надписей для реконструкции живой древнерусской речи.

В заключение хотелось бы указать на настоятельную необходимость нового издания книги, которое включало бы максимальное количество текстов, снабженных фотографиями, и имело бы не просто филологическую, но более четкую лингвистическую направленность – в частности, располагало бы таким же солидным справочным аппаратом, как последние издания берестяных грамот. В качестве совсем уж максималистского пожелания отметим, что сейчас, когда корпус обнаруженных и вновь прочитанных древнерусских надписей значительно возрос, на повестку дня встает составление их полного свода. Думается, что обобщение и корректная лингвистическая интерпретация всей древнерусской эпиграфики вполне по силам нашим специалистам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Янин В.Л.* Эпиграфические заметки // ВЯ. 1992. № 2.
2. *Толстой Н.И.* Древнеславянский литературный язык в XII–XIV вв. (его функции и специфика) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989.
3. *Якобсон Р.* ГОРОУНА КЪРЧАГА // Сборник в памет на проф. С. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974.
4. *Трубачев О.Н.* В поисках единства. М., 1992. С. 168–176.
5. *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
6. *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
7. *Крысько В.Б.* Общеславянские и древненовгородские формы Nom. sg, masc. **о*-склонения // RLing. 1993. V. 17. N 3.
8. *Марков В.М.* Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974. С. 23.
9. *Успенский Б.А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Budapest, 1988. С. 259.
10. *Потебня А.А.* К истории звуков русского языка. IV. Варшава, 1883. С. 26.
11. *Высоцкий С.А.* Средневековые надписи Софии Киевской. Киев, 1976. С. 33.
12. *Колесов В.В.* [Рецензия] // ВЯ. 1978. № 1. – Рец. на кн.: Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской. Киев, 1976. С. 150–151.
13. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 87–88.

В.Б. Крысько

***Веретенников А.А.* Очерки глагольной фразеологии персидского языка.** М.: Наука. Издательская фирма "Восточная литература". 1993. 155 с.

Монография А.А. Веретенникова представляет собой новый последовательный шаг в изучении фразеологических проблем персидского языка. Среди многих аспектов персидской фразеологии автор, опираясь на богатый языковой материал, обращается к анализу лишь одного из них – глагольной фразеологии. В этой практически первой комплексной работе по глагольной фразеологии персидского языка подвергаются детальному исследованию такие важные проблемы, как структурная типология многокомпонентных глагольных фразеологизмов (далее МГФ), их вариантность, соотношение МГФ и сложных глаголов (далее СГ), рамочная конструкция глагольных фразеологизмов (далее ГФ), семантическая структура МГФ и некоторые другие.

Книга состоит из введения, трех глав и заключения. Большое практическое значение имеет находящийся в конце монографии указатель фразеологических единиц. Во введении автор дает краткий анализ работ по фразеологии иранских языков и, сопоставляя точки зрения на проблемы глагольной фразеологии, содержащиеся в них, критически оценивает эти работы.

Авторская концепция вызывает симпатию, и несомненной удачей монографии также представляется наличие в ней большого количества интересного языкового материала, ярко подтверждающего теоретические положения, предлагаемые А.А. Веретенниковым. Системность и четкость построения работы позволяет хорошо ориентироваться в рассматриваемой проблеме не только исследователям иранских языков, но также и специалистам по другим восточным языкам и лингвистам широкого профиля.

В первой главе – "Структурные особенности многокомпонентных глагольных фразеологизмов в сопоставлении со сложными глаголами" – представляет интерес обращение автора к копулятивным МГФ, нигде ранее не фиксировавшимся как отдельный вид МГФ. Выявление типологических особенностей копулятивных МГФ позволяет наметить критерии отграничения их от других видов фразеологических единиц персидского языка, прежде всего фразеологизмов-предложений (далее ФП). Другим очень важным моментом для теории персидского языка, лексикографической работы и практики его преподавания является рассмотрение особенностей структуры, семантики и функционирования ГФ в форме рамочной конструкции. Отдавая должное достижениям в этой области таких ведущих советских и российских иранистов-лингвистов, как А.К. Арендс, Л.С. Пейсиков и Ю.А. Рубинчик, автор делает новый шаг в изучении данной проблемы: он детально разрабатывает теорию вставочного компонента рамочной конструкции МГФ и предлагает исходя из этого типологическую классификацию ГФ, включающую четыре типа.

В этом разделе содержится немало интересных идей. К примеру, соображения автора, касающиеся того, что значение некоторых ГФ, употребляющихся в форме постоянной рамочной конструкции лишь при наличии определенных условий, может меняться или оставаться прежним в зависимости от характера самого вставочного компонента, в частности от того, каким именем существительным он выражается – одушевленным или неодушевленным. В процессе анализа функционирования МГФ в персидском языке А.А. Веретенников обращает внимание читателей на многие весьма любопытные и ранее никем не отмеченные факты, такие, например, как употребление МГФ, имеющих в своем составе два вставочных компонента.

Хорошо известны трудности, возникающие в процессе обучения персидскому языку при выработке навыков правильного использования ГФ, особенно МГФ. В связи с этим хотелось бы отметить раздел главы, посвященный парадигматическим особенностям МГФ. В нем достаточно подробно и с правильных, на наш взгляд, позиций анализируется степень реализации таких грамматических категорий, как категории времени, наклонения и залога, т.е. категорий, присущих глаголу; кроме того, рассматриваются функционирование глагольного компонента МГФ в отрицательной форме и особенности использования МГФ в номинативной функции.

Во второй главе – "Вариантность многокомпонентных глагольных фразеологизмов" – предлагаются критерии, дающие возможность идентифицировать варианты МГФ как одну фразеологическую единицу. В полемике со специалистами по данной проблематике автор на материале персидского языка достаточно подробно рассматривает признаки сохранения тождества варьируемого МГФ, а в заключение раздела

предлагает определение варианта МГФ. Несомненным достоинством следует признать обращение к такой важной проблеме, как разработка типологии вариантов МГФ, проблеме сложной и важной в общетеоретическом плане. Особый интерес вызывают разделы, посвященные морфологическому варьированию и вариантности МГФ на основе лексических замен. Правомерен вывод автора, что процесс морфологического варьирования распространяется только на именную часть МГФ. Что касается второго типа варьирования, то его широкое распространение в персидском языке, по справедливому замечанию А.А Верегенникова, в наибольшей степени отражает специфику МГФ как сложного языкового знака. К положительным моментам работы можно отнести также постановку проблемы совмещения в пределах одного фразеологизма нескольких видов вариантности, образующих "смешанные" вариантные формы.

В третьей главе – "Семантическая структура глагольных фразеологизмов" – автор вслед за Ю.А. Рубинчиком на примере ГФ продолжает анализ семантической структуры фразеологических единиц персидского языка. При этом им предлагается метод синхронного сопоставления элементов плана содержания и плана выражения в отличие от используемого Ю.А. Рубинчиком метода компонентного семантического анализа. Вместе с тем, по мнению автора, оба этих метода взаимно дополняют друг друга и позволяют "полнее раскрыть механизм семантических процессов, происходящих в персидской фразеологии" (с. 99).

На основе тщательного анализа семантической структуры МГФ автор выявил три типа семантической значимости их компонентов: имплицитный, полуимплицитный и эксплицитный и подробно их описывает. В описании первого типа особо хотелось бы обратить внимание на ту его часть, где проводится исследование структурно-семантических моделей МГФ. Выделение изосемантических моделей, лежащих в основе определенных групп ГФ персидского языка, представляет, несомненно, интерес для лексикографии и практики преподавания персидского языка. Думается, что было бы полезно создать нечто похожее на Руководство по использованию МГФ, в основу построения которого был бы положен принцип их группировки вокруг ядра, представляющего собой одну определенную изосемантическую модель. В работе впервые предпринята попытка провести такого рода исследование.

Среди проблем, затронутых в третьей главе, привлекает внимание круг вопросов, связанных с семантической автономностью компонентов МГФ. Весьма интересны языковые примеры, говорящие в пользу существования возможности семантически автономного функционирования как компонентов именной, так и глагольной частей МГФ.

В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемая монография представляет собой существенный вклад в разработку проблем глагольной фразеологии. Она интересна не только для специалистов в области иранского, в частности персидского, языкознания, но и для лингвистов широкого профиля. Выводы, содержащиеся в ней, будут способствовать улучшению качества преподавания персидского языка в востоковедных вузах России и Ближнего зарубежья, а также совершенствованию теории и практики лексикографической работы.

М.С. Каменева

№ 4 1994

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 19 по 24 апреля 1993 г. в Санкт-Петербурге под эгидой Юнеско проходила Международная конференция "Ребенок в современном мире". Среди многочисленных секций была и языковая: "Мир ребенка и его язык". Организатором ее явилась кафедра детской речи Российского государственного университета им. А.И. Герцена под руководством проф. С.Н. Цейтлин. В конце конференции состоялось заседание Круглого стола на тему "Ребенок: разные пути вхождения в язык".

На одном из пленарных заседаний выступила С.Н. Цейтлин (С.-Петербург) с докладом: "Речь ребенка: прошлое или будущее языка". Она рассмотрела известное положение И.А. Бодуэн де Куртене о том, что в речи ребенка в той или иной мере содержится предсказание будущего состояния языка, и показала, что это касается только случаев укрепления симметрии языкового знака. В иных ситуациях детские инновации представляют собой скорее реконструкцию того, что содержалось в языке в прошлые эпохи.

Подсекция "Общие проблемы детской речи". А.Н. Коренев (С.-Петербург) в докладе "О нейропсихологических механизмах фонологического развития у детей" показал, что артикуляторная база включает 3 ведущих уровня: а) пространственную координацию; б) топологию навыков; в) топологию символов. Последний принято рассматривать как сугубо языковой и противопоставлять моторному. Н.И. Лепская (Москва) в докладе "Характер взаимосвязи между интонационной и синтаксической структурой высказывания на разных этапах онтогенетического развития" показала, что на самом раннем этапе становления высказывания (2–3 года) и на заключительном (6–7 лет) действует закон, сформулированный А.М. Пешковским: "Чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение грамматическими средствами, тем слабее его интонационное выражение, и наоборот".

Подсекция "Языковая личность в онтогенезе". Н.Е. Сулименко (С.-Петербург) в докладе "Знания о мире в процессе формирования лексикона ребенка" рассмотрела когнитивное развитие ребенка и те "лексические сигналы", которые свидетельствуют о формировании основных мировоззренческих понятий. Е.В. Красильникова (Москва) в докладе "Школьный класс как языковой коллектив" полагает, что эта организация связана с речевым взаимодействием входящих в него субъектов. Автор считает, что у учащихся возникают некоторые черты коллективного языка, символизирующие их принадлежность к определенной группе. Несколько докладов было посвящено речевой игре ребенка и речевому этикету. Б.Ю. Норман (Минск) в докладе "Языковая игра как вид познавательной деятельности ребенка" отметил важную роль языковой игры для речевой практики ребенка. Язык не является самоцелью, а служит средством познания объективной действительности. Были прочитаны также доклады Т.А. Гридиной (Екатеринбург) "Языковая игра в детской речи (системное и асистемное)". Н.Е. Богуславской, Н.А. Куприной (Екатеринбург) "Речевой этикет ребенка". Доброва Г.Р. (С-Петербург) "Почему мы смеемся над некоторыми высказываниями детей (лингвистический аспект)". В.К. Харченко (Белгород) "Проблема понимания в детской речи".

Подсекция "Усвоение лексических единиц". Л.Я. Костючук (Псков) в докладе "Роль прямых и ассоциативных связей в освоении ребенком семантико-грамматической системы языка" показала разные возможности реализации этих связей при формировании семантико-грамматических средств выражения при общении ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками. Л.В. Николенко, Н.А. Николина (Москва) "Слово в детской

картине мира" сделали попытку проанализировать представление ребенка о слове и его значении в процессе освоения окружающей действительности. Однако представляется, что далеко не всегда пятилетние дети дают толкование слова, а не вербально обозначенной ситуации. М.Б.Елисеева (С.-Петербург) в докладе "Толкование значений слов детьми при условии правильного понимания семантического ядра слова" отметила два вида толкований: сужение значения слова и расширение значения. В докладе не дано лингвистического обоснования причин, по которым дети используют ту или иную стратегию.

Подсекция "Грамматика детской речи. Текстообразование". М.Д.Воейкова (С.-Петербург) в докладе "Принципы мены форм и повторы в детской речи" утверждает, что с помощью диалога (и прежде всего со взрослыми) языковые факты проникают в сознание ребенка, и выделяет несколько этапов организации таких диалогов. Рассматриваются и ситуации, когда инициатором общения является не взрослый, а ребенок. Ю.А.Пупынин (С.-Петербург) в докладе "Усвоение временных форм в детской речи" считает, что усвоение временных отношений начинается с настоящего времени, и вычленяет его в примерах, типа "мяч" и "пусти", где такие категории, как время и лицо, нивелированы. В докладе В.К.Радзиховской и А.П.Кирьянова (Москва) "Категория пространства и времени в онтогенезе" утверждается, что пространственные представления появляются у ребенка на 1-ом месяце жизни, а в речевом плане оформляются к 7-ому месяцу. Однако известно, что в первый месяц жизни движения ребенка носят рефлекторный характер, да и так называемый императив *дай* на седьмом месяце может являться лепетной структурой, совпадающей по звучанию с языковой единицей. О.Е.Рубинчик (С.-Петербург) в докладе "Усвоение детьми категории одушевленности-неодушевленности имени существительного" убедительно показала, что прямой и точной зависимости между окончаниями одушевленных и неодушевленных существительных и представлениями детей о живом и неживом не существует. При усвоении грамматической категории ее семантическая основа не осознается. М.В.Русакова (С.-Петербург) в докладе "Предложно-падежные формы в детской речи" обосновала положение о том, что с определенного момента освоение предлогов и падежей осуществляется как единый комплексный процесс (в отличие от распространенной точки зрения, что сначала осваиваются падежи, а затем предлоги). Были прочитаны такие доклады: М.И.Абабковой (С.-Петербург) "Функционирование порядка слов на раннем этапе речевого развития ребенка". Н.В.Гагариной (С.-Петербург) "Модификация внешней оболочки слова в процессе усвоения фонетической системы языка". Л.В.Сахарного, Л.Б.Романовской (С.-Петербург) "Формирование механизма текстообразования в онтогенезе". И.Г.Овчинниковой (Пермь) "Становление текстовой компетенции у детей". Н.В.Лозовской (С.-Петербург) "Детский текст и проблема цельности". А.С.Штерн (С.-Петербург) "Цельность и связность в детских текстах". Н.Г.Мосейчук (Москва) "Локализация и функция пауз в пересказах и спонтанной речи детей".

Подсекция "Развитие речи и овладение вторым языком". О.С.Ушакова, Е.А.Смирнова (Москва) в докладе "Развитие связной речи дошкольников" обсуждали вопрос о развитии монологической речи у детей от 3 до 7 лет и показали, как постепенно усложнялись задачи обучения детей – от пересказа простых текстов до самостоятельных творческих рассказов. Е.М.Струнина (Москва) в докладе "Развитие словаря дошкольника" подчеркнула особую важность семантики при обучении детей лексике родного языка, а также отметила необходимость активизации словаря ребенка. Л.Г.Шадрина (Ульяновск) в докладе "К вопросу о развитии связной речи дошкольников" считает необходимым развивать творческие способности детей при помощи игр-инсценировок, импровизированных диалогов и монологов действующих лиц.

После секционных заседаний состоялась работа Круглого стола. Ведущий – Л.В.Сахарный. Т.И.Зубкова (С.-Петербург) говорила о двух путях овладения детьми фонетической структурой слова. Ребенок может идти от части к целому и от целого к расчленению на части. Разные дети используют разные стратегии. Сообщение Л.В. Яблоковой (Москва) было посвящено индивидуальным стилям обработки информации детьми. Выявлены два стиля: холистический и аналитический.

Причины различных стратегий следует искать в особенностях развития мозговых структур ребенка. Эти выступления послужили импульсом к дискуссии о межполушарной асимметрии и связи этой проблемы с речевым онтогенезом (Л.В. Сахарный, А.С. Штерн, Н.И. Лепская). Был поднят вопрос и о том, какие факторы влияют на речь ребенка (Е.В. Красильникова), а также о необходимости вычленять не только общие закономерности в речевом онтогенезе, но и анализировать индивидуальные особенности ребенка (С.Н. Цейтлин).

Н.И. Лепская (Москва)

Конференция "Лексикографические идеи и проекты 1994–2000 годов", проведенная Институтом русского языка Российской академии наук и Научным советом по лексикологии и лексикографии при Отделении литературы и языка Российской академии наук, проходила в Москве с 10 по 12 марта 1994 г. Конференция была посвящена столетию со дня рождения С.Г. Бархударова.

В этом номере журнала публикуется ряд статей, написанных по материалам выступлений на конференции (см. статьи А.Н. Баранова, Г.И. Кустовой и Е.В. Падучевой, Ю.Н. Караулова и Е.В. Рахилиной). Мы предлагаем здесь краткий обзор остальных докладов.

Предметом внимания на конференции были как лексикографические проекты, находящиеся в стадии осуществления, или осуществленные проекты, подвергающиеся в настоящее время переработке и улучшению, так и перспективные проекты, авторы которых стоят еще в самом начале пути. Целью конференции было уяснить ближайшие перспективы развития лексикографической науки в нашей стране и обсудить теоретические проблемы, решаемые авторами самых разных словарей.

Теоретические проблемы лексикографии рассматривались в следующих докладах. Рассказывая о работе над Новым толковым словарем синонимов русского языка, Ю.Д. Апресян (Москва) остановился на принципе системности в лексикографии. На примере глагола *знать* (*что Р*) было продемонстрировано, как в словарной статье лексемы характеристика ее системных свойств (в данном случае – стативности и фактивности) совмещается с характеристикой ее индивидуальных особенностей. Г.А. Золотова (Москва) в докладе "О функциональном словаре русских глаголов (от слова к типам текста)" показала на примере ряда полисемичных глаголов, как категориальная семантика слова предопределяет ряд его морфологических особенностей, синтаксические возможности в рамках предложения и функционально-парадигматические потенции в отношении коммуникативных регистров речи. Рассматривая идиому как микротекст, включающий в себя пресуппозитивно-денотативный блок значения, а также зону прагматических коннотаций – оценочную, культурно-национальную, эмотивную и стилистическую, В.Н. Телия (Москва) предложила новую форму толкования идиом, основанную на опыте работы над Автоматизированным толково-идеографическим словарем русских идиом. В докладе А.Н. Тихонова (Москва) внутренняя форма слова рассматривается как часть лексического значения слова, входящая в его структуру как важный базовый семантический элемент, на который нанизываются все остальные элементы лексического значения. Докладчик призывает последовательно включать внутреннюю форму в состав словарных определений.

Доклад Р.П. Рогожниковой (С.-Петербург) "Генеральный фонд русской лексики" привлек внимание к состоянию Большой картотеки Словарного отдела ИЛИ РАН, на основе которой создаются фундаментальные словари русского языка. Она нуждается в постоянном пополнении и автоматизации.

Целый ряд докладов на пленарных заседаниях, а также работа отдельной секции были посвящены ортологической и учебной лексикографии. Л.К. Граудина (Москва) в обзорном докладе о типах ортологических словарей русского языка (орфоэпические словари, грамматические словари, словари употреблений) рассмотрела этапы формирования этого жанра.

Новым типам словарей для журналистов и редакторов, Словарю иностранных слов и Словарю публицистики, охватывающему

публицистику XX века, был посвящен совместный доклад Ю.А. Бельчикова и Г.Я. Солганика (оба – Москва). Подчеркивалась необходимость создания словарей, рассчитанных на активного пользователя, словарей для говорящего (пишущего), а не только традиционных толковых словарей для пассивного восприятия текстов.

В докладе М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной (обе – Москва) рассказывалось о принципах составления Нового орфоэпического словаря русского языка. Фонетические рекомендации словаря строятся на основе инструментального анализа. Сравнивая свой проект с Орфоэпическим словарем русского языка С.Н. Боруновой, В.Л. Воронцовой и Н.А. Еськовой, авторы отмечали, что это будет только словарь произношения (без грамматической информации), кроме того новый словарь ориентирован на учет младшей нормы.

Три доклада были посвящены Орфографическому словарю русского языка. История вопроса нашла свое отражение в выступлении Б.З. Букчиной (Москва) "Орфографические словари русского языка. Вчера. Сегодня. Завтра". Перспективы развития и обновления словаря, получившие особую актуальность в связи с подготовкой в Институте русского языка новой редакции "Правил русской орфографии и пунктуации", освещались в докладе С.М Кузьминой (Москва), где предлагался также проект изменения структуры словаря. О.Е. Иванова (Москва) в докладе "О перспективах развития орфографической лесикографии" представила обзор корпуса орфографических явлений, отражаемых в Орфографическом словаре русского языка.

Принципы построения и составления грамматических ортологических словарей рассматривались в двух докладах "Краткий словарь трудностей русского языка. Грамматические формы. Ударение", о котором говорила Н.А. Еськова (Москва), основывается на Орфоэпическом словаре русского языка. Словник нового словаря ограничен, в него включены слова морфологически или акцентно нестандартные. Словарь ориентирован на литературную норму, но по сравнению с Орфоэпическим словарем в нем уточнена и расширена нормативная шкала, увеличено количество пояснений значений слов и иллюстраций, помогающих понять сложные случаи употребления грамматических форм. И.К. Сазонова (Москва) в своем докладе обосновала принципы создания толково-грамматических словарей нового типа, трактующих сложную связь семантической организации лексемы с системой ее грамматических форм. Принципиальным для такого словаря будет разграничение зоны основных лексических значений с полной морфологической и синтаксической парадигмой и зоны вторичных, переносных лексических значений с дефектными морфологическими и синтаксическими парадигмами.

В ортологическом экспресс-справочнике "Различай слова: трудные случаи современного русского словоупотребления", адресованном как работникам прессы, образования, так и массовому читателю, распространенные речевые ошибки анализируются в сжатой форме с профилактическими примерами. Словарь является пособием по различению и коррективам употребления слов, находящихся друг с другом в отношении паронимии в широком смысле слова. В докладе Э.Д. Головиной (Киров), посвященном этому словарю, приводилась оригинальная семантическая классификация лексических ошибок, включающая многие нетрадиционные типы.

В.В. Дубичинский (Харьков) в докладе "Концепция учебного словаря лексических параллелей" рассказал о новом варианте словаря "Ложных друзей переводчика" – пособии для изучающих иностранные языки и переводчиков, выявляющих различия в значении общего для европейского ареала слова.

Серии школьных словарей и, в частности, словарю слов, понимание которых вызывает затруднение у школьников при чтении классической литературы, посвятил свой доклад Г.В. Карпюк (Москва).

Преподавание русского языка в национальной школе освещалось в докладах Р.И. Лихтман (Махачкала), рассказавшей об опыте работы над русским словником для двуязычных словарей дагестанских языков: русско-лакского, русско-аварского и т.д., и Т.В. Жеребило (Грозный), затронувшей проблемы создания учебных словарей и пособий по развитию культуры русской речи в чеченской школе.

М.В. Орешкина (Москва) рассказала о работе над сводным словарем заимствований из языков народов России и ближнего зарубежья в русском языке. Словарь носит справочный характер и предлагает читателю историко-культурные толкования иноязычных слов, примеры употребления этих слов в художественной литературе, указывается источник заимствования и

словарная фиксация слова в русских словарях.

Раздел исторической и диалектной лексикографии был представлен тремя докладами. Г.В. Богатова (Москва) посвятила свое выступление обзору исторических словарей, создаваемых в Институте русского языка со времен С.Г. Бархударова до наших дней. Подчеркивалось принципиальное значение работы над историческими словарями для сохранения русской культуры. В.И. Дегтярев (Ростов н/Д) осветил работу над "Топонимическим словарем Дона и Приазовья". Тема выполняется как составная часть программы возрождения духовной культуры народов России и предполагает разработку объективной теории происхождения донского казачества. На основе лингвистических данных реконструируется древнейшая история заселения Подонья и Приазовья. О.И. Блинова (Томск) рассказала о работе над "Словарем образных слов и выражений народного говора" – областным словарем нового типа, цель которого – систематизировать эстетически значимые средства диалектной речи. В центре внимания докладчика оказалась проблема разработки на основе того словаря теории лексической образности.

Доклад С.Е. Никиной (Москва) был посвящен совместной с М. Мазо работе над словарем-тезаурусом конфессиональной лексики молокан. Основу словника словаря составляют русские слова из области музыкальной терминологии, имеющей принципиальное значение в духовной жизни этой конфессии: именно поэтому русская лексика этой тематики сохранилась в речи англоязычных молокан США.

Оригинальные словарные проекты, работа над сбором материала для которых только начинается, освещались в двух докладах. С.Н. Цейтлин (С.-Петербург) рассказала о коллективной работе по организации базы данных для словарей детской речи: собираются и систематизируются по оригинальной схеме детские морфологические, словообразовательные, лексико-семантические инновации. Экспериментальный словарь русских жестов, мимики и поз, создаваемый в Российском государственном гуманитарном университете под руководством Г.Е. Крейдлина и С.А. Ивановой (оба – Москва), пока содержит немного словарных статей, но структура словарной статьи разработана очень подробно, что позволит продолжить накопление материала.

В двух докладах акцент был сделан на компьютеризации лексикографических исследований. В работе Л.И. Колодяжной и Б. Тошовича (оба – Москва) рассматриваются принципы функционирования компьютерного лексикографического процессора UNILEX-D, позволяющего проектировать, создавать и преобразовывать словарные базы данных различных словарей. В.В. Преснов (Москва) рассказал о своей совместной с М.В. Горбаневским (Москва) работе над автоматизированной информационно-исследовательской системой "Топонимия России". В настоящее время в компьютер введена топонимика Москвы.

В целом конференция продемонстрировала большое разнообразие лексикографических проектов, над которыми работают в Академии наук и университетах России (что отчасти затруднило тематическую классификацию прочитанных докладов). Многие выступления вызывали оживленные и плодотворные дискуссии.

О.Ю. Богуславская (Москва)

CONTENTS

V.V. S e d o v (Moscow). East-Slavonic ethnolinguistic community; V.Z. D e m j a n k o v (Moscow). Cognitive linguistics as a variety of interpratative approach; E.S. K u b r i a k o v a (Moscow). The early stages of cognitivism: Linguistics – Psychology – Cognitive science; T.V. T o p o r o v a (Moscow). On Old Icelandic formulae of Chaos and End of the World and their Indo-European correspondences; L. L ö n n g r e n (Upsala). Compiling a Swedish associative dictionary; E.I. Š u t o v a (Moscow). On the definition of the word in Chinese linguistics; M.V. N e f e d j e v (Orekhovo-Zuevo). Semantic evolution of verbal prefixes *на* and *об* in the history of the Russian language of XI–XVI centuries. **Problems of Russian lexicography.** In memoriam of S.G. Barkhudarov. G.A. Z o l o t o v a (Moscow). On the new possibilities of lexicigraphy; G.I. K u s t o v a, E.V. P a d u č e v a (Moscow). A dictionary as a lexical base of data; E.V. R a k h i l i n a (Moscow). On lexical bases of data; A.N. B a r a n o v (Moscow). Remarks on the Russian words *дескать* and *мол*; **From the history of science.** The ninetieth birthday of L.R. Zinder; L.R. Z i n d e r (St.-Petersburg). Baudouin, Ščerba and the sources of Trubetzkoy's phonological theory; **Reviews:** O.N. T r u b a č e v (Moscow). On the work of the XI International Congress of slavists (historical linguistics); N.S. B a b e n k o (Moscow). *Baranov A.N., Dobrovolskij D.O.* German-Russian and Russian-English dictionary of linguistic terms (with English equivalents); V.B. K r y s ' k o (Moscow). *Rožděstvenskaya T.V.* Old Russian inscriptions on the walls of temples: New sources of XI–XV centuries; M.S. K a m e n e v a (Moscow). *Veretennikova A.A.* A sketch of verbal phraseology of the Persian language **Scientific life.**

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

Сдано в набор 27.04.94 Подписано к печати 24.05.94 Формат бумаги 70 × 100 1/16
Офсетная печать Усл.печ.л. 13,0 Усл. кр.-отт. 23,2 тыс. Уч.-изд. л. 16,1 Бум. л. 5,0
Тираж 1756 экз. Зак. 1317

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка
телефон 201-74-42
Московская типография № 2 ВО "Наука", 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6